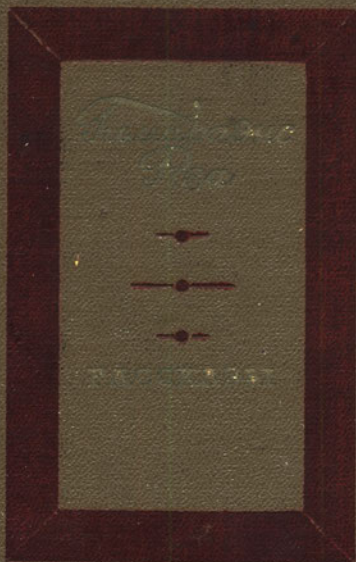


Григорьевская Псалтирь



Отрыжен из бисоградина
Матини Салатини
ни возвращени блуд
ного мурна Солдунки
Семерка червен
Час и черед
Нуресто Матрали
Ирохорские илани
Робовий брод
Прибрежье

Аомашъ, которая
нила нубо
берет реки
Сретни
Снекмак
Братъя Далобъ
Разнобор быковъ
Заловоренный
Дирь хоронущика
которого и бык
они выдумали
Святой Марк

Гилардус Роза

РАССКАЗЫ

Перевод с португальского



МОСКВА
« ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА »
1980

И (Латин)
Г48

Составление

Н. Поляк

Предисловие

И. Тертерян

Художник

А. Яковлев

© Статья, переводы. Издательство
«Художественная литература», 1980 г.

Г $\frac{70304-242}{028(01)-80}$ 191-80 4703000000

Сертан, широкий, как мир...

В глубине Бразилии, в центральных и северо-восточных районах штатов Минас-Жерайс, Баия, Сеара и других, вдали от пышно цветущего побережья, тянутся сертаны — так называют здесь степь. Это край скотоводческих фазенд — латифундий, край вакейро — погонщиков скота. Обширны и изменчивы сертаны: то зеленые, с там и сям возвышающимися кущами стройных пальм-бурити, с густыми зарослями тропического леса; то засушливые, солончаковые, поросшие чахлам и колючим кустарником-каатингой. Так же изменчива жизнь сертанца — будь то владелец маленького пастбища и нескольких голов скота, или арендатор на большой фазенде, или, что чаще всего, батрак, нанимающийся перегонять многотысячные стада. Сертан подвержен стихийным бедствиям: засухам, тропическим ливням и паводкам. Тогда гибнет скот, гибнет все живое в степях, а люди бросают кров и скорбь и, обессиленные от голода, с детьми на руках, уходят искать спасения в дальних местах.

И в плодородные годы, когда мирно тучнеют помещичьи стада на пастбищах, нелегка жизнь сертанца. Еще совсем недавно сертаны называли «ничейной землей». Не потому, что там земля никому не принадлежит — за каждый клочок зеленого пастбища здесь шла отчаянная война. А потому, что со времен колонизации Бразилии и до середины XX века сертаны оставались особым миром, как будто не подчинявшимся никаким законам. Здесь царил неписаное право — право сильного, дерзкого и хитрого. Герой романа Ж. Гимаранса Розы «Тропы большого сертана» говорит: «Если сам господь бог вздумает сюда явиться, пусть приходит вооруженный!» Фазендейро сражались за землю, за стада, за власть в округе. Каждый из них содержал при себе банду вооруженных наемников-жагунсо. Чем богаче фазендейро, тем многочисленнее, наглее, кровожаднее его телохранители. А в пустынных степях, в заброшенных усадьбах укрывались шайки разбойников-кангасейро, совершавшие налеты на помещичьи дома, деревни, небольшие города. И кого только не было среди кангасейро! Тут и искатели справедливости, маленькие

степные донкихоты, и мстители, обиженные самовластным помещиком, отнявшим невесту, или отхватившим кусок пастбища, или угнавшим лучшего быка. Тут и ленивые непоседы, которым погони и перестрелки милее, чем повседневный крестьянский труд. Тут и жестокие главаря, похожие на вождей варварских племен, ценивших человеческую жизнь не дороже вытоптанной их конями травы.

Конечно, с ходом времени сертан менялся, буржуазная цивилизация дотягивалась и до этих богом забытых мест. Прокладывались железные и шоссейные дороги, полиция прибирала к рукам разбойничью вольницу. Но еще в 40-х и 50-х годах в сертанах сохранялись все те же, чуть ли не средневековые порядки, а новое причудливо переплеталось с дикостью: наемники-жагунсо теперь поступали на службу к местным политическим заправилам, чтобы угрозами и террором обеспечить им победу на выборах.

Так шла жизнь в сертанах — жизнь, сотканная из труда, голода, пиршеств и веселья в редкие дни урожая и удачи. Жизнь, сотканная из бесправия и угнетения, кровавой мести и беспшибанной удали. А по воскресеньям на ярмарочной площади или у входа в церковь слепые сказители нараспев читали баллады о знаменитых разбойниках и силачах, продавали лубочные брошюры с описаниями схваток жагунсо или чудес местного святого. И вообще в сертанах все слагают песни, помнят множество легенд, сказок и достоверных историй: без песни или рассказа трудно вынести весь день в седле и всю ночь под открытым небом.

Но бывали времена, когда сертан содрогался от грозного движения масс. В 1895—1897 годах вспыхнуло мощное крестьянское восстание с центром в местечке Канудос. Восставшие организовали общину, коллективно обрабатывали захваченную землю. Два года они сопротивлялись всем карательным экспедициям, и, только послав в сертан регулярную армию под командованием самого военного министра, правительство разгромило Канудос и зверски расправилось с повстанцами. Еще одно большое крестьянское восстание произошло уже в нашем веке, в 1916 году, возле местечка Контастадо. Дыхание народного эпоса, рожденное этими событиями, доносилось из степей в Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло, будоражило общественную и художественную мысль бразильцев.

В истории бразильской литературы сертаны с их природным и человеческим миром отражены, как ни один другой район Бразилии. Уже в конце прошлого века появился даже термин «сертанизм», то есть увлечение живописанием сертанов, быта и нравов тамошних жителей. Сертанизм пришел на смену индеанизму, определявшему пафос бразильской литературы в эпоху романтизма. Видный историк литературы Н. Вернек Содре так объясняет этот переход: «В сертанизме засвидетельствовано поразительное усилие

литературы преодолеть условия, подчиняющие ее иностранным образцам... Писатели убедились, что индеец более уже не может полностью воплощать национальный характер. И они передали сертанцу, человеку из глупи, трудящемуся на бразильской земле, дар выражать Бразилию»¹.

Бразильский ученый схватил самую суть дела: сертаны привлекали писателей не экзотическим местным колоритом. В сертанах сложился самобытный тип человека, в чьих жилах течет, смешавшись, португальская, индейская и негритянская кровь, но который не походит уже ни на выходца из Европы, ни на африканца, ни на индейца из амазонской селвы. Этот человек сформирован бразильской степью, ее капризным климатом, социальными порядками, сложившимися здесь после колонизации. Он уже всецело бразилец, и оттого ему было предназначено стать новым протагонистом молодой литературы, стремящейся к национальной самобытности. Литературе был нужен герой, воплощающий национальный бразильский характер. И она его нашла в лице вакейро-сертанца.

С последней четверти XIX века и до наших дней сертанец не исчезает со страниц бразильской прозы. Некоторые свойства этого литературного персонажа неизменны: он всегда терпелив и вынослив, ловок в пастушеском труде, всегда любит песню и сказку. Но сменяются поколения писателей, складываются и побеждают новые творческие принципы, новые художественные направления — и по-новому высвечивается традиционный образ.

Самой заметной вехой, настоящим поворотным пунктом в развитии темы стала книга бразильского писателя и ученого Эуклидеса да Кунья «Сертаны» (1902), оригинально сочетающая научный трактат о природе и людях края и художественно-документальное повествование о восстании в Канудосе. Такой полноты и документальной точности в изображении всех сторон жизни крестьянина бразильская литература еще не знала. Но главное, что впервые увидел и правильно оценил Эуклидес да Кунья, — это противостояние сертанца и социальной системы. В отличие от писателей-областников (регионалистов, как их называют в Бразилии), любовавшихся идиллическим спокойствием и примитивной цельностью натуры сертанца, Эуклидес да Кунья рисует степь отнюдь не заповедником патриархальной простоты и здоровых нравов. Сертанец у Эуклидеса да Кунья — замечательно сильный и мужественный человек, бронзовый титан, по выражению писателя, но он отверженный в бразильском обществе, его судьба как бы фокусирует всю социальную несправедливость победившего в Бразилии строя.

¹ N. Wernick Sodré. *Historia da literatura brasileira*, 3 ed. Rio, 1960, p. 299.

Книга Эуклидеса да Куньи определила путь бразильского реализма в 20—40-х годах нашего века. Стихийные и социальные бедствия, терзающие сертанцев, были детально изучены и с огромным волнением, с искренним сочувствием и яростным негодованием показаны писателями. Некоторые из реалистических романов этого направления хорошо известны советским читателям: «Кангасейро» Ж. Линса до Рего, «Иссушенные жизни» Грасилиано Рамоса, «Красные всходы» Жоржи Амаду. Такие писатели, как Жоржи Амаду и Грасилиано Рамос, пророчили сертанцам освобождение, прозревали скрытые в их сегодняшнем полурабском быту резервы силы и негибкости. Но казалось, распрямиться эта сила сможет только в будущем, а в настоящем реалистическая трезвость заставляла писателей подчеркивать угнетенность, униженность положения сертанта — мученика общественной системы.

А литература нуждалась и в ином взгляде на характер сертанта, в ином, более крупном, нравственном и эстетическом масштабе изображения. Нужно было высветить не только будущую социальную роль сертанта как борца против угнетения, но и сегодняшнюю общечеловеческую ценность его личности. Это сумел сделать Жоан Гимараэс Роза.

Вместе с Мигелем Анхелем Астуриасом и Алехо Карпентьером Жоан Гимараэс Роза был одним из тех художников, кто поставил перед литературой Латинской Америки новаторскую задачу — воссоздавать в едином образе человека и его мировидение, социальные конфликты и их преломление в сознании латиноамериканцев, в сознании, еще не подавленном и не нивелированном буржуазным обществом, еще не утратившем почти первобытную мифотворящую силу. Особенности внутреннего мира латиноамериканцев не просто описываются или анализируются, а воплощаются в стиле и интонации, в сцеплениях слов, в каждой образной клеточке повествования. Через полтора десятилетия после выхода в свет первой книги Гимараэса Розы задача нерасторжимого слияния реальности и ее отражения в мифологизирующем народном сознании будет с блеском решена плеядой молодых латиноамериканских писателей во главе с Габриэлем Гарсиа Маркесом, что принесет им, а вместе с ними и всему латиноамериканскому роману, мировую славу. В Бразилии потребность искусства в новом видении мира почувствовал и выразил Жоржи Амаду в книгах 60—70-х годов («Пастыри ночи», «Старые моряки», «Лавка чудес» и др.). Но для этих книг Амаду искал героев в более близкой и знакомой ему среде — в бедняцких кварталах своего родного города Баии. Произведения Жоана Гимараэса Розы и Жоржи Амаду родственны по художественной цели, по пафосу и авторским симпатиям, но различны по тональности — так отличаются протяжные песни сертанцев от карнавальной самбы на

улицах Бани, так отличается суровая, однообразная жизнь бескрайних степей от куда более красочного и динамичного быта большого приморского города.

В истории литературы нередко случается, что первооткрыватели остаются в тени. У себя на родине Гимараэнс Роза причислен к национальной классике. Но его мировая известность долгое время уступала известности более молодых мастеров латиноамериканской прозы. Впрочем, сейчас произведения Гимараэнса Розы уже переведены на многие языки мира, неоднократно экранизированы (фильм по рассказу «Час и черед Аугусто Матраги» демонстрировался на нескольких международных фестивалях), немало литературоведов в разных странах посвящают свои усилия изучению творчества выдающегося бразильского писателя.

* * *

Жоан Гимараэнс Роза родился в 1908 году в местечке Кордисбурго штата Минас-Жерайс. Детство писателя прошло в самом сердце сертанов, среди помещиков-скотоводов и вакейро. Получив медицинское образование, он вернулся в родные места и практиковал здесь несколько лет, заслужив репутацию отличного лекаря. Время от времени он посылал стихи и рассказы, обычно под псевдонимами, на разные литературные конкурсы и нередко получал премии. К 1938 году у него был уже готов целый сборник рассказов — «В сертанах», и Гимараэнс Роза решил представить его на Национальную премию под псевдонимом «Путник». Однако книга Гимараэнса Розы осталась на втором месте. (Впоследствии, когда Гимараэнс Роза триумфально вступил в литературу, члены почтенного жюри объявили свое давнее решение результатом недоразумения и случайной ошибки.) Правда, входивший в жюри Грасилиано Рамос обратил внимание на рассказы «Путника», хотел посодействовать их публикации и пытался выяснить фамилию автора. Но никто в столице ничего о нем не знал, кроме того, что это какой-то провинциальный врач...

А сам Гимараэнс Роза был, конечно, раздосадован, запрятал подальше рукопись и на время перестал думать о литературной карьере. К тому же внезапно жизнь его круто изменилась. Дело в том, что у него было еще одно, как мы теперь говорим, хобби, да не просто хобби, а страсть, равная страсти к писательству, — языки. Он изучал один язык за другим. «Я бы хотел знать даже эскимосский и татарский. Я бы хотел знать язык, на котором говорили до строительства Вавилонской башни», — полушутливо, полусерьезно признается он в одном из писем. Чтобы читать русскую литературу в подлиннике, он брал уроки русского языка у какого-то казака из

царской армии, занесенного в эту бразильскую глушь превратностями эмигрантской судьбы. По-видимому, рассказы домашнего учителя о казацкой джигитовке вспомнились Гимараэнсу Розе, когда он описывал, как один из персонажей «Семерки Червей» уклоняется от атаки разъяренного быка ловким маневром, «подобно уральскому атаману».

Так вот, один из приятелей Гимараэнса Розы, восхищавшийся его полиглотством, посоветовал ему попытать счастья на конкурсе в Итамарати — бразильском министерстве иностранных дел. Гимараэнс Роза отправился в столицу, успешно прошел конкурс и был зачислен на дипломатическую службу. Незадолго до начала второй мировой войны он получил назначение консулом в Гамбург. Когда Бразилия вступила в войну на стороне антигитлеровской коалиции, Гимараэнс Роза был интернирован, а впоследствии обменян на немецких дипломатов, застрявших в Бразилии. Вернувшись после всех передышек военного времени на родину, он достал, к счастью, уцелевшую рукопись своих рассказов, переделал, немного сократил, дал новое название — «Сагарана» — и послал в издательство. На этот раз книга была быстро издана и встречена единодушным хором одобрения. С 1946 года и начинается литературная биография Жоана Гимараэнса Розы.

Жизнь его до самой смерти в 1967 году текла размеренно, по двум параллельным, не соприкасающимся руслам. Он продолжал дипломатическую службу, неоднократно представлял Бразилию на разных международных конференциях, а в последние годы руководил кропотливой и требующей разъездов работой по уточнению границ Бразилии с сопредельными государствами. Однако в творчестве его дипломатическая деятельность не находила почти никакого отражения. Писал он только о том, что знал с детства и юности, — о сертанах. Однажды он провел в сертанах отпуск, проделав с гуртовщиками долгий путь через степи. (Об этом странствии он рассказывал в очерке «Вместе с вакейро Мариано».) Книжки Гимараэнса Розы выходили с большими промежутками, и всегда чувствовалось, что каждая из них — плод многолетней подвижнической работы над словом. В 1956 году вышел двухтомный сборник повестей под общим названием «Танцующие», и в том же году спустя несколько месяцев появилось главное произведение Гимараэнса Розы — роман «Тропы большого сертана». В 1962 году был издан сборник рассказов «Первые вымыслы», а в 1967 году — «Тутамей, или Третьи вымыслы». Несколько других рассказов, печатавшихся в прессе, были собраны в посмертно изданный сборник «Эти вымыслы» (1968). Незадолго до смерти Гимараэнс Роза был избран в бразильскую Академию литературы. Церемония вступления состоялась всего за три дня до скоропостижной кончины писателя. Он уже

чувствовал себя плохо и боялся, как бы сердечный приступ не помешал ему закончить вступительную речь. А говорил он в этой торжественной речи все о том же — о детстве, проведенном в сертанах, говорил, что и в стенах Академии чувствует себя посланцем родного края. «Кордисбурго теперь здесь» — такова была его последняя публично произнесенная фраза.

* * *

В рассказах Гимараэнса Розы «собран гигантский социологический и этнографический материал, неоценимый даже для научного изучения этих районов Бразилии», — утверждает один из самых авторитетных бразильских критиков¹. Действительно, Гимараэнс Роза по-бальзаковски точен, конкретен, скрупулезно-детален в изображении материальной среды: множество растений, животных, предметов обихода названы, показаны — каждое на своем месте и в свой черед. А как описываются действия пастухов и повадки животных: ясно, что все это автор видел — и не раз — собственными глазами, цепко схватывал, запомнил навсегда. Обстановка, в которой живут персонажи Гимараэнса Розы, воссоздана без малейшего смягчения или приукрашивания: «нищета, как при палеолите» (по выражению одного из критиков), болезни, тяжкий и опасный труд, примитивная дикость некоторых обычаев, разгул своеволия...

Однако суровый обличительный реализм есть необходимое условие, но не цель творчества Гимараэнса Розы. Именно жесткая, как будто сама собой разумеющаяся правдивость в изображении реальности дает писателю право поднять взгляд выше, попытаться рассмотреть нечто за пределами повседневных материальных и социальных забот. Это нечто многолико, не поддается прямому однозначному определению. Его называют обычно духом или поэзией народной жизни. Рассказы Гимараэнса Розы, собранные в настоящей книге, позволяют нам проследить, как всю свою творческую жизнь писатель стремился разгадать и запечатлеть в слове тот секрет, что дает народу силы выстоять в условиях, хуже которых и в аду не придумают, да не только выстоять, но и выработать свои духовные ценности, без которых сухо и мертво древо человеческой культуры. Секрет этот, как говорится, сам в руки не идет. Гимараэнс Роза искал его сознательно и неустанно, пробираясь все глубже и глубже, от простейших и случайных проявлений народного мирозерцания к скрытым, глубинным его пластам.

¹ A. Lins. Os mortos de sobrecasaca. Rio, 1963, p. 260.

Среди бразильских прозаиков, писавших о сертанах, не было ни одного, кто не отметил бы суеверность сертанцев — прямое и неизбежное следствие невежества и тяжких условий жизни. Крестьяне в сертанах верят в возможность заговорить тело от ножа и пули, наслать порчу на человека и скот, вызвать или остановить грозу, и неудивительно, что несколько рассказов Гимараэса Розы из его первого сборника строятся на таких, кажущихся нам анекдотическими, случаях слепой веры в заговоры и колдовство. Ясно, что и в «Заговоренном» и в «Святом Марке» речь идет не о каких-то сверхъестественных явлениях, а о внушении, о примитивном гипнозе, приемами которого отлично владеют шаманы и знахари, что давно уже установлено этнографами. Гимараэс Роза искусно ведет двойную игру, предоставляя читателю возможность выбирать мотивировку событий, так сказать, верить или не верить глазам рассказчика. В «Заговоренном» выбор облегчается тем, что и сам рассказчик на нашей стороне: он ведь врач, образованный человек и никак не может серьезно относиться к возможности «заговорить» тело от пули. Поэтому он и рассказывает с нескрываемой иронией, как бы подмигивая читателю — вот-де какие чудеса творит наивная, но неколебимая вера, труса и хвастуна превращает в храбрца! В другом рассказе задача усложняется — ведь повествование о колдовстве передовверено самой жертве его. Да и не похож герой «Святого Марка» на Мануэла Фуло — это человек начитанный, он увлекается историей, любит восточную поэзию. Правда, нас настораживает не только длинное перечисление «верных» примет в начале рассказа, но и то, что герой когда-то выучил наизусть заклинание святого Марка. Он, конечно, говорит об этом тоже не без иронии, но ведь когда свет в его глазах померк, он стал повторять бессмысленные слова заклинания куда как всерьез. Значит, и заучивал когда-то курьезную нескладницу не только для смеха, а втайне веря, что упасет его от зла.

Большую часть рассказа составляет описание прогулки героя по лесу, предшествующей «порче» и победе над колдуном. Может показаться, что такое подробное, восторженное описание излишне, не имеет отношения к главному событию — внезапной слепоте, чуть не погубившей рассказчика в джунглях. Однако именно то, как говорит будущий околдованный о лесу, о каждом из деревьев, знакомом и любимом до прожилок, до листочков, передает нам особенный склад натуры рассказчика. Да, он образован и начитан и занимается, наверное, не крестьянским трудом, но живет в таком же единстве с природой, как крестьяне. Для него лес — одушевленное существо, откликающееся на зов о помощи. Оттого он и сам не знает, сколько в нем простодушной веры, впитанной им как будто с соками земли, к которой он принимает в поисках защиты. Он и

поддается внушению негра-колдуна, потому что изначально верит во всеобщую связанность людей и природных сил. Эта вера чуть не губит его, и эта же вера его спасает.

Но с более могучей и подлинно заволаживающей силой ощущение родства всего живого на земле проявляется в рассказах, где в действии участвуют животные. Кони, быки, коровы, мулы и старенький ослик Семерка Червей — всем им ведомы дружба, привязанность, сочувствие, тоска. От тоски, как считает один старый пастух, быки кручинятся еще тяжелее, чем люди. Быки могут думать, как люди, могут понять горе мальчика-погонщика и пожалеть его и на свой звериный лад попытаться пособить ему. Каждый из быков — на свое лицо, со своим характером и даже со своей тайной болью, от которой умирает, например, страшный бык Калунда. Животные очеловечиваются, но остаются животными — с недоступным самому опытному пастуху инстинктом, спасающим от смертельных опасностей, с неожиданными приступами дикой ярости, с ненавистью к узде и пике погонщика.

В изображении животных Гимараэнс Роза сохраняет отношение крестьянина к лошади или быку: знание повадок, уважение к особому нраву животного. Но крестьянская, отнюдь не сентиментальная, а скорее суровая любовь просветляется и возвышается глубоким чувством художника, чей долг — отзываться на стон всякой страдающей твари, художника, для которого животное — не только верный товарищ и кормилец, но и гораздо больше — истинный брат меньшой. И поэтому быки Гимараэнса Розы или его маленький, упрямый и бесконечно надежный чубарый ослик напоминают с детства родного каждому из нас Холстомера.

Таинственная магия народных поверий и полусказочный анимизм, наделяющий душой и голосом всякое зверье, — это еще только верхний слой народного сознания, поэтическая атмосфера, обволакивающая ядро, к которому устремлен взгляд художника. А в ядре, в самой сердцевине народной души открывает Гимараэнс Роза главное — напряженнейший поиск ответов на коренные для человечества вопросы: о справедливости, о смысле и цене человеческой жизни, о добре и зле, о воздаянии и искуплении. Правда, герои его рассказов редко рассуждают и вряд ли сумеют четко и логично сформулировать свои выводы. Тем не менее они поднимаются к высотам нравственного сознания. К этим высотам Гимараэнс Роза ведет читателя. А там, где останавливаются герои — чаще всего потому, что их подстерегает и останавливает смерть, — читатель должен идти дальше один, осмысляя нравственную суть рассказанного.

В «Поединке», например, ужасна охота двух людей друг за другом, причудливые смертоносные узоры, которые они выписывают, то сходясь, то расходясь, в степи. Слабый не выдерживает

и умирает от сдавивших его сердце ненависти и нетерпения злобы. Перед смертью он совершает доброе дело, спасает ребенка, привлекает к себе человека самой прочной цепью — благодарностью. Но что же он требует в уплату долга благодарности, в память о дружбе? Опять убийство... Кажется, что степь, по которой кружили эти двое, отравлена, тут растут лишь анчары. Отравлена земля, отравлены души людей, если последней просьбой умирающего оказывается чья-то смерть, если добро обменивается на пролитую кровь.

Бесспорно, лучший из больших рассказов Гимараэнса Розы — «Час и черед Аугусто Матраги». В нем собрано воедино все, к чему стремился бразильский художник в литературе, все, что он по крупицам собирал в других рассказах. Фольклорная атмосфера возникает благодаря чуть распевной интонации рассказчика и прямым цитатам из народных песен, которые служат своеобразным метафорическим комментарием к узловым моментам сюжета. Жизнь Аугусто Эстевеса, он же Аугусто Матрага, напоминает житие средневекового святого: долгое время душа его блуждает во тьме, затем тяжкое испытание заставляет обратиться к истине, он преодолевает всевозможные искушения, и, наконец, путь его завершается мученической кончиной. В движении сюжета рассказа можно распознать и еще более древнюю мифологическую схему — схему обряда инициации. Советский ученый Е. Мелетинский так характеризует этот чрезвычайно важный для примитивного сознания обряд, отразившийся в мифах многих народов: «Инициация включает в себя также символическую временную смерть и контакт с духами, открывающий путь для оживления или, вернее, нового рождения в новом качестве. Инициация и переход из одного состояния в другое подаются, таким образом, как ликвидация старого состояния и новое начало, смерть и новое рождение...»¹ Именно такой временной смертью стала для Аугусто Матраги болезнь после варварских побоев. Овраг, в котором он лежал почти бездыханный и куда спустились за ним добрые люди, аналогичен подземному царству, царству мертвых. Эта временная смерть положила конец его прежнему состоянию и предопределила новое рождение, новое начало жизни.

Да и герой под стать этому фольклорному рассказу — сильный, грубый, цельный человек, мгновенно претворяющий нравственные побуждения в поступки и, по существу, в самом своем поведении создающий для себя философию жизни. Несколько позже Гимараэнс Роза повторит и еще глубже раскроет этот образ в протagonисте романа «Тропы большого сертана» жагунсо Риобалдо. Такой

¹ Е. Мелетинский. Поэтика мифа. М., 1976, с. 226.

герой был художественным идеалом Гимараэнса Розы: простой человек, взыскующий добра и ощупью ищущий к нему пути.

Читатель, воспитанный на русской классической литературе, обязательно почувствует что-то удивительно близкое в жизни и странствиях Аугусто Матраги. Вот выздоровев Ньо Аугусто, и его неудержимо потянуло в дорогу бесцельно бродить по весенней степи, проснувшейся, как и его изболевшаяся душа, для нового цветения. И как же напоминает умиление Аугусто Матраги восторженные слова русского странника Макара Ивановича из романа Достоевского «Подросток»! «Заночевали, брате, мы в поле, и проснулся я завтра рано, еще все спали и даже солнышко из-за леса не выглянуло. Восклонился я, милый, главой, обвел кругом взор и вздохнул: красота везде неизреченная!.. И вот точно я в первый раз тогда, с самой жизни моей, все сие в себе заключил... склонился я опять, заснул таково легко. Хорошо на свете, милый!» «До чего же хорошо бродить по свету на воле без всяких забот и в ладу с господом!» — вторит Ньо Аугусто. И русский и бразильский странник тянутся к вечной и ничем не замутненной красе природы, потому что им опротивело «безобразие» людской жизни, испытанное ими — каждым на свой лад и в свой черед — на собственном опыте.

Для Аугусто Матраги странничество стало окончанием долгого искуса, приуготовлением души к главному деянию жизни. Как верующий идет к причастию накануне торжественного события, так Аугусто идет в храм природы и причащается красоте мира, когда подходит его час и черед свершить дело на земле. И в этот главный, крестный час своей жизни Аугусто Матрага снова покажется нам родным, издавна знакомым.

Кто не помнит с детства легенду «О двух великих грешниках» из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? Там рассказано о Кудеяре-атамане, как он грабил и убивал, а потом вдруг покалялся и старался замолить грехи, но ничего не получалось, не спадала с души тяжесть содеянного, сколько ни умерщвлял он плоть. И вот однажды встретился отшельнику жестокий пан, похвалявшийся преступлениями и пролитой кровью. Вскипел Кудеяр и вонзил наглому пану нож в сердце...

Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхो весь мир потрясло!
Рухнуло древо, скатилось
С инока бремя грехов...

Поразительно сходство двух легенд, русской и бразильской, в самом главном — в убеждении, что ценно только активное добро, что не в смиреннии и молитве истинное назначение человека на

земле, а в борьбе за справедливость. И Кудеяр и Аугусто как будто вышли из народной песни: оба удалцы, отчаянные смельчаки, скорые и на расправу и на самоосуждение. Оба отказались от всего, что их раньше тешило, прошли все ступени раскаяния, преодолели все искушения. Нью Аугусто побеждает и самое трудное искушение гордостью (как же он не отомстит за надругательство и измену?), и сладкое искушение лестью (как настойчиво приглашает его грозный Жоанзиньо Так-Так!), и искушение оружием (новенькая винтовка как будто по его руке сделана). И вот оба они внезапно возвращаются к старому, как в пору разгула, пускают в ход нож и ружье. Но только теперь они проливают кровь не потехи ради, не из жестокости, не по личной обиде. Кровь, пролитая за правое дело, в защиту слабых и угнетенных, искупает все. Это высшее служение — и не отвлеченной идее добра, а человечеству, реальным страдающим людям.

Трудно сейчас выяснить, действительно ли замысел этого рассказа складывался под прямым влиянием произведений Некрасова или Достоевского. Гимараэнс Роза был горячим почитателем русской литературы, хорошо ее знал и, конечно, воспринял ее нравственный пафос. Однако прежде всего сходство коренится в общности вековых народных чаяний, в единстве представлений о добре и зле, правде и кривде, выработанных русским и бразильским, как и другими, народами и отлившихся в песнях, былинах, легендах и поверьях.

В этом фольклорном мире добро и зло часто принимают имена бога и дьявола. Но это лишь привычная форма, в которую облекается этическая мысль персонажей Гимараэнса Розы, их неукротимая жажда земной справедливости и реального добра. Финал повествования об Аугусто Матраге недвусмысленно ясен. Впоследствии в романе «Тропы большого сертана» писатель заставит своего героя, разбойника Риобалдо, вступить в сделку с дьяволом, чтобы стать победителем, атаманом, тем, кто «выпускает и выпускает из сертана». Явившийся к Риобалдо на перекрестке степных дорог, прозванном Мертвые тропы, черт как будто материализуется из стихии, окружающей Риобалдо, — из того особого мира варварства, насилия и произвола, который другой большой латиноамериканский писатель обозначил метафорой «Сто лет одиночества» и который в латиноамериканских литературах всегда ассоциировался с селвой, джунглями, пучиной. Этот мир — Гимараэнс Роза называет его сертаном — формирует на свой лад и угнетателя и мстителя. Риобалдо тоже ищет сделки с дьяволом ради справедливой мести: сила и власть ему нужны, чтобы покарать некоего Эрможенеса, которого в сертанах зовут не иначе, как Иуда. Но в отличие от Аугусто Матраги Риобалдо не удастся сделать свою месть жертвенной и чис-

той. Договор с чертом как раз и означает, что «договорщик» и сам приобщился к «преисподней» — к стихии насилия. Наступает момент, когда Риобалдо вдруг чувствует, что ему хочется убить, выстрелить в человека. То, что мыслилось добром, благодеянием людям, оборачивается злом. Но Риобалдо не сдается черту без бунта, без борьбы — ведь Гимараэс Роза делал своими героями не мелких и плоских человечков, а людей с максималистской жадой этического императива. Безмерно перестрадав, потеряв самое дорогое для себя существо, пережив унижение, отчаяние, безумие, Риобалдо вкладывает всю обретенную им мудрость в утверждение: «Нет никакого дьявола! А есть только человек человеческий. И путь человеческий».

В фольклорном мире добро и зло принимают имена бога и дьявола. Но это лишь привычная форма, в которую облачается этическая мысль персонажей Гимараэса Розы, их неукротимая жажда земной справедливости и реального добра. Финал повествования об Аугусто Матраге недвусмысленно ясен. А впоследствии, в романе «Тропы большого сертана», Гимараэс Роза заставит своего Риобалдо бросить вызов богу, вступить в сделку с дьяволом, безмерно перестрадать, чтобы вложить всю обретенную мудрость в последний крик: «Нет никакого дьявола! А есть только человек человеческий. И путь человеческий».



Даже в переводе, неминуемо сглаживающем своеобразие художественной речи, читатель рассказов Гимараэса Розы ощутит удивительное богатство языка, его свежую и меткую образность. «Незатушенное лезвие слов», — так говорил Гимараэс Роза о цели писательской работы над языком. В оригинале речь его персонажей может показаться вычурной: слишком много неологизмов, редких слов, старинных оборотов, прибауток и поговорок. Когда критики упрекали писателя в излишней, по их мнению, витиеватости, он ссылался на языковой опыт своих земляков: «Запертые среди гор, жители сертанов Минас-Жерайс сохранили почти нетронутым старинный, архаический язык. Это был язык моего детства, навсегда очаровавший меня»¹. Действительно, многие исследователи отмечали, что сертанцы часто пускают в ход обороты, свойственные португальскому языку XVI—XVII веков, давно уже вышедшие из употребления в других районах Бразилии. Эти старинные речения мешаются со словами из индейских и негритянских диалектов, со

¹ M. L. Daniel J. Guimaraes Rosa: *travessia literaria*. Rio, 1968, p. 91.

звукоподражаниями, которые так любят крестьяне, постоянно вслушивающиеся в голоса птиц и зверей, в шорохи и стуки. Гимараэнс Роза тоже любит неологизмы, завораживающие своим звучанием, похожие на бессмысленные припевы народных песен. Таковы названия его книг — «Сагарана», «Тутамейя», выдуманные им слова, в которых необычно звучат отголоски знакомых, но неожиданно соединенных слов (например, «Сагарана» образовано, по-видимому, из слова «сага» и португальского слова, означающего «лягушка»). Всевозможные рифмованные прибаутки, сравнения, тропы также заимствованы писателем «у народа, у языкотворца». Ведь почти каждый сертанец — поэт, слагающий песни. Новые метафоры слетают с его губ и оседают на листе бумаги под пером писателя. Жоржи Амаду в предисловии к изданию романа Гимараэнса Розы в США очень точно определил самый корень художественного своеобразия своего современника и собрата по бразильской прозе: «Гимараэнс Роза, кроме своей фундаментальной эрудиции, имеет еще достоинство быть настоящим человеком из народа»...¹ Народность в соединении с широкой литературной и лингвистической образованностью, с осознанной и филигранной работой над словом, над формой произведения — такова тайна оригинальности этого писателя.

«Все формальное нужно только, чтобы открывать новые области, новые аспекты, новые пути, все в форме должно быть строго поставлено на службу содержанию», — говорит Гимараэнс Роза в письме к литературоведу М. Дэниэл. Эта творческая установка с особой очевидностью выявилась в экспериментальной разработке нового новеллистического жанра, который Гимараэнс Роза назвал «вымыслами» или «историйками». «Вымыслам» писатель отдал все последнее десятилетие своей жизни. Это очень маленькие рассказы, в несколько страниц, но зато каждое слово в них тщательно отобрано, каждая деталь насыщена смыслом. Сборнику «Тутамейя» автор предпослал пролог, в котором сообщил читателю свое понимание нового жанра — предельный лаконизм, метафоричность, попытка схватить в одном образе всю диалектическую противоречивость жизни. «Как в плоде мангейры, под кожурой, скрыто все гигантское дерево мангейра», — поясняет писатель. «Вымыслы» — это рассказы-символы, их трудно пересказать, перевести на язык понятий. В основе каждого из них — какое-нибудь житейское происшествие, единичный случай, но представленный автором с таким драматизмом, в таком неожиданном ракурсе, что бытовой казус обретает поистине вселенские масштабы, подводит к философскому обобщению.

¹ M. L. Daniel. J. Guimaraes Rosa: travessia literaria. Rio, 1968, p. 74.

Что, например, скрашивает все тяготы и лишения трем пастухам, выдумавшим быка? Что такое их выдумка? Мечта о своем, реальном быке? Или мечта о воле и силе, воплощенных в быке? А может быть, радость фантазировать, подбирать и придумывать слова, чтобы обозначить то, что встает перед их мысленным взором? Наверное, и то, и другое, и третье, а все вместе — искра искусства, миг творчества, озаряющий житейские потемки. Ибо, выдумывая своего быка, они творят «по законам красоты».

Совсем о другом, но тоже общечеловечески важном, рассказывает «Коровий Брод». Не так ли иногда весь ход жизни, все общество, как эти мирные, но равнодушные и боязливые люди из поселка «Коровий Брод», насильно выбрасывают человека из уюта и домашнего тепла, всовывают ему в руки оружие? Что же делать отверженному, если заказаны ему все пути назад, если только бурьян стелется под ногами? А добрые люди спокойны, не знают за собой никакой вины...

Во многих вымыслах писатель разрабатывает тему преображения человека, внезапного постижения истины в минуту испытания или опасности. Братья Дагобэ, отказавшись от кровной мести и пощадив убийцу старшего брата не без риска для себя прослыть трусами и утратить былую славу храбрецов разбойников, совершают все-таки акт справедливости. В рассказе «Миг» случайный испуг, нелепый страх, над которым минуту спустя герои и сами посмеются, заставляет их вспомнить обо всем, что есть в жизни жуткого, темного, о подстерегающем каждого конце. Монотонная скука полунищенского быта побуждает Лиолиандро из рассказа «Прибрежье» мечтать о другом берегу реки. Там, чудится ему, иная, блаженная жизнь, иные люди. Он и в бурлящую пучину реки бросается, лишь бы достичь желанного чужого берега. Но... «там все такое же, как здесь». И только в любви, во взоре любимой он обретает «тот берег» — счастье и радость самой скромной, самой обыкновенной жизни.

Но, пожалуй, наиболее насыщенный философским смыслом, наиболее глубокий и сложный символ возникает в рассказе «Третий берег реки». Что заставило отца взвалить себе на плечи вечный крест — грести и грести вдаль от берега, вдаль от людей, против течения, под палящим солнцем и тропическим ливнем? Может быть, усталость, отчаяние, ненависть к жизни и людям, а может быть, наоборот, безмерная любовь к ним? Может быть, это самоосуждение за какое-то никому не ведомое преступление, а может быть, это страдание во искупление чьих-то чужих грехов?

Вначале семья думает, что решение отца есть бегство от житейских трудностей, вызванное нелюбовью и презрением к близким. Но спустя годы сын склонен видеть в отце искупителя, при-

нимающего муку за других. Как будто кто-то обязательно должен грести против течения, прочь от берегов, чтобы все остальные могли безмятежно жить на двух берегах реки. Сын и хотел бы спасти отца, перенять у него искупительную миссию, да не по плечу сыну крестная ноша...

В цитированном выше письме к М. Дэниэл Гимараэс Роза говорит: «Пожалуй, я могу утверждать, что в основе всего написанного мною — потребность в «правде» (в верном изображении людей и вещей, в схватывании динамики существования) и в «красоте». Как будто стесняясь громких слов, писатель заключил их в кавычки. Но это действительно ключевые для его творчества слова. Правда жизни — внешняя правда быта и скрытая правда души. И красота — красота родной природы, народной поэзии, красота точного слова и необычного образа.

«Сертан, он ведь величиною во весь мир», — сказано в романе «Тропы большого сертана». Таково было заветное убеждение бразильского писателя: в местном, специфически областном он искал и находил общечеловеческое, близкое и нужное всем и каждому из людей. И оттого сертан — голодная и изобильная, грозная и поющая бразильская степь — кажется в его произведениях действительно бескрайней, широкой, как мир.

И. Тертерян

Рассказы



Семерка Червей

— Куда, мой добрый рыжий мул,
ты держишь путь-дорогу?
— Все вышли в поле, вот и я
спешу им на подмогу...¹

Это был маленький, смирный пегий ослик, и попал он сюда из какой-то степной фазенды — то ли Паса-Темпо, то ли Консейсан Вельо. Звали его Семерка Червей. В прежние времена он равных себе не имел во всем сертане.

А теперь он был уже очень, очень стар. Не к чему даже отводить ему упрямую нижнюю челюсть, чтобы взглянуть на зубы — и так видно, что дряхлый. В редкой грязновато-белой шерсти темнеют проплешины, мутные глаза гноятся, покрасневшие веки вечно опущены, словно в дремоте; шея и спина уныло вытянулись в почтенную ровную линию, от ушей до самого хвоста, который раскачивается широко и мерно, словно маятник, отгоняя мух.

В молодости чего он только не перевидал. Его продавали, дарили, выменивали, перепродавали то за добрую цену, то за бесценок. На нем один погонщик из Индая был убит выстрелом в спину, а как-то раз осел вернулся с пастбища.

¹ Здесь и далее перевод стихов И. Чежговой.

а на морде у него — такое редко увидишь — висит, словно красивый черный хоботок в желтую полоску, змея жараракусу. Семерка Червей остался жив, потому что луна была в благоприятной четверти и знахарь пришел скоро. Последнюю свою карточную кличку он получил от одного завзятого игрока в панилью, а сколько за долгую жизнь перебивало у него разных имен! У него не спрашивали, как хотели, так и называли... Звали Игрун, пока с ним возились дети; Колобок, потому что в юности он был очень гладок; Безносик, потому что седьмой по счету хозяин, носивший это прозвище, забыл, продавая, сказать, как его имя, а в наших краях в этом случае животное нарекают по прежнему владельцу. И, наконец, Каприз, потому что очередной хозяин счел, что Безносик — непристойная кличка.

Клеймо в виде сердца спереди на левом боку было едва заметно — его вытравили цыгане, укравшие осла: они хотели утаить, что он — краденый, чтобы сбыть его кому-нибудь на большой дороге. Но воры-цыгане поплатились за это побоями и тюрьмой, а Семерка Червей вернулся в фазенду Тампа, где все было невероятно огромным: и земля — тысячи алкейре¹ и все — только пастбище, и хозяин, майор² Сауло, вечно в сапогах со шпорами, грузный, почти тучный, он усмирал разъяренного быка одним загадочным взглядом зеленых глаз и смеялся, смеялся во всех случаях жизни. В гневе майор хохотал басом; когда же ему было весело, дискантом. Когда же был спокоен, не испытывал ни гнева, ни веселья, смеялся беззвучным смехом.

Но обо всем этом не стоит распространяться, потому что история осла, как и история человека, вся укладывается в итог одного лишь дня его жизни. И судьба Семерки Червей обрела особый смысл за неполные сутки — от шести утра до полуночи — в середине января месяца в год, прославившийся дождями в долине Рио-дас-Вельяс в сердце Минас-Жерайс.

Ослик стоял под навесом, неподвижный, сонный, опустив голову в кормушку, хотя кормушка была пуста, и когда он тыкался в нее, только немного пыли от отрубей облачком поднималось в воздух. Тогда он еще больше раздувал ноздри, вытягивал верхнюю губу, похожую на губу тапира,

¹ Алкейре — бразильская мера земельной площади.

² Майорами в Бразилии называли крупных помещиков, которым формально присваивалось звание майора национальной гвардии.

а потом пижнюю — дряблую, с редкими волосками, словно печаянно оставшимися после бритья. Темные круги над глазами казались очками, сдвинутыми на лоб, это придавало Семерке Червей совсем уже старческий вид. Старческий и мудрый: у него на шкуре не было язв, какие остаются от укусов всякой летающей нечисти, он был осторожен и никогда не пасся на опушках степных рощиц, где растут ядовитые травы, похожие на кофейные кустики, и с дружным жужжанием носятся зловредные мухи, откладывающие личинок в кожу и в ранки, мухи — зеленые, полосатые, синеврюхис.

О нем как будто заботились — в его гриве, короткой, стоявшей торчком, словно зубная щетка, не видно было ни клещей, ни репьев, и не совсем он еще был отставлен от дел: его спину украшали вмятины, оставленные сбруей, и не далее как сегодня утром Жоан Манико получил приказ ехать на нем верхом. Но об этом осел пока еще не догадывался.

Хмурилось, вот-вот пойдет дождь. Утро выдалось бессолнечное, промозглое, сырость пронизывала, пробираясь под одежду. Туманные горы на горизонте казались сахарными, за ними погода, должно быть, была еще хуже.

Семерка Червей, полусогнув колено, скреб землю краем неподкованного копыта. Иногда он поглядывал на загоны, большие и малые, раскинувшиеся перед господским домом. Два или три из них прямо ходуном ходили: столько там было скота.

Над волнами изогнутых шей высоко, словно корабельные мачты, возносились рога. Бок о бок теснились здесь полукровки, помесь всех возможных пород, пригнанные с Общих Выпасов, из Уругвая, с обрывистых берегов Зеленой Реки, с лугов Баии, равнин Гояса, степей Жеки-тиньоньи, с пастбищ, разбросанных по всему бескрайнему сертану. Все они были непохожими друг на друга, самых невообразимых мастей: грязновато-серые, мутно-черные, угольные, желтоватые с красным отливом, гнедые, рыжие, золотистые, бурые, огненно-оранжевые, красновато-коричневые, в прожилках, полосках, пестринках, белые с черными пятнами — будто инкрустированные причудливыми островами; богатой переливчатой расцветки, напоминающей черепаховый панцирь; необычные зеленовато-желтые с крупными коричневыми пятнами, в которые вписаны неправильной формы концентрические кольца более темного цвета — словно слоистый агат, срез гранита с вкрап-

лениями другой породы или узлы на полированной деревянной поверхности.

Масса сгрудившегося скота, словно море, в постоянном движении, она ходит волнами, вскипает водоворотами. Животные поднимают морды, покрытые пеной, бьют хвостами с кистью на конце. Они ищут друг друга, пробиваясь сквозь толпу тел. Беспородный бородатый бык стоит неуклюжей громадиной и жует жвачку, словно размышляя над превратностями судьбы; временами он поднимает к небу влажные выпуклые глаза. Полупородистый индийский гаур встряхивает горбом, мотает огромной головой, опустив уши, и хрипло ревет, призывая малбарскую телку, оттесненную в другой угол загона, или гуджератского быка, своего дальнего родича, — и они откликаются на его зов, охваченные врожденной тоской по родине, доставшейся им в наследство от священных быков, привезенных в Бразилию с пастбищ Коромандела или Траванкора. Немой призыв заставляет молодого бычка растолкать целую шеренгу животных и пробраться наконец к другому бычку, которого он никогда раньше не видел, но рядом с которым — и только с ним! — ему хорошо. И когда короткошерстый золотистый караку издает гнусавое мычанье, начинающееся на «ммм...» и переходящее в скрежет старых ворот, то в ответ слышится слабый, похожий на стон голос деревенского вола и мощный, словно сирена, вой полудикого курралейро.

Иногда вспыхивают серьезные беспорядки.

Болотный бык с белым пятном вокруг глаз — будто в маске, родился три года назад в сертане, где никаких загоронок в помине не было. Его не клеймили, не холостили, он впервые увидел человека всего лишь полгода назад. Поэтому он полагает, будто имеет право на больший, чем остальные, простор. Ему не по себе, для начала он подталкивает огромного степного быка, но тот угрожающе наклоняет бизоний загривок, от чего шкура у него на шее собирается веером складок, и беломордый не осмеливается с ним связываться. Упорно, нагнувшись и подавшись вперед, будто вся тяжесть его тела сосредоточилась во лбу и остриях рогов, широко расставив передние ноги, по щиколотки ушедшие в вязкую землю, он отвоевывает у соседей вершок за вершком. Небольшой бычок китайской породы бросается на мощное животное, украшенное устрашающими рогами, тот отступает, пытается скрыться в массе скота. Тщедушный горбатый бычишко, почувствовав укол ро-

гами в брюхо, в смятении пятится, взбрыкивает задней ногой. Норовистая корова шарахается, будоража других, тычет мордой в затылок вола. Вскидываются загривки, напряженно вырисовывается седлообразный силуэт спин, сталкиваются мускулистые крупы, мотаются косматые шеи, слюна летит брызгами, животные сбиваются в кучу, теснятся, брыкаются, квадратные тугие тела гулко ударяются о стенки загона — доски из жакараубы, перекладчины из гуаранта, столбы из арозэйры, прочной, словно железо. Мелькают, сцепляясь, рога — длинные и короткие, толстые и тупые, тонкие и острые, как стилет, загнутые вверх и вниз, перекрученные, наклоненные под самым разным углом к плоскости лба, откиннутые назад, будто усики насекомого, вынесенные вперед, подобно бивням слона; в большинстве же своем — устремленные вверх и напоминающие полумесяц, побеги кактуса, древко креста, якорные лапы, канделябры, деревянные вилы, крабьи клешни, сатанинские атрибуты, лиры, лишенные струн. И все это, сталкиваясь, трещит, словно островки мелкого бамбука после пожара в степи.

Животные взбудоражены, они ждут грозы — вот-вот, словно огромный каменный пест, ударит в расселине далеких гор гром. И они тревожно толкают друг друга и снова и снова втягиваются в тяжелый круговорот.

Семерке Червей все это надоело до тошноты, он закрывает глаза, фыркает, отворачивается. И, опустив голову, продолжает дремать. Он мерно дышит, его мохнатые уши напоминают два полусвернутых сухих листа. Он — в глубоком оцепенении. У него коричневые чулки на ногах, тяжелые челюсти и беспредельная отчужденность существа, лишенного привязанностей, бесплодного, бесполого гибрида, не знающего любви.

Но не суждено было Семерке Червей наслаждаться покоем. Вороной жеребец Бенавидеса, огневой черт, шея изогнута, словно петушиный хвост, сорвался с коновязи и выгнал ослика из тихого уголка. Вороной взнуздан, двугорбое урукуянское седло делает его похожим на верблюда, деревянные стремяна бьют по бокам, между передними ногами болтается конец узды. Но даже в таком виде вороной не может допустить, чтобы рядом с ним обретался какой-то жалкий осел. Не разобрав в чем дело, коняга Зе Большого грохает копытами в дощатую стенку, золотистый белогривый конь Силвино взвивается на дыбы, чуть не порвав сыромятную ременную привязь, беломордый жеребец,

не совсем еще обьеженный, с путами на ногах, отчаянно ржет.

Семерка Червей ненавидит раздоры. Он не станет дожидаться, пока рыжий повернется задом и дважды мощно ударит его.

Тем более, что с другого бока беломордый трясет гривой, свирепо щерясь, готовый броситься в драку. Сжавшись в комок, стараясь, чтобы его не заметили, ослик проскальзывает между разъяренными соперниками и рысцой пускается через двор. Вероятно, он думает:

— Сколько шума по пустякам!

Он бежит мимо тягловых волов — тяжеловесных евнухов с кольцами на рогах — они покорно жуют и, даже распряженные, привычно держатся парами, будто у них все еще ярмо на загривке. Ослик смело петляет между молочными коровами — их уже выдоили, они спокойно стоят рядом с телятами. Он далеко обходит одну только Лилию — но, на его месте, любой сделал бы то же самое, все погонщики и даже сам майор Сауло, потому что Лилия только позавчера произвела на свет хорошенького бычка и сейчас способна на любую зверскую выходку. Например, неожиданно поддеть кого-нибудь сбоку на кривые рога, так, чтобы один вошел острием между лопатками, а другой в живот, а потом швырнуть изо всех сил — и смельчак отлетит метров на шесть, теряя кишки, обливаясь кровью из обнажившихся разорванных легких.

Семерка Червей знал самое надежное место — он вплотную подошел к перилам веранды. Быстро наклонив голову, лизнул грудь, которую не мог достать хвостом. Потом, вытянув губы трубочкой, подул на пыльную землю.

Это была ошибка. Первая за день. Тот самый неверный шаг, который определяет судьбы и ведет по пути к славе людей и ослов. Потому что «увидеть — значит вспомнить», а майор Сауло увидел Семерку Червей.

— Ах ты, чтоб тебя! Хо-хо... состарился, брат, Семерка Червей. Но ты еще, пожалуй, выдержишь одну-другую поездку... Взыздай-ка и этого, Франколин!

— Есть, сеу майор!.. Вы серьезно или шутить изволите?

— Какое шутить? Что ты осклабился, Франколин?

Услыхав смех майора, Семерка Червей оробел и потупился, хотя еще и не знал, что его ожидает. Франколин как раз докладывал, что не хватает верховых лошадей — почью сломалась изгородь в дальнем конце пастбища, за

дамбой, и почти все лошади убежали через пролом. Сейчас они уже, наверное, перешли вброд реку, перевалили за горы и гуляют где-нибудь за Брежалом, лижут вместе со степными и лесными дикими тварями всегда влажную глинистую землю.

Майор стучал кулаком по перилам, в его зеленых глазах сверкало бешенство, огромный живот сотрясался от смеха. Потом он повернулся спиной к своему помощнику, потрепал по спине собачонку по кличке Морда, прыгнувшую на скамью, и заговорил, медленно и громко, не то сердито, не то весело — но не кричал, что было хуже всего.

— Погонщики у меня — на гитарах играть мастера... Лошади у меня — умные, знают, где изгородь продырявить... Хо-хо... Мягко стелется, да жестко спится... Никто у меня задаром бобов не ест... Хо-хо... А сегодня, по такой погоде, да опоздать...

Наконец он согнал Морду со скамьи и, резко обернувшись, глянул Франколину в лицо:

— Сколько лошадей осталось, уважаемый помощник?

— Остался ваш вороной конь, сеу майор. Кони Силвино, Бенавидеса, Леофредо... Зе Большого, мой... Еще гнедой сеу Тонико... Еще каурый. Еще Рио Гранде. Вроде хватит, сеу майор.

Франколин скромно опустил глаза, его физиономия выражала усердие и исполнительность.

— Франколин, ты сегодня что-то считать разучился. Прикинь-ка еще раз, Франколин!

— Еще... разве что лошадка доны Коты пойдет, да еще беломордый... Нет, его нельзя — он не очень-то объезжен.

— Беломордый пойдет, Франколин.

— Тогда всем хватит.

— А ты по пальцам посчитай, Франколин. Десять человек ведь едут, а еще мы с тобой.

— Одного не хватает, сеу майор.

— Франколин, как это ты наконец умудрился сосчитать?..

Майор Сауло подошел к двери — взглянуть на часы, висевшие в комнате на стене. Мария Камелия принесла кофейник и кружку.

— Кофе крепкий или стариковский?

— Обжигает, сеу майор!

Не переставая почесывать левой рукой живот, майор Сауло отпивал глоток, охал, снова прихлебывал. Негритян-

ка и Франколин, оба разом, улыбались, смеялись и замолкали.

— Остатки пусть допьет Франколин, но не позволяй ему дуть на кофе, Мария! — Закурив, майор снова облокотился о перила веранды, думая вслух:

— Скота на два состава хватит, еще те, которые тут в загоне... Отправляться рано еще... Лучше бы сейчас дождь прошел, а потом прояснилось бы как следует...

В этот миг Семерка Червей тихонько подошел к перилам.

— Вздруздай-ка и его, Франколин!

— Есть, сеу майор. Только ослишка-то еле ковыляет, да и подслеповат он...

— Подслеповат, говоришь...

Майор Сауло смолк, задумался, ожесточенно ковыряя в носу, внезапно его осенило:

— Да там всего четыре легуа. Жоан Манико полегче других, ему и ехать на осле. Ха-ха... А теперь, Франколин, марш отсюда, ты мне надоед.

Негритянка Мария Камелия, вернувшись на кухню, где бранились, суетясь, три девчонки, четыре девочки и две старухи, не считая шнырявших под ногами туда и сюда собак и кошек, объявила о приказании майора; что тут поднялось! Виданное ли дело, Жоан Манико погонит скот на осле! Господи, вот смех-то!

Во дворе тем временем шум, суматоха — животных сгоняют, ловят, сбивают в стадо. «Поворачивайся, ребята, кто впереди — тому чистую воду пить!» Раймундан (белый, а волосы как у негра) кричит зычным голосом: «Синока, не тронь чужого, этот рыженький — мой!» Синока из Такуарас, сын прогоревшего богача, в свою очередь: «Леофредо, не путайся под ногами, убери своего с дороги!» Леофредо, жилистый и рябой, собирается в путь с песней: «А теперь я с тобой попрощаюсь, а когда-то я встретил тебя...» Тоте, сводный брат Силвино, ведет неплохого гнедого конька: «Эй, Бастиан, на что мне сбруя с такими огромными стремянами! Дребезжат, будто церковный колокол...» Хмурый Силвино плюет на ладони, завязывает узлом хвост своего белогривого, у которого на ходу грязь летит из-под копыт во все стороны. Себастиан, старший надсмотрщик, вскакивает на Рио Гранде — одного из хозяйских любимцев, который идет плавно, словно автомобиль, и так резво, что оставляет далеко позади остальных. Добряк Зе Боль-

шой, беззвучно шевеля губами, приторачивает лассо к луке массивного седла, на каких ездят в Сан-Пауло, и ласково почесывает шею своего крепко сбитого Остроглаза. Конь достался ему в наследство, он беспородный, большеголовый, спереди тяжеловат, словно мул, но когда нужно в сертане разгадать уловки дикого быка и помочь седоку повалить его, взяв арканом или пикой, — тут он прямо профессор, не имеет себе равных. Бенавидес уже сидит верхом на холемом Вороном, стремительном красавце с гордо закинутой головой на нервной шее; его берегут, кормят остатками с кухни и отжимками сахарного тростника. Конь горячит-ся, знает, что он тут — лучший, ему не терпится показать себя, сорваться с места, пуститься вскачь. Бенавидес знает себе цену — он выходец из Баии, зубы у него, по тамошнему обычаю, подпилены треугольниками, и он — единственный, на ком полное кожаное облачение всадника, — у остальных только кожаные шляпы. Синока опять лезет в самую гущу — такой уж у него нрав; под ним — серый в яблоках мерин доны Марикоты, хозяйки, привычный к дамскому седлу, а не к тяжелому седлу погонщика. «Девичья лошадка; на такую с табуретки забираются». «Эй, с дороги! Посторонись!» Жука Бананейра хлопает по крупу Белмонте, коня хозяйского сына, дьявольски капризного, порченного, с разодранными губами, и, ловко на него вскочив, спрашивает:

— А где Баду? Что с Баду?

— Франколин! Франколин! — зовет майор Сауло, он расхаживает по террасе с северной стороны на южную и обратно и что-то толкует собачонке.

— Его здесь нет, сеу майор... — поясняет Бенавидес, одним точным движением ног поворачивая вороного коня, — и тоже принимается звать:

— О-о-о Франколин!

Коровы бегут в глубь двора, за ними бросаются со всех ног телята. Кони гарцуют, всадники красуются, как на манеже. Собачонка Морда яростно лает с крыльца.

— Баду, Баду!

— Да вот он, Жука, верно, с подружкой ходил прощаться...

Наконец на боковой веранде появляется Франколин, он что-то жует на ходу.

— Я проверял, все ли там, внутри, в порядке, сеу майор.

— Смотри у меня, Франколин. Если жуазейро в цвету,

это еще не значит, что земля хороша!.. Ты тут лучше у меня на глазах усердие выказывай!

Майор Сауло указывает хлыстом в сторону полных загон.

— Хороши! Неполных два месяца на медовой траве, дней двадцать на жарагуа, и вот она — первая партия, прямо от жира лопаются. Никогда я не видал такой отборной скотины.

— Верно, сеу майор. И жир-то все настоящий, честный. Мы денег зря не берем.

— Что ты там такое мелешь?

— Верно, сеу майор... Я говорю, это нам не страшно, что сеу Эрнесто отправил партию раньше нас, на той неделе, мне-то ведь известно — они скоту соль с серой дают, чтобы он вес поскорее набрал, у них жир обманный, отек, а не жир!

— Хватит болтать, Франколин! Они тут взбесятся, в тесноте, в загоне!

Без малого пятьсот голов, полных два состава. Накануне майор Сауло сам выезжал на пастбище, он выбирал, парни ловили. Вес прикинули на глазок. Цену обсудили и назначили по телеграфу. И вот агент сообщил: составы ждут на степной станции.

— Морду умой, Франколин.

— Время ли сейчас собаку мыть, сеу майор?

— Я о твоей собственной морде... Ха-ха. Ну, Себастиан, за работу.

Себастиан взбежал по лестнице, подошел к майору. На икрах у него желтые краги, а ступни голые. Поддакнул. Хотел что-то еще сказать, но вовремя закрыл рот, — майор, не отрываясь, смотрел на скотину, теснившуюся в загон.

На тучных пастбищах оставались еще тысячи голов, до самого июня продлится великий исход назначенного на убой скота. Так было на всех соседних фазендах и примерно так на многих других скотоводческих фазендах, разбросанных вокруг степных полустанков. Ежегодно приходила в движение мычащая рогатая фауна, составы, битком набитые, катились в сторону Ситио и Санта-Крус. Потом наступит сухой сезон, пастбища опустеют, и скотоводы отправятся закупать дешевый тощий скот. Они вернутся, когда вся трава уже сгорит. Наступит короткий отдых. Первая порция соли. Первый выпас. Потом — еще по порции соли каждое новолуние. И опять все сначала.

— Дождик пройдет небольшой, но паводки будут серьезные. Такой уж год!.. Собирай людей, Себастиан. Позови Зе Большого. А это там что такое, Франколин?

Когда наконец появился Баду, из всех верховых лошадей оставался только необъезженный беломордый. Он был уже взнуздан — путы сняты с ног — и вроде стоял спокойно. Но вблизи было видно, как он весь дрожит, словно наэлектризованный.

— Ха-ха...

— Силвино имеет зуб на Баду...

Придется Баду сесть на необъезженного коня. Он не протестует. Он только обиженно его разглядывает.

— ...потому что за девкой этой Силвино тоже приударял, но девка-то давно его отшила.

— Да оставь ты эти сплетни, Франколин!.. Посмотрим, хороший ли Баду объездчик...

Баду подошел к беломордому. Проверил подпругу. Затем затянул и свой ремень. Затем прыгнул в седло, и конь — гоп-ля! — попятился, сопя, поджав хвост, будто хищная рыба, попавшая на крючок. Он поднялся на дыбы, взбрыкнул задними ногами, потом снова вздыбился, шархнулся в сторону, хрипя и фыркая, извивался, мотая гривой, казалось, сейчас понесет.

Майор Сауло наблюдал хладнокровно, только в его зеленых глазах мелькали смешинки, Франколин не выдержал:

— Силвино нашептал коню в ухо... я сам видел, сеу майор! Если прикажете, я пойду наведу порядок...

— Сбросит!

Это был великолепный прыжок, суперсальто, ноги коня взметнулись в воздух, голова, казалось, коснулась хвоста. Но Баду не упал: потеряв стремяна, он сжал коленями лошадиную голову, до отказа натянул поводья, впился в коня шпорами, крича:

— Стой, дьявол!

— Ха-ха... Здорово он его... удержался-таки... Франколин, своим-то глазам ты веришь?

— Да, сеу майор... Я так и думал... Но я еще хотел сообщить вашей милости... Эй, Зе Большой, отойди-ка в сторону, я тут хозяину должен сказать кое-что...

— В чем дело, Франколин Фонсека?

— Франколин Феррейра, сеу майор... Да в том, что я точно знаю, совершенно точно — Силвино убьет Баду, сегодня же.

— На моей фазенде людей не убивают. Это смешно, Франколин!

— Да нет, сеньор, тут не до шуток. Силвино задумал пролить кровь Баду... Если прикажете, я скажу, чтоб Силвино арестовали на станции, после отправки...

— Послушай, Франколин: «Не по коровьей масти судят о молоке!» В путь давно пора.

Майор Сауло спустился с крыльца террасы в сопровождении Франколина и Зе Большого и медленно, тяжелыми шагами пошел к коновязи.

— Отвяжи вороного, Франколин! А ты, Жоан Манико, Манико дружище, чего ж ты еще ждешь, полезай на осла! — И майор грузно плюхнулся на своего коня, который, несмотря на внушительные размеры, присел под его тяжестью, едва не коснувшись брюхом земли.

Семерку Червей уже взнуздали, но он все еще не сдается. «Поезжай, но прежде побрыкайся» — таков девиз старичка осла, когда его не хотят оставить в покое. Мгновенно поставив уши торчком, он искоса, одним глазом, следит за противником — не промахнуться бы, лягнуть куда надо.

Жоан Манико ходит вокруг и ворчит. Набрасывает на осла потник и, перед тем, как надеть сбрую, собирается стукнуть его по голове; для верности Семерка Червей привычно уклоняется: вытягивает морду и приседает, сбруя валится на землю. Погонщику ничего другого не остается, как попробовать взять его лаской.

— Эй, ослишко, стой смирно, озорник ты эдакий.

Вот это Семерке Червей по душе. Жоан Манико треплет его по шее, ослу приятно, он позволяет накинуть на себя потник из волокна агавы. Он уже не брыкается, он покорился. Только по привычке дергает животом, от чего кожа на его спине собирается складками от хребта к бокам и от боков к хребту. Еще он морщит кожу на шее и быстрее покачивает маятником-хвостом. Забирая мундштук, он скалит желтые зубы в неестественно широкой улыбке, затем снова возвращается в состояние полудремоты, пока Жоан Манико не делает попытки сесть на него верхом.

— Живей! Пора, дружище Жоан Манико. Вы с ослом друг другу подходите — вы у нас оба самые старые и самые доблестные. Ты поедешь не торопясь, позади. Как раз подоспеешь помочь при погрузке... Семерка Червей — старик, но он добрый осел, мудрец... Ты знаешь, Манико, осел-то ведь надежнее лошади...

— Сеу майор, если б нужно было просто ехать куда-нибудь целый день по дороге, то вы правы. Но не приведи господь погонять на осле быков!

— Держись, Манико, не горюй... «Вздохами корова изгороди не ломает!» ...На кого это ты воззрился, Франколин?

На другом конце двора Жука Бананейра, поигрывая заплетенной в косички гривой Белмонте, нашептывает Баду: «Зря ты безоружный ходишь! Силвино — прямо тигром смотрит. Все знают — он только удобного случая ждет...» А Баду, приторачивая к луке пику с железным наконечником и показывая на коня, который наконец уgomонился, измотанный своими же прыжками, отвечает на это: «Не на такого напал! У меня тоже, как его увижу, рука к ножу тянется. Да Силвино-то трус, увалень, где ему!» — «Смотри! Если у кого недруг — держи ухо востро!..» И Жука Бананейра ударяется в красноречие, он так же не верит в трусость Силвино, как птица — в неподвижность змеи-лианы, а змея-лиана — в то, что ее заметит ястреб, парящий высоко в небе. Однако Баду поворачивает коня в сторону, в тот угол, где Жоан Манико разговаривает с майором.

Семерка Червей выставил уши вперед. Он стоит неподвижно, потому что любит покой, но коварства ему не занимать. Когда Жоан Манико садится на него верхом, осел не пытается сбросить его только из лени. Но он не отказывает себе в удовольствии лягнуть стремя. Сначала передней, потом задней ногой.

— Что я вам говорил, сеу майор!.. Пакостное животное! Осел никогда до конца человеку не покорится, он его только терпит!..

Майор Сауло не отвечает, его смех доносится издали — он едет к погонщикам, выстроившимся в ряд у изгороди загона, словно эскадрон кавалеристов с пиками.

— Не миновать грозы... — Леофредо кивает в сторону загона. Животные беспокоятся, в глазах у них тревога, они трясут рогатыми головами, насторожив уши.

— Не будет грозы. Просто они чуют, что сейчас мы тронемся в путь...

Не успел Синока договорить, как с гор, потрясая окрестности, троекратным салютом прогромыхали раскаты грома. Масса скота дрогнула, тяжелая волна тел ударила в противоположный конец загона и откатилась вспять: охваченные паникой животные искали выхода.

— Не зевай, ребята! Тут много диких быков, они и на людей могут броситься. Эй, Зе Большой!

Зе Большой перекидывает через плечо ремень, на котором висит рог. Он спокоен, он наблюдает. Он лучше всех в фазенде Тампа знает повадки скота, он быков насквозь видит. По тому, как дикий бык — маруа — сорвется с места или вдруг остановится, Зе судит, насколько он разъярен, рассчитывает силу удара, решает, с какой стороны тот бросится, на какую ногу упрется, куда наставит рога, сколько времени пройдет до второй атаки.

— Ишь, ишь! Здесь все больше быки ленивые, из Форталезы. Правда, есть забияка... Видишь вон ту коровенку — рыжая, в пятнах? Всех расталкивает, ей бы одной остаться во всем загоне. К такой близко не подходи. Боевая.

— Похожа на ту, которая тебя с Жозиасом бодала, а, Тоте?

— Я же рассказывал, как дело было... Ей-богу, я тут ни при чем. Серая корова с теленком стояла посреди загона, храпела вовсю, готова была хоть на ветер броситься... Жозиас мне и говорит: «Давай собьем ее с ног, а то уж больно храбрится...» А я в ответ: «Давай, только смотри в оба», — да забыли мы с ним условиться, кто ее отгонять будет, а кто хватит пикой... Вот мы и стоим — он с той стороны, а я — с этой. Не успел, однако, я через изгородь перепрыгнуть, как эта чертовка уже поняла, что мы задумали!

— Не в добрый час!

— Именно. Едва я приземлился, как она — стрелой к нам, где уж тут выжидать да соображать... Мы оба бросились на нее с пиками, отогнать некому было. Вот так. Она как поднялась на дыбы, да и выбила у нас пики... А после недолго думала, кого бы ей на рога поднять, и выбрала Жозиаса... кишки ему выпустила, а после уж на меня наставила рога, да как захрапит мне прямо в лицо. Ну, я и побежал. Что же мне еще было делать?

— А на что доброму погонщику крепкая пика?

— Так пику-то мою она далеко отбросила. Я же сказал. Жозиасу пришлось худо, она его как швырнет, он так и отлетел, а дьяволица эта давай его топтать и бодать... Я только потому жив остался, что теленок испугался шума и дал стрекача через весь двор, закинув хвостик на голову, но когда я уже через изгородь лез, она-таки достала меня, поддала по пяткам; я и так прыгать собирался, а тут от толчка прямо перелетел через изгородь и плюхнулся на кучу сучь-

ев мастикового дерева, которые там были свалены. Разве я виноват? Просто Жозиасу не повезло, настал его час, а мой — еще нет...

— Ладно, кончай похоронные истории, — майор этого не любит.

Подъехал майор Сауло — он только что лично осмотрел все загоны, с ним — Зе Большой, Себастиан и Франколин.

— Ну, как по-твоему, Зе Большой?

— Я думаю — все в полном порядке, сеу майор. Скот доставим, он у нас — гладкий, сытый, озорничать поленился. Есть, правда, дикие быки, маруа, но это уж — наша забота... Норовистых немного. Но кое-кого надо бы убрать. Поглядите, сеу майор: вон тот рыжий бычок все к изгороди подбирается. А полукровка — маруа цвета корицы, так тот пугается даже, когда кто хвостом махнет... Эти двое постараются удрать по дороге, за ними остальные могут броситься. А вон тот черноносый — у него ноздри и внутри черные — так тот на один глаз кривой.

— Точно?

— Точно. Сами поглядите — все так и норовят двинуть рогами его с этого бока. Он на станцию добредет еле живой, весь израненный. А чуть зазеваешься — пожалуй, удерет в степь... А еще та черная корова — злобная тварь, исподтишка других задевает. Остальные не подведут.

— Ты прав, Зе! Эй, Синока, Тоте: отгоните-ка этих четверых в сторонку и приведите на их место других из маленького загона. Матерь божья! А этого красавца вы видели? Неужели его на бойню гнать! Надо поглядеть, холощенный ли он...

Майор Сауло показывал на стоявшего в дальнем конце поджарого быка, иссиня-черного, нет — цвета вороного крыла, бездонного омута, ночного неба, глубокого, синего-синего, ровного от рогов до копыт.

— Вроде нет... а может... Но хорош-то, божье создание!..

— Он только издалека такой, сеу майор. Вблизи он самого обычного цвета...

— Ну, и что? Он же не Франколин, который вечно у меня перед глазами торчит... Ха-ха... Отгони-ка и его. И — в путь, ребята, с богом. Открывай, Бастиан. Берегись, Манико!

Бедный Семерка Червей, разве он виноват, что совершенно не переносит мундштука и что центр тяжести у него — где-то в передней части тела...

— В путь! Не мешкать! Выстроиться стеной!

Себастиан вошел в загон. Зе Большой, ведущий, трубит в рог. Остальные выстраиваются в две шеренги, образуя два расходящихся крыла — «стенку». Синока настежь распахивает ворота, придерживая створку. Леофредо — «счетовод», приказывает:

— Следите, чтобы они выходили по очереди! Жука, ты что, не умеешь подавать скот? Ну, раз!..

Словно плотина прорвалась. Первой выскочила телка, растерянно озираясь по сторонам. Два! — на волю опрометью выбежал бычок, будто олень, за которым гонятся охотники. Теперь они выходят один за другим. Три, четыре, пять. Десять. Пятнадцать. Двадцать. Тридцать.

— Эй, бык! Эй, бык! Эй-бык-эй! Бык-эй-бык!..

— Пятьдесят! Шестьдесят!

— Убери-ка этого. В сторону! Не годится, весу в нем нет!

— Восемьдесят! Сто!

— Подтолкни-ка вон того, из Уберрабы. Держи, Тотел.. Зверь что надо... Рога кривые, ушастый, резвый, гладкий! — кричат погонщики, любуясь великолепным маруа, мощным, похожим на бизона, который так и рвется в бой.

— Не бык — картина. Бежит — земля дрожит, идет — будто тесто месит копытами!

Теперь животные выходят непрерывным грязным потоком, их крупы испачканы зеленой слякотью, они шумно толкаются, встают на задние ноги в беспорядочной давке.

Погонщики расступаются, проход становится шире.

— Эй, бык!.. Эй, бык!..

— Четыреста пятьдесят... шестьдесят... Все, сеу майор.

Майор Сауло подъезжает, закутанный в широкий плащ, командует:

— Вперед, Леофредо! Загоняй с той стороны, Баду!

Шествие возглавляет Зе Большой, он трубит в рог, а Себастиан во всю мочь своих легких оглашает окрестности первым в сезоне диловатым протяжно-тоскливым криком погонщика:

— Эээй, быыык!..

На правом фланге — Леофредо, Тотел, Синока и Бенавидес. На левом — Баду, Жука Бананейра, Силвино и Раймундан.

— Хороший скот!.. — похваляется майор Сауло, трогаясь в путь.

— Жалкий осел! — изливает душу Жоан Манико, вон-

зая шпоры в бока Семерки Червей, который, тряхнув головой и опустив уши, резко трогает своей обычной тряской рысцей, то и дело готовый остановиться.

Худой как жердь Франколин в жокейском кепи едет вслед за майором.

— Эй, бык!.. Эй, бык!..

Под прерывистые звуки рога погонщики заводят песню:

Кордисбурго и Курвело
стоят дорого, друзья,
но всех мест дороже Лажес:
там живет любовь моя!

Пока опасности еще нет — по сторонам дороги тянутся изгороди. Но сытый скот то и дело нарушает порядок. Быки еще не опустили головы, идут размашистой рысью, понукаемые криками и тяжелыми пиками с железными накопечниками.

— Живее, чего тянете?! — ворчит майор. — Хорош скот!

Идут рогатые — рога большие и поменьше, согнутые полумесяцем или раскинутые в стороны, идут беломордые, белолобые, идут темно-серые, пепельные, пегие, рыжие, белые с черным, рыжие с белым, белые... Идут увенчанные рогами — древним бычьим оружием, идут однорогие и безрогие...

— Назад, черт!

— Не зевай, Жука... Видишь, глаза-то у него кровью налились, бешенные...

— Злоба из него так и прет, ишь сопит от ярости, с него глаз не спускай...

Погонщики погоняют стадо — вокруг бескрайние тучные пастбища, на них нагуливает жир, жует жвачку еще тысяча с лишним голов. Погонщики кричат и поют без усталости, потому что стадо идет еще беспокойно, то вдруг растянется, то сожмется. Среди массы скота возникают странные завихрения, не похожие на обычные перемещения в идущем стаде, когда одни животные стремятся стать во главе, другие протискиваются в середину, большинство же бредет понуро и безучастно, будто плывет, влекомое общим потоком, слабые откатываются в стороны, тяжело-весы отстают и плетутся в хвосте.

— Эй, бык!.. Эй, бык!.. Той! Той! Той!..

Крупы мерно покачиваются, спины коров и быков — словно волны, животные взмахивают хвостами, мычат, шумно трутся боками, рога постукивают, сталкиваясь, слышатся гулкие и глухие удары. Жалобно режут, закидывая

огромные рогатые головы, тяжелые быки с севера Минас-Жерайс, в их голосе — тоска по бескрайним пастбищам на дальних границах сертана.

Вот черный бык, а вот пегий,
у каждого — своя масть...
По-своему каждое сердце
любовную выразит страсть.

Неукротимый маруа, из тех, что нападают, пригнув голову и фыркая пеной, с диким ревом — так и пляшет, вертится во все стороны, не подступиться, прямо дьявол...

У каждой птицы голос свой
и щебет свой приметный...
Смиранным голос должен быть
у страсти безответной.

Понемногу все успокаиваются, погонщики удобнее, вольготнее устраиваются в седлах. Потому что, будь скота голов тридцать, триста или три тысячи, только тогда можно считать, что все в порядке, когда животные вытянутся в длинную ровную череду — сороконожку; да и тогда еще можно ждать каких угодно опасных выходов.

— Чоу! Чоу! Эй, бык!

Теперь, кажется, все как надо, и люди невольно покачиваются в седлах в такт бычьему шагу, и лошади тоже идут по-бычьи, в развалку... Постепенно, незаметно все втягиваются в шумное неторопливое шествие — нога за ногу, копыто за копыто, медленно и гулко катится по дороге стадо, животные опустили тяжелые головы, выставили рога вперед, навстречу ветру...

Стадо идет — будто корабль плывет.

— Назад, зверюга!

— Задел?

— Почти...

— Так весь и кипит, чертов зебу.

— Был бы он моим, я бы его на бойню не гнал. Бесстрашный бык, и красавец. Вроде Калунду...

— Вроде кого?

— Калунду. Был такой зебу, тех же лет. Самый большой, какого я только видел.

— Гуджератский бык?

— Похоже.

— Гнедой, как Паулатан?

— Цвета неба перед грозой. Ревел так хрипло, аж страх наводил...

— Любой зебу страх наведет.

— С Калунду никто не мог сравниться. Страшный был зверь!

— Страшный?

— На вид-то он был совсем ручной, разозлить его редко удавалось. Но как-то сцепился он со стадным быком из фазенды Оливейрас, тоже зебу, только пегим. Дрались они без передышки часа два, и Калунду спустил того, пятнистого, полуживого, под откос.

— А с людьми как себя вел?

— Чужих погонщиков не любил. И такую взял манеру — на пешех не нападал, а вот нравилось ему гоняться за всадниками. Гляди, сейчас в лесостепь выедем. Тут не зевай, не то они живо по сторонам разбегутся!

— Разойдись вширь! Придержи коней! — кричит Жука Бананейра, передавая приказ Себастиана.

Едущие по бокам отступают в стороны, протяжно кричат:

— Эээй, бык!..

Едущие впереди подбадривают животных:

— Эй, быки-коровы! Чоу! Чоу! Чоу!.. Эй-эй!

Стадо вытягивается в длину и становится тоньше — будто солдаты на ходу перестроились из каре в колонну.

— Громы и молнии! — кричит Жука Бананейра, придерживая коня, чтобы полюбоваться быками — теперь они бегут, вскинув рога, часто перебирая ногами, вихрем проносятся угловатые силуэты, кодуном ходят косые лопатки.

— Назад, образина!

Бык вылетел из стада, выпихнутый сильным толчком, и плюхнулся на колени, едва не сбив с ног лошадь Раймундана.

И снова они идут, шумно дыша, тем же тяжелым, размеренным шагом, словно катятся по дороге глыбы, оцетившись остриями рогов. И равнина гулко содрогается под ударами тысячи восьмисот сорока копыт.

Ведущий непрерывно трубит в рог, остальные погонщики кричат тоскливо и протяжно, и быки невольно принаравливают свой шаг к этим хватающим за душу звукам.

— Сейчас дождь пойдет, Раймундан. Погляди-ка на того черного, так и храпит, так и фыркает на других. А что, Калунду тоже был такой задира?

— Слушай. Погоди, сперва устроимся поудобнее — собьем в кучку коней и скот, чтобы не мешали нам говорить. Вот так. Ах, черт, ты, оказывается, мастер, а я-то собирался тебя учить.

— Что же это за история? Калунду убил кого-нибудь?

— Потом. Сейчас я расскажу, что было в Ретиро... Я поехал туда разыскивать корову майоровой дочери. Коровы отелилась у самой реки, и теленка у нее крокодил слопал. Она сделалась прямо помешанной, кидалась, как дикий зверь, на всякий шорох, кого попало готова была забодать. Так она меня загоняла, что решил я заночевать там на ранчо, что у кокосовых пальм. Ночью взошла луна — большая, круглая, можно было разглядеть, как блоха по земле скачет. Моя собачонка, охотница до водосвинок, на месте не сидела, рыскала вокруг, да вдруг остановилась и попятилась... Верно, броненосца почуяла — подумал я. Пошел посмотреть... Эй, держись!

Огромный серый бык фыркнул прямо в ухо коня Баду, тот молнией отпрянул назад, влево, и припал на задние ноги, выгнув шею. Баду, потеряв было равновесие, вытянул его по спине и на мгновение повис на стремянах — вот-вот соскользнет с седла под копыта бегущих быков. Но он точным прыжком перекинулся на другую сторону и подобно уральскому атаману снова очутился в седле.

— Пустяки. Рассказывай, Раймундан.

— Так вот, пошел я посмотреть, чего это испугалась моя собачонка Зеферина...

— Ого! Разве это собачье имя?

— Я назвал ее так из мести, когда моя жена Зеферина меня бросила... Но ты и представить себе не можешь, что я такое увидел! Там, в низинке, был луг, и я прямо врезался в стадо. Луна светила на удивление ярко... Со стадом делалось что-то непонятное: оно как-то странно двигалось. Я приказал собачонке молчать и увидел, что встревоженные коровы сбивались в кучу, проталкивая в середину телят, и кружили, кружили, все уже сжимая круг.

— А потом?

— Подожди; видишь — в горах уже дождь. Эх, небесная водичка, такой от нее запах приятный, свежий!.. Мелкий, видно, дождичек... Так вот, Калунду, который был стадным быком, выглядел еще внушительней, чем обычно, он обходил коров, все время поворачиваясь к ним задом и выставляя вперед рога. И тут я услышал вдали мяуканье и вспомнил о черном ягуаре, который резал скот у сеньора Килитано, в Лажесе и в Сако-да-Грота. Ягуарище будь здоров...

— Ребята, дожди!

Хлынул дождь, кипящие белесые струи шумно обруши-

лись не сверху, а откуда-то сзади. Ливень облаком обхватил стадо и попелся дальше. В водяном тумане силуэты быков выросли, вытянулись, стали узкими теньями, похожими на бесформенных пресмыкающихся, вода скатывалась с них брызгающим потоком. Копыта чавкали, словно шлепали по выжимкам сахарного тростника. Послышалось мычание. Но тут впереди снова гнусаво затрубил рог, еще громче, чем раньше.

— Эй, песню!

Ливень усилился, обрушился яростно, сплошной тяжелой пеленой. Будто шли сквозь водопад. Скота уж и не видно было. Но погонщики дружно запели:

Дождь, не утихая, льет, и льет, и льет...
Но святая Клара на помощь мне придет,
и святой Антоний солнце мне пошлет:
дождь тогда утихнет, перестанет лить,
чтобы свои простыни смогла я просушить.

— Ох, наконец-то отпустил. А то прямо не продохнуть. Ну просто...

— Так что же ягуар, Раймундан?

— А ягуар этот, как говорили, пожаловал издалека. Вернее, не ягуар, а черная ягуариха из Мато-Гроссо... Ей любая даль нипочем, хотя идет она только ночью, промышляя охотой... Так вот, я-то думал, она от меня за много легуа... думал, она в Макинэ...

— А зебу?

— Как услышал я мяуканье, подбежал поближе к молодой мимозе — при мне огнестрельного оружия не было, а ягуар, говорят, на тонкий ствол влезть не может — лапищами не обхватить... Ну стою я и молюсь, чтобы эта зверюга на меня не бросилась... Обрадовался, когда услышал мяуканье за бамбуковой рощей... А Калунду рыл землю копытом и храпел неистово, мне даже как-то легче стало: ведь это он меня защищает, и мне даже ягуариху жаль стало!

— А потом? Ягуариха бросилась на маруа?

— Неправильно ты говоришь. Зебу — это зебу, а маруа — просто бык... Ну, что ж, увидел я ее, пятнистую ягуариху, ночь-то была светлая, полнолуние, как я говорил.

— Она что, редела от ярости, Раймундан? Я однажды тоже видел ягуара, готового к прыжку.

— И не думала реветь. Где это видано, чтобы ягуар ревел, подстерегая добычу? Она была как кошка, когда птицу ловит: неслышно ползла на брюхе, только хвост

ходуном ходил. Глаза у нее горели зеленым светом, будто крупные светляки.

— Она зебу на загривок бросилась?

— Куда там! Поверишь ли — не отважилась. В тот миг сам черт не рискнул бы подступить к боевому быку, ни знаменитый тореадор, ни лучший погонщик, ни даже сам Мулатиньо Камписта, ни Вириато, ни Салатиел, никто... Разве что кому жизнь надоела, чтобы с собой покончить...

— Ишь ты!

— А Калунду все больше ярился, вызывая ягуарику на бой, браня ее по-своему отборной бранью... Я глаз от него оторвать не мог, и мне казалось — никогда я не видел такого огромного зебу. А горб у него ходил ходуном: то назад съезжал, то опять становился на место, а потом напознал ему на глаза, будто шляпа! Ей-богу! И даже луна светила на него ярче, чем на все остальное стадо, словно любовалась им...

— Ну, ты уж, Раймунда, завираешься...

— Ладно, может, это мне померещилось, не буду настаивать... Но тут я понял, что и у ягуаров ангел-хранитель есть!.. Ягуар ведь только тогда на врага бросается, когда все, что падо, разглядит, все прикинет, а уж потом только прыгнет, верно? Так вот, в ту почь пятнистая ягуариха мозгами пораскинула и пошла на попятный. Поползла назад, а потом, ни разу не мяукнув, убежала и скрылась из глаз. Мудрая тварь!

— Что это там, впереди?

— Река. Нам на ту сторону.

— Смотри, как она вздулась. Вода до середины мимозовой рощи дошла!.. А овраг где? Видать, под водой!

— Матерь божия! К ночи, верно, еще поднимется! Луна в неблагоприятной четверти, и год недобрый, на шесть кончается.

— Вода с гор, — вон сколько по реке пальмовых листьев плывет...

— Говорят, в верховьях уже четыре дня подряд льет...

Галопом подскакал Франколин, передал Себастиану приказ майора:

— Ждать, не торопить скот с переправой...

— Значит, плохо дело. Тут-то еще ничего, а вот переправа через Жекитинью...

— Знаю. Я ее переходил с шестьюдесятью головами, когда из Баии шли... Там самое трудное — не ширь, а по-

ток, течение очень уж сильное. Впереди нужно ставить ручных быков, привычных, чтобы не испугались. У одного тамошнего жителя можно обученных бычков нанять. А погонщики переправляются на лодке, следят за плывущим стадом.

Подъехал майор, подозвал Себастиана.

— Я думаю сейчас брод — самое опасное место. Лучше свернуть и переправиться пониже, там, наверное, мельче...

— До дна теперь нигде не достать, сеу майор. А там, ниже, другой берег размыт, из воды негде выйти. Нет уж, лучше здесь, хозяин.

— Будь по-твоему, но смотри! Здесь место гиблое.

Погонщики остановились на обрывистом берегу, ждали, пока скот отважится ступить в воду. Сыпался редкий дождик; потоки, рожденные ливнем, обрушивались с кипеньем и рокотом, словно потоп. Река вспухла, вышла из берегов. Глинистая стремнина пульсировала, как живая, иногда вдруг казалось, что вода опускается, но она тотчас опять поднималась выше прежнего. Большое дерево — крона, ствол и корни — дрейфовало, словно пирога, украшенная желтыми флагами; оно задело о неподвижный круглый куст лупина, легло на борт, затем, взяв прежний курс, направилось вниз по течению.

Страшное место этот Голодный ручей! В сухое время года — пустяковый ручьишко, едва заметная струйка мутной воды, но в декабре, с началом больших дождей, Голодный ручей опаснее, чем большая река — в той как-никак сохраняются и тихие заводи, и пологие прибрежные откосы, и течение не везде такое быстрое.

Животные стояли неподвижно, сгрудившись на склоне. Многие мычали.

— Коу! Коу! Тоу! Тоу!

Вот первые спускаются к воде. Зе Большой въехал в воду на Остроглазе, который тут же поплыл. Уже на самой середине потока ведущий обернулся и протрубил в рог. Мощный длиннорогий бык с севера Минас-Жерайс вытянул стройную шею, вздернул морду и прыгнул в воду, подняв хвост. Рогатые головы дрогнули, подались вперед, отступили. С берега сорвалось еще с десятков животных. Их ноги взрезают воду, как долото, с тяжелым всплеском. Но вот до дна уже не достать, тел не видно, на поверхности одни только морды, мясистые поздри жадно втягивают воздух, рога словно парные рожки морских улиток. И вот уже

все стадо скатывается лавиной, преграждая стремительное течение Голодного ручья.

Майор Сауло переправлялся последним, он пропустил вперед Семерку Червей с Жоаном Манико и даже Франколина. Потом майор быстро догнал остальных.

— Браво, ребята, все в целости! Франколин, скажи Себастиану, чтобы свернул на нижнюю дорогу, там, в конце заливных лугов... Ну, как ты, кум Манико, чувствуешь себя на осле, не слишком он древний? Послушай, Манико, таким ходом он, ей-богу, выдержит несколько дней пути.

— Хитер он, кум сеу майор, себе на уме, притворяется, чтобы при случае напакостить.

И верно: Семерка Червей не спешил, невозмутимый, бесчувственный и к уговорам, и к плети из сыромятной кожи. Да и какой же уважающий себя осел побежит послушно, словно лошадь, разве что будет на то веская причина — из ряда вон выходящий случай, спешное дело, королевский приказ. А пока что хватит и того, что он добросовестно переставляет неподкованные копыта, не брыкается и не пятится, а идет себе — трюх, трюх — неторопливой рысцой.

— Однако, кум, ты на нем неплохо едешь, покойно, мирно...

— Да, сеу майор. Я знаю, вы это для собственного здоровья смеетесь, а не надо мной. Но уж скажу откровенно — не очень-то мне и надо было ехать... Я тут, как говорится, тринадцатое яйцо в дюжине... А ослишко этот, кабы он позавчера издох, так тоже бы большой беды не было!

А Семерка Червей идет себе да идет коротким шагом сосредоточенного в себе существа, ставя с миллиметровой точностью задние ноги в следы от передних ног.

— Слушай, я тебя серьезно спрашиваю, кум Жоан Манико, ты думаешь, осел — он дурак?

— Кум сеу майор, вот чего я не думаю, так не думаю. Ослы — твари хитрые...

Семерка Червей никогда себе не изменит. И залитая солнцем площадь бодрствования, и глубокие подземелья сна — не для него. Неторопливо он идет потихоньку-полегоньку, полуприкрыв глаза веками, и мир вокруг него — покой, полумрак, зато во внутреннем его мире — ясная определенность, точное знание. Уши — глаза ослиной души — подрагивают, как стрелки компаса, чутко отзываясь на все дорожные происшествия, а дорога для него — это

туманный мост, и идет он по ней, как идут все ослики, ничего не говоря и никого не спрашивая, зная свое место, неспешно и незаметно, через века, во веки веков.

— На нем не поскачешь, Манико, как того твоя отвага требует, ослику это не под силу.

Стадо растянулось по мокрой равнине, только один или два быка носятся среди зарослей тяжелым бычьим галопом, вынося вперед широко расставленные передние ноги, высоко подбрасывая круп.

— Оо-аа! Хорош скот!

— Загляденье, сеу майор!

— Почти у всех шерсть отменная и все стати что надо. Но откинь-ка грусть, кум Жоан Манико, потому что скоро я сообщу тебе что-то очень приятное. Куда это только мой Франколин запропастился — уехал, как в воду канул... Я-то знаю, почему он так долго, такое уж я ему поручение дал. Поскакал он в одну сторону, а вернется с другой, и расскажет мне все, о чем говорят погонщики, что они делают — и как и чего они не делают.

— Длинные глаза и уши — это хозяину хорошо.

— Хорошо, да не всегда он приносит добрые вести. Впрочем, он всей этой красоты не чувствует, и я заранее знаю, о чем он будет докладывать, дескать, мои люди бездельничают, языком болтают... Ха-ха-ха! Я это и сам знаю, Манико, но дурного тут ничего нет, пусть лучше сейчас повеселятся, зато, когда придет час работать, сил не пожалеть. Парень на это только и годен — за работниками следить. Забавный...

— Сеу Франколин как пристанет, нипочем не отстанет, сеу майор. Сегодня, в этой дурацкой шапчонке, прямо выходец с того света.

— Ха-ха, старина Манико! Как говорится: «Голодный теленок и коровий хвост станет сосать»... Любопытная штука — жизнь. Курицы бывают разного цвета, а яйца-то все белые. А ты читать и писать умеешь, кум Жоан Манико?

— Немного умею, да с ошибками и с трудом, года два назад, пожалуй, еще мог бы нацарапать записку на клочке бумаги.

— А я нет. Я ведь и в школу не ходил, я в жизни ничему сидя за столом не выучился. Да ты сам знаешь, что грамоте я не учен. А вот денег у меня с каждым годом все больше, земли все больше, скота на пастбищах все больше. А считать не умею, да и не люблю... Никогда не подсчитывал, сколько получаю, сколько трачу. Деньги — как вода

во время паводка, потом река войдет в свое русло, а на берегу все одно полные ямы останутся. Я люблю действовать наугад, наудачу, Жоан Манико, брат мой!

— С божьей помощью неплохо у вас получается, кум сеу майор.

— Я и других не обижаю, у каждого свое достоинство есть.

— И правильно поступаете. У вас все на совесть работают. Да только, если уж о послушании говорить, вас все боятся.

— Правда, Манико? Не сочиняешь?

— Правда истинная. Говорят, это потому, что сеу майор идет на дикого быка без пики, с одним только хлыстом в руке, и дует ему в морду.

— Я быков люблю, Манико, это — моя слабость.

— Вот-вот. А я думаю, вас потому боятся, что никогда заранее не знаешь, что вы, кум, подумали и что скажете — ждешь от вас одного, а выходит наоборот. Я вот замечаю, что наши погонщики больше боятся вашего гнева, чем бычьих рогов, не в обиду будь сказано, кум сеу майор.

— Послушай, Манико — иногда полезно бывает на все издали посмотреть. Вот едем мы с тобой тут... и по следам на земле понимаем, что со скотом происходит. Ты ведь тоже в этом смыслишь. Так вот, и в людях разбираться меня быки научили.

— Я тоже так думаю, сеу майор.

— Но не всегда, Манико кум, имей в виду. Хо-хо... Вот теперь самое время, как говорится, снять с кастрюли крышку да поглядеть, что к чему. Сейчас луга кончатся и мы двинемся по узкой дороге, тут в прошлом году одна пятнистая корова задала нам хлопот, все стадо на целых полчаса задержала, никому не давала пройти, трех быков с откоса спустила, нападала врасплох.

— Дурное это место, верно.

— Ну, скажи за мной, Манико, поглядим, что там делается! Побыстрее, кум, что ты там застрял! Посули там чего-нибудь ослику, чтобы он бежал поживее! Вот так!

— Сдаст он.

— Эх, ты! Как же это так? Погонщик и быков боится? Хо-хо... Вперед, Манико. Нет, постой-ка... Видишь, быки отбились от стада и бегут. И прямо на Баду!

Они остановились. Тут Баду услышал шум, обернулся и увидел Силвино, бешеным галопом уходящего от быка. В последнюю секунду Силвино свернул, и гнавшийся за

ним бык бросился на Баду. Его испуганный беломордый конь метался где-то поодаль. Баду схватил пику.

Бык стал. Это был огромный зебу: пеший погонщик не внушал ему никакого почтения.

Бык подался вперед, тряхнул головой, холкой, загривком, приводя себя в боевую готовность. Потом весь подобрался, нагнул голову и двинулся на Баду.

Некогда было и двух шагов ступить, отвести удар в сторону. Баду едва успел занять оборонительную позицию, пику он держал как мотыгу: левая рука в двух вершках от железного наконечника, правая рука сзади.

— Куда, старая корова!

Удар! Наконечник пики скользнул по морде быка. Сантиметра не дотянул! Баду молниеносно отскакивает, ему удастся избежать рогов, тут и царапина была бы смертельно опасна; он с трудом удерживается на ногах, он почти падает — но бык пронесется мимо, хрипя, выбивая копытами барабанную дробь.

Баду, выпрямившись, быстро поворачивается, потому что разъяренный бык, развернувшись, стрелой несется назад.

Только не смотреть на чудовищную гору мускулов, не бык — паровоз, земля дрожит, воздух взрывается, только не смотреть на огромную голову, приближающуюся с бешеной быстротой, круто опущенную, злобную — пощады не жди. Смотреть только на железный наконечник пики...

— Сюда, страшилище!

Точно в цель! Острые уперлось быку в морду, древко пики заходило, как рукоять шатуна, Баду оттолкнулся, составив ноги вместе, и точным прыжком отнес тело влево.

— Беги, чертова коровенка!

Бык пронесся с грохотом, обдав шумным дыханием.

— Меткий удар! Добрая пика! Золотые у меня погонщики!

Через несколько шагов бык коротко замычал и яростно повернулся. Боль заставила его снова броситься на Баду.

— Ну бык! — Ломая мощный натиск, железный наконечник уперся в бычью морду немного пониже глаз. Зебу выгнулся, оторвал от земли передние ноги и, что бывает не часто, с хрипом и храпом вздыбил свою страшную тушу. На мгновение древко пики согнулось и дрогнуло — но Баду приналег, и удержалась пика в руках погонщика, десять лет провоевавшего со скотом в фазендах сертана.

— Вот так, братишка! Не силой, а ловкостью человек побеждает быка!

И зебу-ассу грохнулся наземь, со всеми своими боевыми орудиями, будто его схватили за рога и опрокинули.

— Ну, герой, теперь догоняй остальных!

Стадо уже ушло далеко вперед.

Майор Сауло и Жоан Манико закуривают. Семерка Червей все еще тяжело дышит от усталости, его бока вздымаются и опускаются чаще, чем обычно.

— Сеу майор! Что я вам расскажу! Нужно принять срочные меры, — взывает, едва подскакав, Франколин, который объехал погонщиков и вернулся.

— Отдышись, Франколин!

— Я всерьез, сеу майор.

— Стой, Франколин. Ты мне нужен, вернее твой конь. Слезай и поменяйся с Жоаном Манико. Вот так. Пустяки, Манико, благодарить будешь завтра. Поезжай вон туда направо и пришли ко мне Раймундана... А тебе, Франколин, нечего держать осла под уздцы и глядеть на него сверху вниз. Садись верхом — и за мной. Да смотри, не прищипывай моего Семерку Червей, он животное почтенное!

— Только из уважения к вам, сеньор сеу майор.

— Ты мое доверенное лицо, Франколин. Твоя обязанность — помогать мне во всем.

— Да я ради вас — хоть голову под нож, сеу майор, я ради вас камни готов ворочать. Я только попрошу вас распорядиться, чтоб Жоан Манико отдал мне мою лошадку при въезде на станцию, а то люди увидят, я как-никак ваш помощник, мне на осле зазорно, не в обиду вам будь сказано, сеу майор, я знаю, для вас первое дело — хорошее обхождение...

— Обещаю, Франколин, но ты мне тут что-то начал докладывать.

— Шутить изволите, сеу майор... А я ведь все видел, как было.

— Все видели, Франколин.

— А я с самого начала, сеу майор: Баду хотел подтянуть у коня подпругу, отъехал в сторону, спешился, повернулся к быкам спиной...

— Вот это не дело, Франколин. Настоящие погонщики так не поступают.

— Сначала-то он лицом хотел стать, да конь у него беспокойный, с норовом.

— Правильно, Франколин. Конь молодой, ему на быков

пока еще смотреть неохота, он и уставился на степь, так ему больше нравится.

— Так вот, стал Баду подтягивать подпругу и смотрел только, чтобы беломордый его не лягнул. И тут Силвино натравил маруа. Выбрал самого дикого, махнул красной тряпкой... стадо сбилось, я своими глазами видел, да только Раймундан снова навел порядок! Потом Силвино помчался галопом вперед на Баду, а за ним маруа пыхтит у самого хвоста его лошади, вот-вот ударит рогами, сеу майор... Это он нарочно подстроил, сеу майор, от злости. Так вот, Силвино совсем близко подскакал к Баду, да вдруг на полном ходу как свернет в сторону, бык на Баду и бросился.

— Остальное я и сам видел, Франколин, но никакой драки не было, все добром обошлось, как и должно быть среди моих людей.

— Простите, сеу майор, но еще не обошлось, нет. По-моему, все еще впереди. Не гневайтесь, сеньор, но их двоих надо бы призвать к порядку, не то Силвино прикончит Баду, сегодня же!

— А если Баду прикончит Силвино, Франколин?

— Вот и Раймундан... Сами у него спросите.

— Ты, Франколин, пока поедешь позади, потихоньку, ослишко бедный замучился, он теперь только шагом пойдет... Раймундан, ставь коня рядом, спутником моим будешь... Ты видел, как Баду воевал с быком?

— Парень стойко держался, сеу майор.

— Этот маруа больно злой. По-моему, он из последней партии, что из Помпеу пригнали. Страшный бык. Может, его разозлило, что Силвино красным платком нос утирает?

— Не может этого быть, сеу майор. Никто из нас красного никогда не носит...

— Правильно, Раймундан. От красного голова болит. Поедем-ка побыстрее, хочу догнать стадо. Но Силвино ведь уходил от быка на коне. С чего бы это?

— Я толком не разглядел, сеу майор. Я только видел, как Баду с быком схватился. Такого, который башкой землю роет, я обычно в загривок бью пикой... каждый по-своему.

— Верно. А ты помнишь еще, Раймундан, как впервые быка повалил?

— Еще бы, сеу майор, бык был такой приземистый, могучий, он на людей кидался просто забавы ради, а нападал, выпучив глаза и закинув голову, как корова. Вы-то знаете, сеньор, такого трудней всего пикой взять. Отец мой погон-

щик был, каких поискать, решил, что тут — самое подходящее моею силу попробовать. Я не сплеховал, слава богу.

— А ты о чем-нибудь думал в ту минуту, Раймундан? Что ты чувствовал?

— Когда он на меня кинулся, я только подумал — какой он огромный, я раньше таких громадин среди быков не видывал. Но это в первый миг, потом-то руки, да и все тело, сами работают, пика — и та сама, что надо, делает. Когда я пришел в себя, праздник уже кончался, и отец протягивал мне самокрутку — он сам для меня ее изготовил, впервые в жизни я при нем закурил. А он и говорит: «Сынок, ты родился погонщиком. Теперь я спокоен».

— Крепкий был старик! Ну, и ты сразу мужчиной себя почувствовал?

— Нет, сеу майор, только зверски есть захотелось. Хуже всего, что я хоть и окунул голову-то в холодную воду, но так и не смог от быка избавиться, он у меня целый день до боли перед глазами стоял, как картина: черный бык, широколобый, приземистый, семилетка, у основания рогов — пять колец.

— Недурное начало, Раймундан. Знаешь, я ведь погонщиков своих ценю, все, что они мне рассказывают, — на ус мотаю. У меня люди — все как на подбор.

— Вы добрый, сеу майор.

— Я от души говорю, Раймундан.хлопот у меня с ними мало. Редко когда мне кто-нибудь злом отплатит. А вот ссора Силвино с Баду... Как ты думаешь, не доведет она до беды?

— Думаю, не доведет, сеу майор. Вражда между ними как разгорелась, так должна и остыть. Баду у нас на фазенде всего два месяца и уже у Силвино девку отбил. А Силвино, вместо того чтобы отвернуться да плюнуть на это дело, затаил злобу. Я осуждать никого не хочу, оба они и правы, и виноваты.

— Девка-то хоть красивая?

— Ничего себе. Косит малость. Теперь уже и свадьба назначена. Баду только об этом и думает, ему не до ссор.

— А Силвино?

— Он вроде бы успокоился, сеу майор. Он говорил — хочет к себе на родину вернуться, в Куриматай, и жениться на невесте, которую там оставил. Вчера он своих четырех коров продал...

— Как продал? Теперь пастбищ хороших сколько угодно, а одна из них, я точно знаю, вот-вот отелится!

— Эта пошла за четыреста. Остальные — за триста пятьдесят, триста.

— Задешево отдал! За эту цену он должен был мне продать, я же пастбище даю даром или беру половину, если скота больше дюжины. Пусть бы он коров с собой увел, я бы спорить не стал.

— Бестолково он поступил, сеу майор, не гневайтесь. Он, видно, торопился, а с вами постеснялся поговорить.

— Может, и так, Раймундан. Но что плохо, то плохо. А больше он ничего не говорил?

— Ничего, сеу майор. Сегодня он был тише воды, слухал, что я им с Бадун рассказывал.

— Это хорошо, можно и поболтать, когда стадо гонишь. Что же ты им рассказывал, Раймундан?

— Да разные истории, сеу майор. Про Калунду...

— Страшный был зебу. Убил сына Боржеса.

— Да, сеу майор. Бедный сеу Вадику. Славный был мальчик!

— Ты его любил, ты ведь у них работал?

— Очень любил, сеу майор... Сеу Вадику ко всем хорошо относился. Никому не позволял живую тварь обижать. Хотел всерьез скотом заняться, как-то прибежал он ко мне, чуть не плачет: «Не хочу в гимназию! Лучше пусть здесь, Раймундан, меня коровы ногами затопчут, хочу остаться со всеми вами!» Никогда бы я не подумал, что он погибнет на моих глазах, да еще такой страшной смертью.

— Это в поле случилось?

— В Лаже, на плоскогорье, мы там скоту известь и соль с хиной давали, чума у них началась. Всех коров туда погнали, и телок, и подросших телят, и мелочь нескольких дней от роду. Сеу Неко Боржес приехал со всем семейством, посмотреть, что и как. Сеу Вадику очень уж любил Калунду, и зебу тоже, видно, любил его, разрешал бока себе почесывать, по носу похлопывать. Мне это не очень нравилось, зебу — зверь злобный, никогда не знаешь, что ему в голову придет.

— Они злые, потому что тоскуют. Ты послушай только, как они режут.

— Наверное, поэтому, сеу майор. А Калунду, вы, может, не знаете, никогда на пешего не нападал. Так вот, стоял он тогда среди смиренных коров. Сеу Вадику подошел и принялся его ласкать, соль ему давал слизывать прямо

с руки... Мы все с пиками тут же, рядом были. Калунду тыкал парнишку носом, ласково так, будто человек. Кто бы мог подумать? Вы же знаете, сеньор, бык никогда просто так на человека не бросится, не предупредив, даже когда он ярится, храпит и землю роет, нужно в глаза ему смотреть.

— Верно. Перед нападением у быка глаза совсем другие становятся, выкатываются, будто сейчас выскочат.

— Так вот, клянусь, сеу майор, все произошло неожиданно-негаданно... Я видел, как Калунду нагнул голову. Вроде бы еще соли просит. И вдруг ударом морды сбил мальчика с ног — так собака жестянку с мусором переворачивает. Сеу Вадико упал навзничь, головенкой промеж бычьих ног. А тот даже не наступил на него, а отошел немного назад, да рогами. И когда поднял снова рога, кровь брызнула фонтаном вот такой высоты!..

— Печально это, Раймундан.

— Мы все подбежали, но быка оттащить не пришлось — он сам повернулся и медленно побрел прочь, словно не хотел смотреть на зло, им содеянное. Кровь лилась рекой, все кричали... Сеу Неко Боржес в беспамятстве выхватил было пистолет... Но сеу Вадико, умирая, сказал твердо, как взрослый: «Пощади Калунду, отец, ради бога! Я не хочу, чтобы его обижали!..»

Сеу Боржес приказал отвести быка к сеу Лоуренсо в Виста-Алегре, а там продать или подарить. Я вызвался его туда доставить, потому что кроме меня никто не знал заветное камбарá¹. Слыхали про такое? Так вот, подогнал я к нему несколько смиренных коровок, сел на моего гнедого и бросил через плечо пучок цветов камбара: и зебу пошел за мной, будто теленок за маткиным выменем. Я понукал его: «Топай, топай, убийца!» — но тихонько, чтобы он не понял. По дороге все было в порядке, но когда мы пришли в Сако-да-Собра, тут страх меня взял, потому что заветное камбара действует только в пути. И я закричал: «Эй, откройте-ка ворота настежь, с обоих концов, да поживее!..» Я галопом влетел в загон с одной стороны и вылетел с другой. Бык и коровы вошли вслед за мной, и загонщики тут же закрыли ворота. Ну, а ночью... Я ночевал там и своими ушами слышал, сеу майор. Никто глаз не сомкнул до са-

¹ Камбарá, или камара — деревце из семейства сложноцветных.

мого утра. Всю ночь Калунду ревел хрипло и жалобно, так что жуть брала. Выл прямо по-собачьи, а может, это собаки ему подвывали, не знаю. Леофредо, он как раз там был, говорит: «Это Калунду раскаяньем мучится, что мальчонку прикончил»... Но старый Венансио, слепой погонщик, он уже не работал, растолковал нам, что в быка злой дух вселился. А Калунду будто звал кого-то. Мы все туда пошли. Увидев нас, он выть перестал и мирно так подошел к изгороди... Мне почудилось — он сказать что-то хочет, и я стал молиться, чтобы он не заговорил... Рано утром на другой день мы нашли его мертвым посреди загона.

— Иногда такое случается, что людям не понять, Раймундан.

— И я так считал, сеу майор. Я вот тоже одну такую историю слышал, много лет назад. Отец мой рассказывал: работал он тогда у Леонсио Мадуреры, в сертане. А Леонсио Мадурера этот был сущий дьявол, скот продаст — и пошлет своих людей окружить стадо и убить погонщиков, а скот вернуть. Так вот, говорил отец, когда Леонсио Мадурера умер и родственники бодрствовали ночью над его телом, молочные коровы вдруг начали мычать в загоне дурным голосом. Черный стадный бык ревел:

— Мадурера! Мадурера!

А коровы за ним:

— В преисподнюю! В преисподнюю!

Пришлось всех коров силой на пастбище выгонять, они от дома отходить не хотели. И долго еще слышались коровьи проклятия, коровы поднимались по склону холма и мычали:

— Мадурера! Мадурера!

— В преисподнюю! В преисподнюю!

...От одного этого рассказа не по себе становилось...

— Жутко, Раймундан.

— Жутко, сеу майор.

— А ведь мы скоро дойдем, Раймундан!

Вдали уже виднелся поселок: белая, словно игрушечная церковка на холме, дома Нижней и Верхней улиц и станция — длинные неподвижные составы, паровозы в клубах дыма.

— Так вот, Раймундан, я думаю — у нас все идет как надо. А что до Баду с Силвино, то их вражда ничем серьезным не кончится, ты ведь тоже так думаешь. Когда Баду быка с ног сбил, все только смеялись, верно?

— Верно, сеньор сеу майор. В шутку все обратили.

— А как ты думаешь, уважает Силвино брата своего, Тоте?

— До вчерашнего дня казалось мне — уважает, сеу майор. Но спор у них вышел, теперь они друг с другом не разговаривают.

— А почему, знаешь?

— Точно не знаю, сеу майор, никто не слышал, о чем они говорили. Но думаю, из-за того, что Силвино потребовал деньги, которые Тоте ему был должен.

— Хо-хо-хо-хо! Ты прав, Раймундан, верно, так и есть. Спасибо за беседу и за компанию. Теперь можешь ехать, да пришли сюда ко мне кума Жоана Манико, пусть отдаст Франколину коня. С богом, Раймундан!

По знаку майора со всей возможной быстротой подоспел Франколин, сидя раскорякой на Семерке Червей, который до тех пор трусил, как и прежде, не выказывая ни признаков усталости, ни упрямого норова.

— Готов служить, сеу майор.

— Послушай, Франколин, я хочу знать, внимательно ли ты за ними следишь, достоин ли ты на самом деле быть моим доверенным человеком! Можешь ты мне сказать, что Силвино сегодня с собой везет, какая у него кладь?

— Я уже заметил, сеу майор! — везет он с собой больше, чем остальные: переметная сума полная, мешок битком набит, еще хлам какой-то в плащ завернут... Если желаете знать, что у него там, так я мигом все вызнаю и тотчас вернусь доложу.

— Не стоит труда, Франколин. Гляди-ка: вот и Жоан Манико с твоим конем. Меняйтесь. Потерпи, Манико, ты только сегодня на осле потащишься. Пока, кум! За мной, Франколин! Хватит дурацкую шапчонку поправлять, ты у меня и так красавец. Скачи галопом, пусть все в поселке видят, каков мой помощник.

Вот уже и мост через речушку позади, теперь они на окраине, среди самых жалких лачуг. Спугнутые прачки бросились врассыпную с узлами белья на голове — ни дать ни взять огненные муравьи из потревоженного муравейника, уносящие белые яички и личинок.

— Слушай внимательно, Франколин: у меня к тебе серьезное дело, исполнить его надо аккуратно, но я знаю, на тебя можно положиться. Так вот. Рот молчит, а глаза смотрят в оба. Возвращаться будете без меня, Франколин. Я решил переночевать в поселке, с семьей, а ты поедешь

домой с погонщиками и мою власть я на это время тебе передаю, ясно? Да смотри, чтобы никто пока ни о чем не догадывался.

— Чтoб мне тут же умереть, ваше слово мне закон, сеу майор!

Стадо втискивается в узкую улицу.— «Чоу! Чоу! Чоу!» — «Пересчитал, Лсофредо?» — «Все на месте!» — «Эй, Баду, усьмири-ка вон того!»

— Ни на минуту не упускай из виду Силвино, он задумал прикончить Баду и смыться. Теперь я точно знаю. Глаз с них обоих не спускай, Франколин Феррейра!

Всадники врезаваются в стадо, разбивая его на группы, чтобы избежать заторов и давки. С адским топотом, разбрызгивая красную грязь, они вваливаются на главную улицу. Четыре погонщика выезжают вперед, гарцуют, сильно прищпорив коней и натянув поводья. Они криками предупреждают народ, чтобы зазевавшиеся люди или животные не попали под бычьи копыта.

Женщины тащат детей в дома. Хлопают двери. Люди теснятся у окон. Лошади, привязанные у лавок, вскидываются на дыбы, чуть не порвав недоуздки. Куры, свиньи, козлята поспешно убираются в безопасное место. А погонщики красуются, подтягивая стадо, и с особой удалью звучит их традиционный протяжный клич.

С последним звуком рога скот вливается в железнодорожный загон и раскатывается по нему во все стороны, будто апельсины, высыпанные на пол из плетеного короба. Несмотря на моросящий дождик, жители поселка собрались, словно в праздник, поглазеть на увлекательное зрелище. И началась погрузка, богатая всевозможными происшествиями, погонщики щеголяли отвагой и ловкостью под одобрителный шум толпы. Часа через полтора весь скот, разделенный на партии, исчез в товарных вагонах двух специальных составов, и погонщики, мокрые, грязные, смертельно усталые, зверски голодные, пошли наконец поесть, а главное — выпить, потому что сила-то ведь — она от тростниковой водки, недаром за это зелье кровные денежки платят. А день между тем начал клониться к вечеру, скоро наступят сумерки — печальные сумерки холодной поры года.

Тем временем рядом, под навесом, отдыхали лошади, им ослабили подпруги, сняли узда. Поодаль от остальных, в стороне, в уютном темном углу пристроился Семерка Червей. Он был одинок и сосредоточен. Добросовестный

работяга, не знающий ни сомнений, ни увлечений, он снова коротал, как мог, эту бесконечно длинную жизнь.

Вдруг в иссушенных дебрях сна вспыхнул и затрещал пламенем шум: нехстати появились люди, закопошились, будто черви, в вязкой толще тишины. Это были погонщики, они вернулись за своими конями. Пришли, сели верхом, уехали. Предпоследний, Силвино, взял золотистого с длинной гривой, последний, Жоан Манико, взнуздал беломордого необъезженного, оба громко смеялись и говорили. Все это заняло меньше времени, чем раз брыкнуть, и — если не считать жалкого Семерку Червей — под навесом совсем никого не осталось. И пятнистый осел снова жил как бы на краю света.

Но вот появился еще человек — в широком пустом пространстве он казался огромным, тяжелым и грубым — это был Баду, пьяный в дым. Предчувствуя тягостный обратный путь Семерка Червей огляделся и потянул губами последний клоч сена.

— А где мой конь?! Они мне паршивого осла оставили? Пока я ходил подарок покупать своей смуглянке...

Семерка Червей поспешно жевал. Наступила короткая пауза.

— Эх, оба мы с тобой — ослы, верно, олух ты эдакий?

Баду подошел к Семерке Червей и оттащил его от кормушки. Но тот справился-таки. Сено, торчавшее у него по углам рта, стало короче и, наконец, исчезло, мелко перемолотое губами. Тогда он раздул ноздри и красноречиво задвигал ушами.

— Эй, пасть закрой, это тебе не шамовка — узда! И не кусаться! Вот так!

Семерка Червей опять подвигал ушами, ударил передним правым копытом и запыхтел, тряся головой, вытянув губы трубочкой...

— Только лягни — я тебе покажу! Постой, я тебе спою про Рио Прето, дурак:

Рио Прето родился негром,
но сроду рабом он не был,
храбрецом отчаянным слыл,
больше жизни свободу любил.

— Эй, Баду, хватит дождь накликать, поехали, — закричали с улицы.

— А тут еще кто-то есть? Где мой мустанг?

Семерка Червей собрал складками кожу на спине.

Опустил уши. Закрыв глаза. Что ему за дело до ссор, до ревности и любви, он и знать не хочет всех этих сложностей. Баду сел на него верхом.

— Вперед, уродина!

Когда они выехали на улицу, несуразное это было зрелище — всадник сидел раскорякой, ноги чуть ли не по земле волочились, кто-то крикнул:

— Эй, Баду, молоко продаешь? Почему кружка? Куда ты ослишку между ногами волочишь?

— Паршивцы!

Пляшут, пляшут дома, а потом друг за дружкой идут, словно в процессии. Но что это за черный всадник торчит неподвижно в конце улочки у самого въезда на мост? Франколин!

— Сеньор Балдуино, я вас жду, хочу компанию вам составить.

— Ах, ты... А я чуть было огонь не открыл, думал — привидение!

— А у вас есть из чего, сеньор? Как же вы стрелять будете, если у вас нет ни револьвера, ни пистолета?

— Подумаешь! Тебе-то что?

— Не примите в обиду, сеньор Балдуино, пить надо меньше, а то и до беды недалеко.

— Ну, смех! Если хочешь со мной как друг разговаривать, зови меня Баду. Сеньором не величай, это мне не по праву. Я всех этих церемоний не люблю!

— Так надо. Я теперь не я, а представитель сеньора майора.

— К черту! Мне на это плевать! Коли ты так, я с тобой и разговаривать не хочу. Ладно уж, поехали, да поживее и без лишних слов.

С этим Семерка Червей был согласен, и не потому, что шпоры ему бока терзали (дурным обращением от него ничего не добьешься), а оттого, что перед ним — дорога домой, извилистая дорога, ведущая прямо к воротам пастбища, залог отдыха и одиночества.

Вскоре Баду свесил руки, отпустил поводья, всем корпусом наклонился вперед и забылся в пьяной дремоте. Осел шел привычным шагом, который только в насмешку можно было бы назвать быстрым.

— Невежа... неблагодарный... — ворчал про себя Франколин.

С болота доносилось далекое кваканье, оно то нарастало и устремлялось ввысь — «Ква-а-а...», то, снижаясь,

стихало, будто играли гаммы на огромной гнусавой клавиатуре. И вдруг раздавался испускаемый, казалось, с невероятным усилием, одинокий рев раздувшейся лягушки-быка.

Смеркалось: кто-нибудь, затаившись в темноте в нескольких метрах или спрятавшись за кустом, с легкостью мог убить человека одним-двумя выстрелами. Где Силвино? Франколин повел плечами и прищипорил, презрительно глянув на Баду с высоты пустившегося в галоп коня.

Проскакав приблизительно километр, Франколин догнал остальных погонщиков. Они ехали гуськом, взяв пики наперевес. У каждого в походной суме была припрятана запасная бутылка. Вид у этой кавалькады был нелепый. Погонщики без скота — будто души без тел. Тут поневоле выпьешь.

— Брось эту песню, Леофредо!

— Какой только дурак ее сочинил.

Дождь перестал, но ветер сбивал с придорожных деревьев морсящую капель.

— Наши-то уже далеко...

— Неплохое отгрузили стадо...

Они подъезжали к откосу. Дорогу было еще видно, но стоило отступить на шаг или свернуть в сторону, и взгляд погружался в бездонную черноту. Синока заговорил, выразив то, о чем думали все:

— Хорошо, что уж отправили... Не люблю я гнать скотину на смерть... Лучше ловить диких быков в сертане.

— Ты, как Мартильо, чужую жену увезти хочешь на крупе коня?

— Было бы желание! Но ты, Себастиан, счастливее не будешь, в чужие дела вмешиваясь.

— Эй, не ссорьтесь! Мне нравятся люди спокойные, обстоятельные, вот как наш Жоан Манико, он ни за что за дикими быками не поедет даже близко, в Помпеу...

— В этом ничего зазорного нет, а я сам за себя отвечаю. Не хочу, и не езжу!.. Все должны бы лучше дома сидеть, а то ала слишком много увидишь, разбросано оно по всему свету.

— Это ты на сбежавший скот намекаешь, Манико?

— Да вы об этом уж и слушать устали... Я столько раз рассказывал...

— А я не знаю, клянусь. Слышал от Тоте, да он толком не объяснил, как дело было. А где же Тоте? Эй, Тоте!..

— Тут его нет.

— Он вперед уехал, с братом... Эй, Тоте!

— Я здесь, чего вам от меня надо? Иду.

Но вместо того чтобы присоединиться к остальным, Тоте продолжает разговор с братом, раскачиваясь в седле в такт размашистому шагу серого рысака.

— Я тебе, брат, в последний раз советую: выбрось из головы то, что ты собираешься сделать...

— Напрасно, брат; я так решил, и сегодня прольется кровь. Крестом клянусь!

— Силвино, ты себя загубишь...

— Меня и так уже загубили, брат. Но и ему не жить. Вот переедем ручей, там будет лесок у развилки. Я сделаю, что надо, и подамся в Лагоа, а там — ищи ветра в поле... Он-то едет на паршивом ослишке, и пьян, как негр под рождество, стукну его и исчезну. А ты никому не говори, что знал. Я один в ответе... Судьба у меня такая...

— Погоди, брат... — зашептал Тоте. — Гляди-ка, — за нами следят.

— Он слышал?

— Не думаю. Постой... Эй, Франколин, ты что тут делаешь? Подслушиваешь?

— Зачем ты меня оскорбляешь, приятель, я такими вещами не занимаюсь. Я вот только смотрю — вы как будто опять друзьями стали...

— А тебе какое дело, Франколин?!

Все трое остановили коней.

— Сегодня мне до всего дело — сегодня я у вас вместо сеньора майора!

Понемногу подъехали остальные.

— Эй, Тоте, подтверди, что не вру, что ты эту историю от Жоана Манико слышал.

— Христа ради, довольно, не люблю, чтобы мое имя куда попало впутывали! Так и быть расскажу, но в последний раз. И чтоб потом никто больше с этим ко мне не приставал!

Всадники сгрудились, каждому хотелось быть поближе к Жоану Манико. Лошади чуть друг другу на ноги не наступали.

— Ну, Манико?

— Я расскажу только потому, что кум Себастиан просит, а не чтоб вас позабавить. Тут вам не балаган. И отодриньтесь-ка подальше, а то, не ровен час, попаду на кого, как плюнуть придется.

— Давно это было, Манико?

— Назад эдак лет двадцать. Поезда тут тогда еще не ходили. Господского дома на фазенде Тампа — и то не было.

— У кого же ты тогда работал?

— Да все у него, у сеньора майора Сауло... Но был он в ту пору молодой, стройный, и звали его «сеу Саулиньо». Он недавно женился, и землей владел только в Ретиро, да было у него еще несколько алкейре болотистых пастбищ в Понтильяне, который тогда все еще называли Жатоба.

— Как же это случилось?

— Да вот, отправились мы за скотом далеко-далеко, в самый конец сертана. Гояс и то позади остался... Это потому, что повсюду мор был, чума, быки и коровы падали, как никогда. Скотина нам попадалась шелудивая, худая, страшная, здоровых совсем не было, маруа, и те ходили — кожа да кости, клещи на них висели вот такие, язвы червями кишели, копыта кровоточили, а ноги у копыт — живое мясо.

— Силы небесные! Вот ужас-то!

— Так вот, худущие они были, словно чахоточные, и все лизали себя да чесались о каждое дерево. А злые и в драке сильные, даром что хворые, и на людей бросались, прямо как убийцы.

— Дикие быки — опасные...

— И за такой-то пакостью вы на край света ехали...

— Так вот... Я бы, по своему разумению, не стал денежки тратить на скотину эту бросовую. Но сеу Саулиньо — сеу майор Сауло, хотел я сказать — всегда был чудаковат, все у него на свой манер, не как у людей. Ну, значит, занесло нас на захудалую такую фазенду неподалеку от Паракату, хозяин там был однорукий, а в загоне у него — коровка рыжая смешанной породы. Когда мы подъезжали, она как замычит — певуче, громко, прямо как сирена, и сразу оборвала. Сеу майор Сауло развеселился. И крикнул хозяину, еще даже не спешившись: «Сколько за нее возьмешь? Не корова — кларнет!» «Сто милрейсов! ¹» — «Десятку еще накину за музыку!»

— Вот это мне нравится! Молодец!

— Верно... Но заплатил-то он не подумав. В те времена это большие деньги были. Ну, как я уже говорил, всех нас

¹ М и л р е й с — старая португальская и бразильская монета.

тогда мутило от поганого скота, который и гроша ломаного не стоил. А хуже всего, прости господи, был мальчонка черненький...

— Какой еще черненький, Манико?

— Да негритенка мы там с собой прихватили. Вот такусенький был, годков семи. Черномазая кроха... Хозяин, который нам скот продал, попросил сеньора Саулиньо отвезти его своему брату, в Курвело, и майор согласился. Худой был чертенок, а глазищи громадные, белки — белые-белые, даже смотреть страшно. Господь меня прости, я думаю: у негров с такими белками дурной глаз! Негритенок плакал, не переставая, да так жалобно, прямо за душу брал. Я его утешал, уговаривал — и все зря. Чего я только не выдумывал, чтобы его рассмешить, а он все ревел в три ручья!

— Вот напасть-то!

— Да и скот шел в тоске, нехотя. Никогда я таких упрямых не видывал. Пройдет немного, обернется и замычит. Замучились мы с ними! То и дело ждали — сейчас бросятся наутек. Сеу Саулиньо всю дорогу напоминал: «Смотри в оба, ребята, они только и думают, как бы им домой воротиться!»

— А негритенок?

— Негритенок ехал на моем коне, сзади меня, и громко всхлипывал, и спина у меня была мокрая от его слез. А я возьми да и скажи: «Гляди-ка, скотина тоже скучает по родному пастбищу...» Зачем я только это сказал! Слезы у него градом посыпались, и как стал он кричать: «Ай, дяденька добренький! Ай, дяденька добренький! Отпусти меня домой! Дай мне домой убежать!»

Жалко мне его было, да что я мог поделать? Я молчал, а он плакал навзрыд. Когда он понял, что я его не пушу, он иначе заговорил: «Ай, злой дяденька. Ай, злой дяденька... Мне бы только хоть минуточку посидеть на плетеной кожаной корзине на ранчо у моей матушки. Хоть бы издали взглянуть, как моя матушка бобы толчет в уголке двора!» Он обхватил меня, прямо как безумный, а я лицо от него прятал, чтобы он не увидел моих слез... Так мы проехали пять дней, не зная покоя ни днем, ни ночью; скот все тосковал, несмотря на наши старания. Мы понимали — при первом удобном случае они убегут домой... По ночам почти никто не спал, мы костры жгли вокруг и расхаживали с факелами, это только их и удерживало, но справлялись мы с ними с трудом! Наконец переправились мы через

широкую реку и успокоились немного, думали: теперь уже они смилятся, и нам можно будет передохнуть.

— А негритенок?

— Негритенок надоед нам до смерти, и Закарнас, надсмотрщик, прикрикнул на него: «Будешь еще реветь, чертов негр, глотку тебе перережу и прикручу твой поганый труп к рогам вон того быка с белым ремнем по хребту!» Малыш глазищи на него вытаращил, плакать перестал и затих. В тот день он от еды отказался, а когда его о чем-нибудь спрашивали — молчал. Вечером мы устроились ночевать в красивом месте — хороший луг, вода, пальмы. Но не было там ни загона, ни изгороди, и пришлось нам оставить скот на воле. Загнали мы его в лощинку и развели огонь. «Сегодня можно поспать...» — сказал сеу Саулиньо. — Аристидес и Банга вдвоем останутся караулить на всю ночь». Я падал от усталости, в голове все путалось — так спать хотелось; и мне это распоряжение майора очень даже понравилось. Съел я свои бобы, уселся у подножья масляного дерева, закурил и начал подремывать. И вот тут, когда солнце уже пряталось за поля и леса, негритенок запел. Ох, если бы вы слышали! До чего же печальная это была песня, печальная и красивая! Не знаю, откуда взялась у мальчонки такая печаль, но другим от нее стало не по себе. Уж лучше бы он снова заплакал. И, как только он начал петь, заметил я, что скотина тревожится, пастись перестала, быки закружились, заревели нехорошим голосом — так режут они, завидев кровь убитого сородича. Потом они замолкли — верно, чтоб не мешать негритенку петь. И мрачная лилась песня, как черная тоска из недоброго сердца. А уж красива, будто сама радость плакала, обиженная радость, ставшая горем.

Никто меня,
никто меня
не пожалеет...

Стон и дрожь были у него в голосе, и за сердце хватало — сил нет! Октавиано не выдержал — попросил сеньора Саулиньо заткнуть негритенку рот. Но сеу Саулиньо достал из кармана портрет жены и письма ее и стал их рассматривать. Грамоте-то он не знал, а письма от нее получать любил, но никогда никого не просил их вслух прочесть; распечатает, бывало, письмо да и смотрит молча на буквы, долго-долго. Он и говорит: «Пусть малыш поплачет о своих

горестях, у бедняги само сердце поет!» Тут мне стала всякая всячина в голову лезть, вспомнил я родные места и все такое. А Жозе Габриел напевал тихонько, и пальцы у него шевелились, будто подыгрывал он негритенку на невидимой гитаре. Аристидес выпил порядочно тростниковой водки, но ему никто ни слова не сказал, потому что в глазах у него стояли слезы. Да и у меня тоже. Размякли погонщики, словно бабы. А негритенок все пел, а когда останавливался дух перевести, то сразу какой-нибудь бык начинал реветь или стонать, и весь скот поднимал головы... Банга мне и говорит: «Гляди-ка, Жоан Манико, как это только им не надоест печалиться...» Тут нас совсем сморило, опустили мы головы и забылись сном. Я еще успел разглядеть падающую звезду и попросил у ангела милости — живым, здоровым домой добраться, в благословенную долину Зеленой Реки... И вроде заснул, хотя точно не помню... А негритенок все пел! И привиделась мне страшная буря, и будто бегут уродливые быки, как безумные, а черный мальчишка поет, сидя верхом на загривке у желтоухого маруа! Наяву это было? Во сне? Я теперь уже стар, так никогда и не узнаю. Многие знают, да не посмеют сказать... Матерь божия! Проснулся я на рассвете от криков хозяина. Где скот?! Одни следы остались. Все ночью убежали. Но самое ужасное вот что было: на том месте, где лежали Аристидес и Октавиано, даже тел их и то не осталось! Все стадо по ним пронеслось, и оба они, и сбруя, что под голову положили, все перемолото было, раздавлено — одно красное месиво.

— И я такое видал, Манико. Когда на дороге стадо понесет, то же самое бывает... Испугается бык ерунды какой-нибудь, и наутек, остальные за ним кинутся, не сообщив, что к чему... Окружить их, задержать — и пытаться не стоит, они кирпичную стену разнесут, друг друга на смерть затопчут.

— А уж хуже всего, когда в тоске скот бежит, отчаяньем охваченный. Тут уж бык хуже хищного зверя... Тоска у быков, по-моему, страшнее, чем у людей.

— Ты самый конец расскажи.

— Какой там еще конец! Ну целую неделю мы после этого опять скот собирали. Разбежалась наша скотина кто куда, одни в болоте увязли, другие со сломанной шеей на дне оврага валялись, многие в лесу заблудились, в поисках дороги домой. А кто и в реку свалился, на съедение пираньям. А тех, кого удалось собрать — горстка их была,—

так на них и смотреть-то было жалко, хотелось благословить их да отпустить на все четыре стороны! Здорового почти что ни одного не было... Быки хромали, коровы ковыляли, у телят — у кого щиколотка сломана, у кого голень, у маруа то лопатка вывернута, то бедро. Страх один! У многих рога были обломаны или один рог с корнем вырван — это они от отчаяния на деревья бросались. Самые благополучные и те были все в ссадинах да царапинах. Такой убыток!

— А негритенок, Манико?

— Его мы больше не видели и ничего о нем не слышали! Да... Господи, спаси мою душу! Вот почему не люблю я дальних переходов, раз уж такое со мной приключилось — многое еще может приключиться... лучше тихонько дома сидеть. Кто много по свету странствует, такое увидит, что и не захочешь!

— Истинная правда...

— Глупости! Если бы пес не бегал, костей бы не находил!

— Может, кто другой и пес, с родичами своими в придачу, а я советов никому не навязываю!

— Не сердись понапрасну, Манико. Всякому свое.

— Хватит ссориться. Эй, Зе Большой, ты уронил что-то?

— Чиркни-ка спичку.

— Я ничего не уронил, ребята. Я дорогу разглядываю.

— Мы на верном пути.

— Знаю... Оторвись-ка от бутылки, Жука...

— Да ну тебя... еще глоток выпью, для бодрости.

Кони вязли в мокрой земле, как в болоте.

— Черт!

Внезапно конь Бенавидеса, который шел впереди, испугавшись чего-то, стал. Остальные тоже стали, повернув головы.

— Что случилось?

— Тут вещая птица! Ишь ясно как выговаривает: «Жоан, руби дрова! Жоан, руби дрова!»

— Стреляй, Бастиан!

— Не торопитесь, ребята. Какой же конь птицы испугается. Это наводнение.

— Не может быть?!

— Как же вода досюда дошла?

— Наводнение! Вон как холодно стало: это с воды тянет.

— Верно.

- Жоан, руби дрова! Жоан, руби дрова!
- Но Голодный ручей ведь отсюда далеко, с четверть легуа будет. Неужели он так разлился...
- Просто коням что-то почудилось...
- Вот именно...
- Нет, Леофредо, нет... Послушай!
- Да почудилось им. Эй, кто там позади, ткни-ка их пикой, они и пойдут, или пусть скажут, почему не идут!
- Не надо, Жука, погоди...
- Жоан, руби дрова! Жоан, руби дрова!
- Да так мы тут Баду дождемся — он там на дряхлом ослишке в хвосте плетется...
- Вот-вот, Силвино. Забавно это будет...
- Забавно? Ошибаешься, осел все и решит: если он войдет в воду, и лошади за ним пойдут, тогда и мы можем рискнуть. Осел туда не полезет, откуда ему не выбраться.
- Верно! Как осел, так и мы.
- Жоан, руби дрова! Жоан, руби дрова!
- Послушайте. Послушайте, я говорю с вами от имени майора, он меня вместо себя оставил!
- Сними-ка с головы горшок, Франколин! Нашел время паясничать!
- Ты должен уважать хозяина, Синока, сеу майор велел мне вместо него распоряжаться...
- Вот еще!.. Эй, Баду, погоняй, парень!
- Гляди — он уже тут...
- Жоан, руби дрова! Жоан, руби дрова!
- Вот и я, родные мои! Вот и я, такие вы сякие, погонщики без скота!
- Баду с внезапной нежностью обнял осла за шею...
- Ах ты, старина, бедняга, ох, тошно, худо мне, сил нет, голова гудит, раскалывается... Совсем худо. Боюсь — не помереть бы мне нынче. Будь ты, приятель, полегче, я бы тебя на себе потащил!
- Ишь, нализался... Пьян, как стелька.
- Эй, Силвино, ты чего к Баду подбираешься в потемках? Ты этого делать не смей! Не позволю, ты с ним в ссоре, а сейчас он еще и пьян до беспамятства!
- Заткнись, Франколин! К черту... А ну: проваливай! Куда хочу, туда хожу...
- Жоан, руби дрова! Жоан, руби дрова!
- Чего ты расфыркался, будто ягуар, Силвино, я тебе по-хорошему говорю, по-законному, от имени сеньора майора!

— Сейчас не время ссориться. Силвино, тут Франколин прав.

— Я во всем прав. Я представляю сеньора майора по его личному приказанию, и мой револьвер пятерых родить может, которые в чью-то паскудную шкуру всосутся!

— Брось пыжиться, Франколин!

— Да опомнитесь вы! Поглядите-ка на осла!

Семерка Червей подошел мелкой рысдой и остановился; и тотчас узнал от налетевшего ветра все плохое и все хорошее, что его ожидало; он поставил уши торчком, это означало, что опасность еще непонятная, смутная; потом уши шевельнулись в стороны — теперь все стало ясно. Семерка Червей не двигался. Чернота была непроглядная, а осел ведь — не кот и не змея, в темноте он не видит. Он и не пытался ни разглядеть, ни услышать. Он ждал.

И, дождавшись, он смело шагнул вперед. Зашлепал, разбрызгивая воду, и скрылся во мраке. За ним двинулись было лошади.

Но тут снова, как раз вовремя, раздался птичий крик:

— Жоан, руби дрова! Жоан, руби дрова!

И Жоан Манико придержал коня и сказал:

— Я не поеду! Или пичуга тут осталась, чтобы меня от беды отвести — я ведь тоже Жоан, — или это вообще дурное предзнаменование. По-моему, ночью любой крик не к добру!

— Брось трусить, Манико! Ты не знаешь разве — Жоан-руби-дрова — самая добрая и милая птичка, никогда она беды не накличет! И тебе тут никакого предупреждения нет, просто залезла она в кусты, от дождя спряталась и может ночь напролет сидеть да петь своим тоненьким голоском — словно дудочка.

— Нет... Ни за что не пойду! Чтобы этот упрямец меня в самую пучину занес? Осел — он осел и есть... А я не пойду! Я и плавать-то не умею!..

— Ну, тогда и я с тобой останусь, Манико, чтобы тебе скучно не было...

— Эй, Жука! Ты что не едешь? Тоже струсил?!

— Я не струсил, приятель, прикуси-ка язык! Я и так простыл, в воду лезть неохота! Поехали, Манико, выберемся на высокое место, там и дождемся рассвета, глядишь и подсохнет...

Манико откашлялся и согласился. Остальные всадники исчезли в темноте.

Это было наводнение, вода широко разлилась по равнине, куда только могла достать. Лошади ступали осторожно, ощупывая дно. Вода была им по колено, потом по грудь, с каждым шагом она становилась все выше, а течение — стремительней, и все явственнее слышался глухой рокот. Тысячью водоворотов крутился Голодный ручей, вчера еще — жалкая речушка, с утра до ночи набирал он силу, поднялся и разлился. Он взбухал целый день, пока люди гнали, грузили скот, собирались обратно. А теперь всадники опять здесь, и поток захлестывает, затягивает их по одному, как лассо — быков.

Семерка Червей коротконог, ему первому пришлось пуститься вплавь, но он успел выбрать верное направление по ветру. За ним с шумом разбивало воду множество ног. Раздался крик:

— Держись, Баду! Я за тобой!

И голос Силвино:

— Отойди, Франколин! Пусти меня!

Но их разбил, разбросал бурлящий водоворот. Поток вздыбился, вода нахлынула резким толчком. И никто уже не знал, куда его несет.

Не будь Баду так пьян, он вел бы себя осторожнее; почувствовав, что его по пояс охватил леденящий холод, он только крепче обнял осла.

— Потоп!

Он низко склонился, держась за гриву. Голова его свесилась, лицо окунулось в воду. Он сплунул. А осел все плыл вперед.

— Так-то, старик! Конец миру пришел, кругом все в тростниковый сок превратилось... — Баду непристойно выругался, потому что холодная рябь щекотала ему шею, икры сводило судорогой — не очень-то приятно переправляться верхом через глубокую реку, вокруг — одна вода, она поднимает всадника над седлом — будто сидишь в жидкой каше...

— Господи, мне и пить-то не к чему, я хотел ведь — стакан, полтора, а вышло — полторы бутылки! Выбирайся отсюда поскорей, ослик!

Куда там поскорей... хотя большой беды не было в том, что Баду упился до беспамятства — переправляться верхом через бурный поток человек может и пьяным, был бы трезв осел. Они потихоньку подвигались вперед, преодолевая течение. «Крэу! Крэу!» — раздался вдруг отчаянный крик — «никак, лесная куропатка явилась сюда помирать?!

У нее, дуры, крыльев, что ли, нету?.. А может, это двуутробка какая-нибудь кричит?» Воде не видно было конца. Семерка Червей старался вovsky. Чем дольше, тем стремительней становилось течение, вода неслась с глухим грохотом. Осел съежился, запыхтел. Совсем рядом что-то тяжело всплеснуло. «Спаси меня, святой Бенто; никак, это кайман на охоту вышел!» Вокруг все колыхалось. Вода захлестывала Баду. Глухая тьма. Осел не двигается, а мир плывет. Семерка Червей переждал, пока мимо пройдет бревно, резавшее волны мощно, словно бычья голова. Бревно отправилось вниз по течению, скрылось. Небо над головой — черно-грязное, будто закопченный потолок. Ну и ночь. Вот сзади надвигается огромная куча ветвей и листьев, она напирает на Баду. Тот с усилием отпихивается. «Слава тебе, господи, и это пронесло». «Вымочила меня всего, дьявол, одежду на мне порвала... Гуаява, судя по запаху... Был бы тут имбарэ или колючка — не сдобровать мне!» Плюх... плюх... плюх... — неторопливо гребет Семерка Червей.

Он весь под водой, только голова на поверхности, осел задирает морду, чтобы дышалось свободнее. Еще удар грудью. Еще взмах ногами. Шуа! Шуа! — шумит река, будто ливень обрушивается на землю. Только не торопиться! Еще один медленный гребок. Еще один. В конце пути его ожидает фазенда, скотный двор с кормушками, сколько хочешь кукурузы, а потом — пастбище: прохлада, трава, покой... Только не торопиться. А сейчас, здесь — забесившийся бурлящий поток кипит, будто котел на огне, страшно, но ему не в новинку! В дороге всегда плохо, дорога — она как люди с их вечными нелепыми выдумками, суетой и неразберихой. Лучше и не смотреть. Прикрыть глаза, как обычно. Еще гребок, еще толчок вперед в холодную массу воды. Только не суетиться, плыть потихоньку, вода ему не враг, тьма не помеха, он силы бережет на самый конец. Ни одного лишнего движения, ни одного усилия понапрасну. Вот так.

Течение несет всякую дрянь, еле видную в темноте, сучья и прочий мусор; плывут бревна и тела, мертвые и полумертвые, покрытые чешуей и перьями, вперемежку с пеной и ветками. А поток все вздувается, ширится, закручиваясь водоворотами или вздымаясь высокой волной, прокладывая себе путь, чтобы беспрепятственно катиться вперед. И каждая крона дерева, выступающего над водой или затопленного, каждая подводная яма или бугор — все

меняет направление неудержимо мчащейся, вырвавшейся на волю воды.

В рокочущем шуме новоявленного моря различались разнородные звуки: бурлящий голос водоворотов, журчанье медленного течения в заводях, кипение омутов, всплески сталкивающихся волн, шелест воды на отмелях, свистящий рев засасывающих воронок, бурлящие всхлипывания перекатов. Вода приливала и отливала, растекалась в разные стороны, пульсировала, вдруг устремлялась против течения, вздуваясь волнами, содрогаясь, неожиданно отступая назад. Внезапно неопределимо мощная сила повлекла всадников куда-то в бездну. Вода стала еще холодней. Под ними — изначальное русло Голодного ручья, быстрина.

Здесь подстерегала путников ненасытная пасть змеи — поглотительницы людей; здесь у коней перехватывало дыхание, иссякали последние силы. Течение захватило тех, кто еще оставался в живых, закрутило на бесчисленных поворотах, разбросало, залило, задушило и понесло. Люди и животные беспомощно забарахтались. Вскрик. Еще несколько вскриков. Там и тут высывались на миг из воды страшные человеческие головы — будто кочны капусты на грядке, будто мухи, прилипшие к клейкой бумаге. Справа от себя Семерка Червей услышал задыхающийся, судорожный крик человека, вынырнувшего на поверхность. Он был далеко, метрах в десяти, а тут каждый прежде всего о себе думал.

Ну и ночь! По сей день рассказывают о большом разливе Голодного ручья и о восьми мертвых погонщиках, уплывших вниз по течению лицом вверх — ведь только женщин река несет лицом вниз. Вороной конь Бенавидеса никуда не уплыл, зацепился седлом за ветку мимозы. Рыжий с белыми отметинами конь Силвино, как и подобает послушной скотине, сделал, наверное, круга три, прежде чем пойти ко дну вслед за хозяином. Леофредо так и не нашли. Раймундана — тоже. Синока не смог вытащить ногу из стремени, он и его конь всплыли, связанные, раздувшиеся, как шары. Зе Большой и Тоте, обнявшись, будто борцы, объявились в яме с водой, когда река вошла уже в свои берега, вокруг летали уруббу, предвкушая хороший пир. Дальше всех уплыл Себастиан, его унесло, словно пустую лодку, и он стал на якорь, увязнув головой в глине у брода Силвериа Бранка; волосы его шевелились, подрагивали, будто водяные растения.

Один из них еще боролся, теряя последние силы, нахлебавшись воды без помощи стакана, сумел дотянуться до какой-то плывущей веревки. Это был Франколин Феррейра, а дотянулся он до хвоста пятнистого ослика. Семерка Червей, не особенно даже испугавшись, понял, что пришел час полностью вручить себя воле течения. Пусть его унесет далеко вниз от переправы — не все ли равно? И он, не сопротивляясь, расслабился, вдыхая воздух. Баду бормотал ругательства, он не знал, что позади Франколин вцепился в ослиный хвост. Через какое-то время три неторопливых взмаха ног и благоприятный поворот течения вынесли Семерку Червей к высокому противоположному берегу, но теперь тут было низко, осел выбрался на землю и пошел рысцой. Он остановился, когда под копытами было уже совсем сухо. Лениво взбрыкнул. Рядом стоял Франколин, живой, пеший.

Баду теперь крепко спал, держась за ослиную гриву. Семерка Червей не стал отдыхать. Он пустился рысцой, выбрался на большую дорогу и, придя глухой ночью в фазенду, прислонился к столбу террасы, ожидая, когда ехавший на нем погонщик спешится. Тот наконец проснулся, громко выругался и заорал старинную песню «Огненное клеймо», которую во времена рабства заставляли петь негров, вместо оркестра, чтобы господа могли поплясать. Погонщики, спавшие в большом сарае, проснулись от шума, сняли Баду с седла и отнесли отсыпаться на нары. Потом разнуздали осла.

Освободившись, Семерка Червей, отправился под навес. Понюхал кормушку. Нашел кукурузу. Поел. Потом стал валяться, дрыгая ногами в воздухе, терся спиной о землю. Потом снова поел. Потом выбрал укромный уголок и устроился спать между коровами комолой и пегой, которые едва слышно жевали жвачку в темноте.

Отрывки из биографии Малино Салантвила, или Возвращение блудного мурфа

Мария, негрityнка, такая разбитная: чем только не вертит, чего не выставляет, пока белье без устали на ветру стирает. А черный Гектор вздумал прогуляться в ад, пиджак и брюки белые надел, как на парад, но там ему сказали: — Ступай-ка, друг, назад!

— Не встречал ли ты старушки здесь, сеньор муравей?
— Ни старухи, ни старушки не встречал я, — отвечал муравей.
— Ну тогда ползи отсюда поскорей, поскорей!

I

Девять часов тридцать минут — он уже тут как тут. Идет ослик, звенит колокольчиком. Один идет, везет тележку. Ступает размеренно, мягко. Останавливается точно, где надо, и сразу же закрывает глаза. Только тогда мальчишка, который, сидя на корточках, поджидает его, кричит — «Тпру!», берет осла за уздечку, заставляет повернуть влево и сделать пять шагов назад. Готово. Негр приподнимает задок телеги, земля ссыпается в яму. Рабочие помогают лопатами. Ровно через шесть минут ослик

открывает глаза. Негр выправляет телегу, закрывает створки. Мальчишка снова хватается за узду: направо кругом! Не нужно даже кричать «пошел!» — ослик сам уже двинулся тем же шагом в нужную сторону, колеса катятся точно по той же колее.

Посередине пути он встречается с мышастым осликом, везущим такой же воз. Сегодня они видятся в тринадцатый раз, им еще предстоит по крайней мере три встречи — от карьера к яме, от ямы к карьере — поэтому ослы обходятся без приветствия.

В карьере парни из бригады сеу Марры трудятся, не жалея сил, дробят кирками сероватый гнейс, вгрызаются в каменистый склон. Рейс к карьере — отдых для ослика. Подальше бригада испанцев копается в мягком грунте — сланец со слюдой, с тальком. Гарсиа, бригадир, сердится: меньше получают за квадратный и кубический метр. Еще подальше несколько человек ставят изгородь. Эти не имеют никакого отношения к стройке, их прислал землевладелец, Ремижио, — в его владениях открыли месторождение асбеста, и он ведет разработки. А уж совсем вдали бригада Луджеро заканчивает установку опор для моста.

Десять часов утра. Температура воздуха сравнялась с температурой тела. Ветерок: слегка дрожат самые кончики ветвей эвкалипта. Солнце: острые грани разломов кварца отбрасывают снопы лучей. Поют невидимые щеглы и канарейки. Пахнет молодой зеленью. Хорошо. Здесь — очередной километр строящегося шоссе Белоризонте — Сан-Пауло. Работа идет полным ходом.

Сеу Марра и надсмотрщик, и учетчик. Когда нужно, он сам берется за кирку. Но не отрывает глаз от дороги.

Наконец какая-то машина сигналист. Это — грузовик компании подлетел, сбавил скорость. Сеу Валдемар из Управления сидит рядом с шофером. Зеленый грузовик не останавливается, но из кузова, соскользнув с мешков и ящиков, которые везут в магазин, через борт ловко прыгнул человек... Лалино Салантиел!

Рабочие приветствуют сеу Валдемара, сеу Марра вытягивается, будто по стойке «Смирно!», сеу Валдемар машет рукой, машина уносится.

Сеу Марра мрачнеет. Лалино Салантиел подходит танцующей походкой, смеется. На нем блуза цвета хаки с карманами, шляпа, гетры, на шее — красная косынка, на груди — какой-то значок. Лалино снимает шляпу: черные как смоль волосы блестят от дешевого брильянтина.

Рабочие насмешливо улыбаются, но у Лалино такой вид, будто его встречают овацией:

— Ола, Баптиста! Бастиан, здорово! Ну как, силенки хватает?

— Привет.

Лалино молодцевато выпагивает.

— Эй, Тулио, заколачиваешь небось, как надо?

— Ага...

Лалино никогда не был солдатом, но он щегольски щелкает каблуками, вытягиваясь перед сеу Маррой, бесстрашно глядит кошачьими глазками в суровые глаза шефа:

— С добрым утром, сеу Марринья! Как жизнь?

— Жизнь-то идет, а ты вот сегодня только за полдня получишь.

Сеу Марра вытаскивает карандаш и блокнот, смачивает языком кончик пальца, а пальцем — острие карандаша и делает пометку с таким видом, будто подписывает приговор.

(Поодаль Женерозо подталкивает Терсино:

— Нахальный мулатишко! Таскается по гулянкам, спит черт его знает сколько, а является расфуфыренный, зубоскалит!)

— Что же мне было делать, сеу Марринья... Проснулся я, а у меня нер-врал-гия... Я простыть побоялся.

— Гм...

— Но вот увидите, я свое выполню, да и других расшевелю.

— Других оставь в покое...

(Терсино, упираясь ногой в кирку, изрекает:

— Вот уже чего от него не жди, так это работы. Бездельничает да сказки разные рассказывает, все врёт.

— А получает не меньше других, потому что кое-кто за него горой!

Рыжий с силой всаживает кирку в каменистый грунт, высекая искру.)

Лалино поправляет курчавые волосы, вытаскивает из нагрудного кармана конец платочка.

— Ну, пора в бой, надо же опоздание отрабатывать!.. А денек-то какой, сеу Марринья?!

— Очень уж ты сегодня чувствительный... Проспал полдня...

— Кстати, сеу Марринья, я сегодня утром вспомнил про одну пьеску — ее бродячая труппа в Багре показывала, называется «Виконт-Соблазнитель»... Я все как следует

припомню, потом вам расскажу. Мы бы ее тоже могли сыграть.

Рыжий обливается потом, он выворотил огромный камень и отскочил, чтобы ногу не отдавило. Ругнулся:

— Бессовестные-то жиреют!

— Верно... ловкач он... — поддакивает Сиду.

— И все ему с рук сходит, все с ним цацкаются... — вставляет словечко Корреа, со вздохом снова берясь за тяжеленную кирку. — У кого коровыдохнут... а у кого и бык телится...

Сеу Марра сдается:

— Ладно, сеу Лайо, раз уж вам сегодня нездоровится, так и быть, запишу вам полный день. Но чтоб в последний раз! А теперь хватит болтать, беритесь-ка за инструмент!

— Сию минуточку, сеу Марринья, не попотеешь — не пожуюшь!

Сеу Марра вынужден отвернуться. Сердиться бессмысленно. Лалино идет к остальным, улыбаясь, насвистывая. Несколько минут уходит на то, чтобы как следует засучить рукава. Затем он насмешливо окликает:

— Эй, Корреа!..

— Чего тебе?

— Ты чего так здорово на рукоять напирал? Поменьше силы, побольше ловкости — тогда наработаешь столько же, а потеть так не придется, ведь ты — ни дать ни взять капуста под дождем!

— Знаешь... Кое-кто еще и на свет не родился, когда я уже...

— Пыхтел, как две пары волов, чтобы вязанку хвороста притащить, так, Серый?.. Да я шучу, шучу... (Корреа изменился было в лице.) Деревушка ваша больно уж хороша — церковка на холме, игрушечка... А уж земляца-то — верно, Корреа?! Хоть сахарный тростник сажай, хоть что угодно! (Корреа расплывается от удовольствия...) Нигде я такой кукурузы не видал, как у вас...

— Земля у нас хорошая...

— Что надо! Но я знаю местечко получше. А эти, из Конкисты, говорят, что там только негры хвастливые. Но это — от черной зависти! (Лалино с пафосом) Еще бы!.. Конки самые лучшие — в Паса-Темпо... самые заядлые спорщики — в Дон-Силверио... самые пышные церковные праздники — в Жапане. Но земля и люди, добрые сердцем, — только в Рио-до-Пейше!

— Верно... Верно, сеу Лайо...

— Раздобуду денег да и куплю в тех местах десяток алкейре сплошного дремучего леса. Какой ты мастер — смотреть приятно! (Корреа бросил свою работу и долбит киркой участок Лалино, который стоит, подбоченясь, и продолжает болтать.) Да! Дом прикажу построить, а вокруг чтоб был сад, а в саду — одни только лесные цветы, всякие там орхидеи... Изгородь будет бамбуковая, увитая разными лианами — и красиво, и с дороги не видно — пусть цветут всеми цветами радуги. Где же я такое видал? Потом еще земли прикуплю... Представляешь — хочу построить хлев, большой, крепкий, буду в нем держать водосвинок. Они легко приручаются, а уж жирные, как поросята. Буду сбывать их в Белоризонте, клиентов найду... Пруд большой вырою... разведу капивар:¹ за один жир сколько деньжищ выручу!

— Ну, и дурень же ты, Корреа! За другого ишачишь, — издевается Женерозо, остановившись, чтобы выкурить самокрутку.

— А тебе завидно? Увидал, что мы подружались, и уже склоку разводишь? Ах ты, скареда! Ну, да ладно — сегодня у меня хорошие. (Лалино протягивает пачку сигарет.) Бери еще. И вы тоже, слышите?.. (Женерозо берет и замолкает, он умеет быть благодарным, когда это выгодно.) Я тут про хозяйство рассказываю. Готов поспорить, никто из вас и не видывал такого курятника, какой будет у меня — огромный, а в нем и куропатки, и перепела, и жаку². А еще заложу плантацию со всякими редкими плодовыми деревьями... даже маслины посажу!

— Такие, как продаются в банках, не вырастут!

— Вырастут! Я землю-то уже скоро куплю в Брумадиньо, у железной дороги...

— Как, сеу Лайо! Вы же говорили — в моих краях, в Рио-до-Пейше?!

— Вот, дурная моя голова! Запомнил! Ну, конечно, в Рио-до-Пейше, Корреа! Но послушайте, какие я буду делать на деревьях прививки: майский апельсин на гуаюве... Сладкий лимон — на персике... Фрукты будут невиданные...

— Не привьется!

— Привьется! Трудно будет, но я уж способ найду...

Терсино, обладатель огромных, почти с кулак, часов,

¹ Ка п и в а р а — мелкий грызун.

² Жа к у — птица из отряда куриных.

посмотрел сначала на них, а потом на солнце, чтоб вернее было, и крикнул:

— Ребята, бросай работу... Обед!

Все дружно берутся за узелки с едой. Терсино разводит костер: еду подогреть. У Лалино только хлеб да колбаса.

— Не люблю я с утра варево с собой таскать, потом еще греть его... Эй, Сиду!.. Что загрустил, приятель?.. Ничего, если сеу Марринья нам вечером праздник устроит, я угощаю пивом... идет? Можно и Лоуривала позвать с гармоникой. А то у нас тут что-то уныло стало... Привет, Конрадо! Пришел проверить, что у нас на обед? Тебя испанцы подослали?

Женерозо и Корреа отошли — поискать сухих веток. Женерозо ворчит:

— Надоел он мне, бездельник! Только и делает, что болтает, смеется да небылицы рассказывает. Всегда у него такой вид, будто он только сегодня на свет родился... Дурачком прикидывается!

— Вот-вот — прикидывается, а сам-то хитер, как мар-тышка...

Корреа оборачивается, чтобы украдкой взглянуть на мулата, который оживленно жестикулирует в кружке слушателей:

— Одна болтовня. Каша на воде без маниоки! Лучше бы своими делами занялся... Некоторые увидят такого вот красnobая и думают — умник, а он, поди, и не замечает, как Рамиро, испанец, его женку обхаживает?!

— Она у него строгая, сеу Женерозо. И любит его крепко...

— Хорошо, но если у кого жена молодая, красивая — тут смотри в оба, — Женерозо щелкнул языком, сморщился, — я думал, ему на свою честь плевать, но теперь, пожалуй, я ему глаза открою.

— По-моему, не надо бы вам, сеу Женерозо, в чужие семейные дела лезть. Это к добру не ведет!

— Не беспокойтесь... Я сумею намекнуть!

Лалино уселся на пень у срубленных банановых деревьев, остальные примостились вокруг на корточках.

Женерозо подошел и без обиняков начал:

— Сеу Лайо, а как же с испанцем-то этим...

— А, Женерозо! Дался тебе этот испанец! И вообще, испанцы мне надоели до чертиков! Если бы еще испанки!

— Нет, сеу Лайо, вы уж меня послушайте... Я о другом говорю...

— Чего там... Ах, испанки! Да вы, наверное, испанок-то никогда не видали. Верно? Да вы ведь, — Лалино загадочно улыбнулся, — и в Рио-де-Жанейро небось никогда не были? Ну, если кто-нибудь из вас так и помрет в столице не побывав — тому место в аду!

— Ишь ты!

— В Рио есть такие местечки, где и днем, и ночью полно женщин, и все красивые! Настоящие красавицы, как на картинке. И каких там только нет: француженки, немки, турчанки, итальянки, североамериканки... Приходи — выбирай... Они у окон сидят и в дверях стоят, одеты так, ни во что... Ну и зрелище, милые вы мои! Ничего-то вы не видели, кроме маниоки.

На этот раз он здорово их поддел. У парней ноздри раздуваются, они ловят каждое слово. Лалино попал в точку. Он замолкает, наслаждаясь произведенным впечатлением. Надо срочно выдумать что-нибудь еще, потому что сам-то он, Эулалио де Соуза Салантиел из Эм-Пэ-на-Лагоа, никогда не бывал дальше Конгоньяса, да и это не точно, а если уж говорить точно, не далее Сабара, и, значит, никогда его нога не ступала в столичный город. Но разве его могли удержать такие мелочи.

— Просто в толк не возьму, как это вы тут надрываетесь, а потом тратите трудовые денешки на здешних негритянок, на этих босоногих грязнуль... Стыд да и только, никакого стремления к прогрессу! Нет, вы и представить себе не можете... Какие блондиночки, ух! У француженок глаза голубые, и духами от них так и разит... Многие молоденькие совсем, выглядят прямо как девушки из хороших семей... Накрашены, как циркачки... Разодеты в шелка, и домашние туфельки у них на высоком каблучке — красные, зеленые, синие... А говорят — заслушаешься, на каждом слове все «дорогой», «дорогой»... С ума сойти...

— Сеу Лайо! На минутку!

Его зовет сеу Марринья. Лалино встает, слушатели исподтипка ворчат на начальника, у них злые лица.

— Вы уже пообедали, сеу Лайо?

— Почти. Вот мой обед...

Лалино вонзает зубы в свой сэндвич, который до сей поры остался нетронутым — не до него было.

Сеу Марра уважает иерархию и обладает достаточным чувством такта. Поэтому он начинает так:

— Послушайте, сеу Лайо, я вас позвал, чтобы дать вам

полезный совет. Так дальше продолжаться не может!.. Ваша работа должна быть видна...

— Сегодня, сеу Марринья, ужасно хочется поработать!..

— Прекрасно... Надо же браться за ум... Вы — неглупый молодой человек и собой видный... Вы должны другим пример подавать. Мне, откровенно говоря, даже нравятся люди, у которых язык хорошо подвешен. Общительные. Тебе хоть сейчас в театр на роль соблазнителя...

Под конец сеу Марра говорит как бы нехотя. Он свое слово сказал и ждет ответа, глядя на далекий лесок.

Но напрасно ждет. Напрасно, потому что, хотя Лалино и знает, чего хочет от него собеседник, ответить ничего не может: он ничего не знает о «Виконте-Соблазнителе», ничего, кроме названия.

— Что вы, сеу Марринья, вы слишком добры... Вы хорошо ко мне относитесь...

— Нет. Я говорил вполне искренне... эта роль для вас... (Пауза.) А как вы думаете, могли бы мы поставить эту драму, сеу Лайо? Как она называется-то? «Виконт-Соблазнитель»... Так, кажется, вы сказали?

— Точно так, сеу Марринья.

Однако сеу Марра тут же добавил тоном любезным, но не терпящим возражений:

— Ну, вот что, сеу Лайо. Присядем здесь на камнях, и вы мне расскажете содержание пьесы.

Отступать некуда, но Лалино не растерялся. У него в мозгу такая извилинка есть, крутится с бешеной скоростью, как мотор, а тормоза слабые.

— В первом действии происходит вот что, сеу Марринья: поднимается занавес, на сцене — публичный дом. Виконт с приятелями развлекаются, пьют, танцуют, играет музыка... Девиц так... двадцать, все красавицы, одеты роскошно, а некоторые... раздеты...

— Ты с ума сошел, Лайо?! Где же такое видано?! Да нас камнями закидают, стрелять будут! И потом, полиция не разрешит такое со сцены показывать... А семейные-то люди, парень? Я ведь хочу, чтобы в наш театр ходили с семьями... Да ты не сочинишь ли? Где ты это видел?

— Как где, сеу Марринья? Известное дело — в столице! В Рио-де-Жанейро! Там — избранная публика...

— Ты, кажется, говорил, что это была бродячая труппа в Багре?

— Ах, вот голова. Вспомнил... в Багре я видал «Месть подкидыша», знаете? Один богатый парень узнал, что...

— Постой! Постой, давай по порядку... Сначала «Виконт-Соблазнитель». Что там дальше?

— Так вот, женщины — эти француженки, итальянки, испанки, говорят по-иностранному, курят...

— Что ты, Лайо! Где же мы тут найдем таких женщин? Играть-то кто будет?

— Ничего, наберем поблизости девок...

— Упаси господи!

— А может быть, сеу Марра, мужчин переоденем женщинами... Так ведь делают... Помните, наш викарий устраивал представления...

— Так ведь это не пьеса была! Там житие святого показывали! Ладно. Рассказывай дальше... Потом решим, что делать.

— Так вот, одна француженка, самая хорошенькая, голубоглазая блондиночка в бальном платье с голой спиной... вся раскрашенная, раскрасавица... садится к виконту на колени, берет его за подбородок... обнимает, целует...

— Погодите, сеу Лайо...

Возвращается грузовик компании. На этот раз он останавливается.

— Какие будут распоряжения, сеу Валдемар? — спрашивает сеу Марра.

— Никаких. Я только хочу напомнить Лалино, чтобы он не забыл к нам сегодня зайти. Он мою хозяйку играть на гитаре учит, но что-то давненько к нам не заглядывал.

— Я болел, сеу Валдемар... А позавчера к нам неожиданно пришли гости, я не мог.

— Хорошо, хорошо, но уж сегодня ждем вас обязательно. И вот что: приходите-ка к ужину. Но не опаздывайте! Сеу Марра вдруг спохватился:

— Теперь можете идти, сеу Лайо. Я должен поговорить по одному делу с сеу Валдемаром.

— Разумеется, сеу Марринья, я вам конец после расскажу. До свиданья, сеу Валдемар, до вечера!

Лалино удаляется беззаботной походочкой, то и дело сбиваясь на четку. Сеу Валдемар провожает его дружеским взглядом.

— Озорной мулатик! Ну, что ж, с таким не соскучишься. Он и не лстец, и не трус. С ним приятно, он и сам веселится, и других веселит. От этого молодеешь. Вот что значит — жить в свое удовольствие.

— Я тоже так считаю... Но ведь он может другим дурной пример подать...

— Согласен. Я тоже об этом думал. Что ж, найдем ему место где-нибудь в стороне, на складе, в конторе... самое подходящее...

Лалино тем временем взялся наконец за кирку и, стараясь, чтобы подхватили и остальные, запел жиденьким голоском «коко»¹.

Полюби меня, смуглянка, полюби,
подарю тебе орех арикури,
сам тебе я разгрызу орех,
ах, смуглянка, ты — красивей всех!

Отъезд сеу Валдемара заключил эту сцену — конец первого акта.

II

Вечером Лалино не угощал пивом приятелей и не пошел ужинать к сеу Валдемару. Он рано вернулся домой, к жене, которая и удивилась, и обрадовалась его ласкам. Она сильно его любила. Так сильно, что, когда он заснул глубоким сном, таким глубоким, что казалось, умер, Мария Рита долго еще, склонившись над ним, смотрела с бесконечной нежностью в его лицо.

На другое утро, видя, что муж не собирается на работу, она вообразила, что свершилось чудо и снова наступает медовый месяц. Она принарядилась и, молча глядя на мужа, стала исподволь и искусно вести ту вечную игру, которой женщины владеют в совершенстве, хотя никто никогда их этому не учил.

Но Лалино расхаживал по дому, расхаживал, курил, думал, что было необычно и потому тревожило. Затем он стал рыться в чемодане. На самом дне его лежали старые номера альманахов и журналов.

Лалино искал картинки и фотографии, изображавшие женщин. Да, это, наверное, так... как здесь. Жалюзи на окнах... и таких улиц много-много... Кто же ему рассказывал об иностранках, польках? Ах да, Сизино Байано, матрос, у которого грудь и руки в татуировке, как у бродячего торговца-турка. А фотографии он видал у Жестала, железнодорожника: на одной — толстушка... на другой — красotka с веснушками... а на третьей — совсем еще девочка,

¹ «К о к о» — народная песня и народный бразильский танец.

почти ребенок... А домашние туфельки на каблучках... красные, зеленые, синие — а о них кто же рассказывал? Никто! Это он сам выдумал. А парни из бригады всему поверили, слушали разинув рот! Но все это, наверное, так и есть. Как на картинках в журнале...

Мария Рита на кухне ставит посуду на полки. Она еще ни о чем не подозревает, но архангел-хранитель советует ей предпринять еще одну попытку, и она поет со страданием в голосе: «Иду издалека, издалека иду к тебе...»

...Она у меня добрая... И собой недурна... (Теперь, словно отступив в нейтральную зону, Лалино разглядывает в журнале военные сцены: фигуры каких-то людей — будто из Священного писания, самолет — словно летит в межпланетном пространстве, паровозообразный носорог на фоне африканского пейзажа...) Но там такой выбор... Сотня, а то и больше?.. Тысяча?! На любой вкус: зеленоглазые блондинки... Мария Рита любит его, конечно, но... Его все женщины любят. Была бы ее любовь такой уж сильной, она бы не скучала по матери, не плакала... Не бранилась, что он пропадает с приятелями, ведет беспутную жизнь... Любила, так не ссорились бы...

В кино как-то показывали одну такую белокурую богиню с красивыми голыми ногами, и еще шикарную брюнетку, почти голую; Мария Рита в сравнение не идет.

...Ладно, индюк думал, думал да в суп попал! Лучше поиграть на гитаре...

После обеда он вышел. Ходил, бродил. И наконец решился.

Все устроилось проще, чем он предполагал. Кое-что у него припрятано, немного, правда. Еще он продал осла и телегу Жоану Кармело. Сеу Марра старался его отговорить, потом махнул рукой: «Будь по-твоему. Ты, конечно, безумец, но и мир-то хорош. Посмотришь... Зарплату выплачивают тебе в государственных ассигнациях, хотя бы половину». Да-да, разумеется, сеу Марринья. Прекрасно! Дело верное, можешь не сомневаться... Лалино шагал с удрученным видом, то и дело поправляя воротник блузы, нервничал.

Сеу Валдемар отнесся к нему суровее, даже спросил: «А что ты там будешь делать, Лалино? Совсем бродягой станешь?» «Поеду в Белоризонте... Мне там местечко нашли, в полиции. А потом снова сюда возвращусь!» — «Ну это ты врешь, меня-то тебе не обмануть. Что ж, поезжай... Ты везде как дома... Тебя можно ночью за океан, хоть в Ки-

тай, спящим забросить, а поутру, проснувшись, ты уже будешь этих самых японцев дурачить!»

— Прощайте, сеу Валдемар! — Сделав десяток шагов, он все же обернулся и напоследок спаясничал:

— На бога надейся, да и... народ обирай!..

Было у него восемьсот пятьдесят милрейсов. Продал акции Виане, получилось еще шестьсот, хорошо. Теперь оставалось самое трудное. Подходя к дому, он принялся старательно припоминать все, даже самые мелкие слабости Марии Риты.

— Кого это принесло? — а-а, испанец нахал, опять перед ней хвост распускает. Ладно, ладно...

Сеу Рамиро хотел было, но не смог увильнуть. Самодовольный, усатый, он не к месту осклабился и поспешно залебезил:

— Как вы поживаете, как ваше здоровье, сеу Эулалио? Я тут именно вас жду, хочу спросить, будет ли сегодня у Морейры праздник. Я знаю, что будет, но я хотел уточнить. Вы, может быть, тоже...

Ишь, мелет. А самого черт сюда принес... Ловкач, и денежки, говорят, у него водятся.

— Сеу Рамиро, подойдите-ка поближе. Слушайте: я хочу сообщить Вам нечто очень важное...

— Сеньор Эулалио, вы можете на меня положиться. Я к вашим услугам, сеньор Эулалио. В чем же дело? Вы меня знаете, я своих друзей уважаю, а в особенности их семейства, их достопочтенные семейства...

(Надо непременно улыбнуться хоть раз, чтобы не отпугнуть испанца. А потом уж нахмуриться, для соблюдения приличий...)

— Знаю, знаю. Так вот, сеу Рамиро: я хочу попросить у вас денег в долг. Тысячи две... Идет?

— Но, сеньор Эулалио... Как вам известно... достатки у нас небольшие. Неблагоприятные обстоятельства.

— Послушайте, сеу Рамиро... дело очень серьезное... Я уезжаю. Жена остается. Вернее, я ее оставляю. Она еще ничего не знает. Я хочу... как бы это сказать... ну, сбежать, что ли... Вы уж дайте мне взаймы, иначе мне не уехать... А потом я вам верну. Месяцев через шесть... Пришлю. Мне место нашли хорошее, буду на трамвае работать, в Рио-де-Жанейро... (Теперь самое время изобразить чувства.) Без денег я не уеду. Не смогу... Ну так как?

У испанца дрожат губы, он поглаживает пальцами отворот пиджака.

— Вот... значит, вы говорите, сеньор Эулалио... А вдруг вы потом раздумаете? Вы никогда сюда не вернетесь, это правда?

— Конечно, нет. Никогда! (Лалино снова заторопился.) Эх, да где ж это видано, чтобы лягушка в болото не хотела?! Ну, как, договорились? Только поживее...

— Видите ли, одну тысячу я наскребу. Но для меня это большая жертва, карамба!

— Ладно, пусть будет одна. Но неси мигом, а то вот-вот отправится машина на Брумадиньо... Скорей!

Войти в дом — или не надо? Вещей он не возьмет, а то, чего доброго, жена заподозрит... И все-таки он войдет — сердце велит проститься. Мария Рита, как обычно, хлопочет по хозяйству. Лалино дурачится. Дурачась, он крепко обнимает ее.

— С ума сошел... Лайо... — говорит она сердито.

Он незаметно кладет на стол шестьсот милрейсов... Пора! Иначе духу не хватит.

— Опять уходишь?

— На минуточку, узнать у Терсино...

Рамиро-испанец, запыхавшись, уже ждет его под тамариндовым деревом. Он действительно принес тысячу сотенными бумажками.

— Видите, как я быстро, сеньор Эулалио. Что я хочу сказать...

— Ну, с богом! Так деньги я вам пришлю, сеу Рамиро. Лалино устал. Он садится рядом с шофером:

— Не надо сигналить, сеу Миранда... Поедем побыстрее...

Вот наконец и Брумадиньо... Билетов еще не продают.

— Пойдемте, пива выпьем, сеу Миранда. Ой, что это, господа? А, это цыгане уезжают. Они, видно, кучу денег ухлопали — ездили на машине поклониться святой Маноэлине из Кокейрайс, что в Дон-Силверию. Глядите-ка: ничего себе цыганочка. Но грязные они уж очень, сеу Миранда. Далеко им до француженков. Послушайте, сеу Миранда: у меня к вам большая просьба.

— Какая, сеу Лайо?

— Передайте, пожалуйста, Ритинье, что я больше не вернусь. Никогда. Пойду бродить по белу свету... Толку от меня все равно мало было, так что немного потеряет. Скажите ей, пусть делает что хочет. Я никогда больше не вернусь.

— Ну, сеу Лайо. Так люди не поступают! Она же ваша жена!

— Слушайте, сеу Миранда: я ведь вас по-всякому одолею — хоть врукопашную, хоть из ружья, хоть палкой... А вы меня? Ведь нет? Ладно, знаю, вы сказали не подумав. А мне сейчас настроение себе портить не хочется, да и некогда голову себе забивать разным вздором. Я не бык и не пес, не взбешусь. Но и вам бы неплохо сначала подумать, а потом говорить, верно?

— Да я в чужие дела не вмешиваюсь.

— Вот-вот. Хотите — передайте, что я сказал. Не хотите — не надо.

Гудок. Подошел поезд.

— Прощайте, сеу Миранда! Не поминайте лихом, мне ведь тоже не легко.

— Еще не поздно, одумайтесь, сеу Лайо! Бога побойтесь...

— Ничего, сеу Миранда! С богом у меня все в порядке. Это — мое личное дело. Будьте счастливы, сеу Миранда!

— Не уезжайте, сеу Лайо! Одумайтесь...

В болоте, что у Параопебы, лягушки тоже прощались с ним. А может быть, они просто квакали: «Нам! Нам! Нам!.. Вам! Вам! Вам!..» Типичная болотная какофония.

Вот так, поболтав однажды немножко больше чем следовало с приятелями в обеденный перерыв, Эулалио де Соуза Салантиел сел тем же вечером в поезд, отходивший в восемь пятьдесят от местной станции, никто его не провожал, и багажа при нем не было, а в кармане, заколотом английской булавкой, лежали деньги. Он нашел свободное место, уселся, закрыл глаза и, с удовольствием ощущая мерное покачивание и перестук колес, предался мечтам — невероятно далеким от действительности. Он представлял себе златные места в столице — места, где умудренные опытом одалиски щедро предлагают прохожим любовь — добротную и дешевую.

III

Месяц спустя Мария Рита все еще жила одна и плакала.

Три месяца спустя Мария Рита жила с испанцем.

И все говорили, что она поступила правильно, а те, кто придерживались иного мнения, были явно пристрастны.

И все говорили, что муж ее — негодяй, продавший собственную жену. А Рамиро-испанец порядочный человек, пригрозил бедняжку, не дал ей пойти по рукам.

В конце концов все толки и пересуды кончились единодушным признанием:

— Бесстыжий мулатишко! Совесть у него собака языком слизала! Подлец! Если когда-нибудь его увижу — плюну в рожу! Срам какой!.. Как только таких земля терпит!..

Прошло более полугода. Строительство отрезка шоссе-ной дороги закончилось. Приезжие рабочие отбыли, с телегами и мулами, инструментом и деньгами, с карманами, полными акций, в поисках новыхстроек.

А испанцы остались. Сложившись, купили ферму. Завели знакомства, и все стали их уважать, потому что в наших местах собственный клочок земли — это уже залог надежности, право на гражданство.

IV

Приключения Лалино Салантиела в столице были велико-лепны, но размышлять о них можно, а писать нельзя, слишком уж они оказались безнравственными. Может быть, должным образом вычищенные и приглаженные, они увидят когда-нибудь свет вместе со сказкой о близорукой лягушке, которая, забравшись на камень и увидав раска-ленный песок, сверкавший на солнце, воскликнула: «Да тут вода!» — радостно соскочила с камня и, обжегши лапки, тут же запрыгала обратно.

Нет, он не нашел того, что искал. Гурии оказались отнюдь не райскими, а корыстолюбивыми, равнодушными, вечно спешащими — просто ужас. Красноречия они не ценили, от романтических историй отмахивались. Ну и жизнь... О Ритинье и вспоминать нечего. Веселые жен-щины из публичных домов, даже хорошенькие, даже кра-савицы, оставались непонятными, чужими, и все было совсем не похоже на его радужные мечты. Другой мир. Неуютный, неприятный, утомительный. Зря он все это затеял.

Вернуться? Ну, нет. Тут он, наверное, со временем при-терпит, а дома его небось поносят от зависти, с грязью смеиваются. Впрочем, Ритинья, может быть, и хочет и даже заклатья шепчет, чтобы он вернулся... Нет, ни за что.

Эх, пропадай все пропадом: гулять так гулять! Лучше на воле худеть, чем в неволе — жиреть...

Но всякий человек, если только он чего-то стоит и не совсем дурак, самое большее за год убедится, что от непрерывного разгульного угара только распалешься и тупеешь, а счастья не жди. А Лалино Салантиелу всего лишь половинный срок понадобился, чтобы понять это вдвое лучше.

Деньги подходили к концу. Приработок попадался редко. Невесело ему стало. Сник Лалино, затосковал.

Обедал он как-то раз в китайской столовой.

— А не вернуться ли мне домой? Возьму и вернусь! Погляжу, какие у них рожи сделаются, когда меня увидят...

Лалино расхохотался утробным смехом и, отложив денег на билет второго класса, обдумал прощальную программу: целая неделя сплошного буйного праздника.

Дни недели прошли один за другим.

Когда Лалино вошел в вагон, то ему захотелось отыскать уголок поукромнее, сесть и заплакать. Но он счел более целесообразным вспомнить и спеть вполголоса все знакомые песни. Одному попутчику из Параибы¹ это понравилось. Они целый день обучали друг друга песням, все шло прекрасно.

Поздно ночью поезд шумно вкатился в ущелье Мантикейры, потянуло приятным холодом — там ведь и в разгаре лета свежо...

— Погляжу, какие у них рожи сделаются, когда меня увидят!..

Он рассмеялся, это была его последняя мысль перед тем, как уснуть. Что ж, ему уже ничего другого не оставалось, как, проснувшись поутру, почувствовать себя торжествующе, беспредельно счастливым.

V

Идя через весь поселок к дому испанца, Лалино Салантиел до изнеможения придумывал остроты — ведь только убийственными ответами мог он парировать насмешки и обидные замечания земляков.

— Эй, ребята! Небось вам без меня скучно...

¹ Параиба — штат Бразилии.

Рамиро увидал его в окно и исчез. «Побежал спрятать Ритинью и схватить ружье», — подумал Лалино.

Но тот уже снова вышел и тщательно запер за собой дверь. Потом остановился посреди улицы, бледный, крутя остроконечный ус.

— Как поживаете, сеу Рамиро? Как дела?

— Хорошо, спасибо. Вы зачем приехали? Вы же говорили, что никогда не вернетесь? Что вы собираетесь тут делать?

— Да вот — пришлось приехать, и я воспользовался случаем — деньги вам привез, долг отдать...

(Это еще ничего! — испанец облегченно вздохнул. — Значит, он не собирается расторгнуть сделку.)

— Нет, что вы... Не надо. Вы мне ничего не должны... Ввиду особых обстоятельств, как вы, наверное, знаете, я... Одним словом, если вы только за этим приехали, то вы мне ничего не должны, карамба!

(На этот раз Лалино, у которого в кармане не было ни гроша, решился!)

— Ладно, если уж вы считаете, что я вам ничего не должен, ловлю вас на слове. Деньги у меня при себе, но если, по-вашему, мы квиты, то и дело с концом. Я не гордый! Но смотри, испанец: я с тобой никаких сделок не заключал, слышишь?! У меня обязательств ни перед кем нету!

— Но, разумеется, сеньор Эулалио не останется здесь жить? Я уверен, что сеньор отсюда уедет...

— Ну уж нет, сеу испанец! Я никому ничем не обязан, верно? А теперь вот что: хочу поговорить с Ритиньей, и все тут!

Лалино будто невзначай похлопал рукой по поясу, по рукоятке револьвера, глядя испанцу прямо в глаза.

К его удивлению, тот согласился:

— Можно, в моем присутствии, разумеется. Но это вам не поможет, она о вас и слышать не хочет!

Лалино заколебался. Если испанец так легко согласился, значит, уверен, что Ритинья от него не уйдет. Худо.

— Ладно, я уже решил... Глупости. Не хочу ее видеть... Я за гитарой пришел... Она у вас?

— Как вам угодно, сеньор Эулалио... Сейчас вынесу... Минуточку.

Лалино сел на корточки спиной к дому, чтобы испанец, как только выйдет, сразу понял, что его презирают.

— Возьмите, сеньор Эулалио. Ее никто не трогал, даже из чехла не вынимали... Там еще ваше белье, вещички кое-какие... Куда их доставить?

— Я пришлю за ними потом. Не беспокойтесь. Ну больше нам с вами говорить не о чем. Пойдите, а вы с Ритиньей хорошо обращаетесь? Да нет, я просто так... Но если что плохое узнаю, тогда уж!.. Ладно... Пока, испанец.

— Всего хорошего, сеу Эулалио. Пусть господь бог укажет вам путь.

Но не смог Лалино уйти просто так, без обычной своей шутки, без прощальной веселой выходки:

— Эх ты, испанец! Если бы ты ко мне пришел, я бы пригласил тебя зайти, кофе с пирожным выпить!

— О, сеньор Эулалио! Простите, но... я...

— Ах ты, усач! Не понимаешь, что я от злости лопаюсь?

Только после этого Рамиро наконец увидел, что соперник его уходит приплясывающей походкой, как и подобает бесшабашному весельчаку.

Не исключено, что Лалино тем временем думал: «Этот небось молиться будет, чтобы я пропал. А ведь захоти я — и Ритинья бы сегодня же ко мне прибежала. А если... да нет, другие испанцы вяжутся... Черт! Что ж, подождем, пока тыква созреет... А тем временем птичка тизиу сменит перышки и запоет...»

Лалино проверил, целы ли на гитаре струны.

— Пойду проведаю сеу Марринью...

По дороге ему повстречался Жижо — и отвернулся, едва ответив на приветствие.

— Вы куда направляетесь, сеу Жижо?

— На ферму. Работаю там у сеу Рамиро и сеу Гарсиа.

— И сеу Эчевиро, и сеу Сатуринио, и сеу Кейрога, и всего этого испанского сброда, верно? И не стыдно вам работать на этих инородцев, пришельцев, взявшихся здесь неизвестно откуда?!

— Я думаю, стыдно должно быть тому, кто...

— Знаете что, сеу Жижо, пока вы с этой шайкой водитесь, вы со мной и не заговаривайте, ясно? Я с вами и здороваться-то не хочу! Вы слышите? Я вот только что из столицы, там кто на иностранцев работает, особенно на испанцев, так это самые распоследние люди, от них все отшатываются, хуже, чем от преступников. Вы даже и смотреть на меня не смейте, пока вы в рабстве у этих кислых галисийцев!

Жижи ушел быстрым шагом, почти убежал. Лалино остановился, жадно оглядел все вокруг.

— Хорошо, ох, как хорошо: арбузы уже спели... Тут плантация Силвы да Понте... Но арбузы-то не считанные! Потом пойду к сеу Марринье.

Лалино свернул на тропинку, сбежавшую к ручью. Господи, красота какая! И как это он о таком красивом месте ни разу не вспомнил?

Редко где просвечивает красноватый откос. Все сплошь затянато разнообразнейшим сплетением лиан: широкие листья, ростки, побеги, усики... здесь радостно и беспорядочно перемешались желтые чашечки козьей травы, алые граммофончики каражуру, мелкие белые, похожие на картофельные, цветки лианы-картошки, лиловые пятязычные колокольчики-плевательницы, нежно-голубые воронки травы святого Жоана.

Лалино кладет гитару, идет сорвать арбуз. Скидывает пиджак, умывает лицо. Ест. Сложенный пиджак кладет под голову и растягивается в траве, в тени мимозы, любясь каскадом цветущей зелени. Кто-то пробежал в гуще белого миндаля, пролетела птица, но то не был час птичьего пения; запел сам Лалино:

— Тоскую, как лягушка в озере... Нет, надо посмешнее: тоскую, как лягушка в гнилой воде...

А между тем, как раньше Лалино совсем не вспоминал об откосе, увитом лианами, так и теперь он не вспомнил о лягушке. О лягушке из сказки про лягушку и черепаху, которые спрятались в гитаре уруб, чтобы побывать на небесном празднике. Праздник был очень веселым, но когда он кончился, приятельницы не успели забраться в гитару, чтобы вернуться на землю, остались на небе и были пойманы святым Петром. И говорит им святой Петр: «Сейчас сброшу обеих на землю». И первой сбросил черепаху. Спускаясь без помощи парашюта и видя, что она летит прямо на вершину скалы, черепаха втянулась в панцирь и крикнула: «Уходи с дороги, скала, не то я тебя разобью!» Но скала не сдвинулась с места, и черепаха разлетелась на множество осколков. Их собрали и старательно склеили, поэтому теперь панцирь у черепахи весь из кусочков. А лягушка в это время смеялась. И когда святой Петр спросил ее, почему она смеется, ответила: «Потому что если бы моя кума умела летать, то не выпали бы ей на долю такие тяжкие испытания...» Святой Петр рассердился, подумал немного и сказал: «Ах вот как? Посмотрим, что

ты запоешь, когда я тебя швырну или в огонь, или в воду!» Лягушка заголосила: «Только не в воду. Прошу тебя, я научилась плавать...» — «Вот я и брошу тебя в воду!» Плхнувшись в глубокий колодец, лягушка растопырила свои лапки-ручки, перекувырнулась, нырнула — посмотреть, было ли там дно, — пустила огромное количество пузырей и, когда нашлась у нее наконец свободная минутка, всплыла, сияя от удовольствия и подмигивая: «Лягушке только того и надо!»

Вот какая сказка, но Лалино Салантиел, даже и не подозревавший, что он тоже относится к породе лягушек, уже дремал.

Внезапно он проснулся от конского топота: сеу Оскар подъехал на рыжей кобыле поправить изгородь.

— Кого я вижу?! Сеу Лайо! Ты снова здесь?! Прямо не верится!

— Земля высохла, скотина оголодала, сеу Оскар...

— Сегодня приехал?

— От меня еще поездом пахнет. В первом классе при-
был...

— Ого!

— Одни потраченные деньги не возвращаются, сеу Оскар!

— А теперь что же?

— Пока живешь, местечко себе найдешь.

— Ну, а семья как?

— Плохо дело...

— Вот видишь? А теперь ты все это еще хуже запутаешь. Ты, конечно, захочешь вернуть жену, которую ты продал? Этого делать нельзя. Ни в коем случае!

— Что вы, сеу Оскар. Мне теперь бы отдохнуть...

— Как? Ты что же, так испанцу и не предъявишь своих законных прав? Оставишь ему Ритинью? Не годится. У тебя, значит, тараканья кровь. Ты же мужчина! Как можно допускать такое бесчестье?

— Постойте, сеу Оскар! Вы же сами только что говорили, что мне не надо к ним лезть! Как же так?!

— Ну, знаете, сеу Лайо, вы уж из меня дурака не делайте! Вы прекрасно поняли, что я хотел сказать... Я-то сам люблю таких сумасбродов, если они к тому же весельчаки и за словом в карман не лезут. Поэтому я бы тебе посоветовал...

— Да, да, сеу Оскар. Очень вам благодарен. Но посудите сами: если я сейчас туда сунусь, я только подолью мас-

ла в огонь! Ритинья меня, наверное, ругает, на чем свет стоит, ей небось хочется, чтобы я опять подальше убрался... Испанцы, конечно, уже с ружьями меня ждут, не такой я дурак, чтобы голыми руками колючую гусеницу хватать! Не на такого напали, я по своей воле в осиное гнездо не полезу...

— Да, пожалуй... Ну, а с ней-то как же все-таки?..

— Приманю потихоньку.

— А испанец?

— Останется ни с чем.

— Но каким образом, сеу Лайо?

— Еще не знаю.

— А пока будешь тут кверху пузом лежать?

— Подожду, авось какая-нибудь мыслишка появится...

— Гм-гм!

— Что делать, сеу Оскар. Дешевле всего жить задаром...

— А как же все остальные люди, сеу Лайо? Ведь люди живут по своим правилам...

— Не я эту песенку выдумал.

— Тогда твоя песенка спета!

— Как знать, сеу Оскар. Я и другим воды подам и сам попрошу, когда пить захочется... Мир наш до того вкривь и вкось устроен, что его даже исправлять нет желания. Ах, сеу Оскар, если бы я мир сотворил — вот было бы здорово! Вы только представьте себе: скажем, захотелось мне закурить... И вот, не сходя с этого места, даже глаз как следует не открыв, я протягиваю руку, тыкаю сигаретой в солнце... а потом поворачиваю его обратной стороной, чтобы спать не мешало. Только так и стоит жить!

— Бога побойся, сеу Лайо. Вот тебе сигарета, а вот зажигалка. Кури, не выдумывай такой чепухи. От нелепых мыслей можно рехнуться и жизнь свою погубить. Надо образумиться, жить как все! Хочешь доброго совета послушать? Человеком стать?

— Разумеется, сеу Оскар! Еще как хочу! А то кто я тут? Бродяга...

— Обещать не обещаю. Не могу. Но со стариком поговорю. Может, мне удастся его уговорить взять тебя на работу.

— Это для меня честь, сеу Оскар! Я не подведу...

— Я думаю, такому, как ты, стоит попробовать свои силы в политике, а то у нас что-то не ладится...

— Верно! Сеу Оскар... Можете сказать старику, что я,

со своей стороны, обещаю! Уж мы им покажем, сеу Оскар... Теперь у нас выборы совсем иначе пройдут. Скорее бы, сеу Оскар... Я горю нетерпением... Я уже вижу нашу победу!

— Не кипятись, сеу Лайо. Ну, мне пора.

— Сеу Оскар...

— Что еще?

— Как поживает сеу Марринья?

— Переехал. В Дивинополис.

— А! Насовсем?

— Он тут хорошо заработал... Говорил, хочет открыть театр...

— Приятно слышать! Умная голова!

VI

Майор Анаклето был не только политической главой округа, но еще и человеком суровым, принципиальным, нечувствительным к лести, не идущим ни на какие уступки.

Ответ звучал категорически:

— Больше со мной о нем и не говори, сеу Оскар! Покончим с этим! Он — свинья, распущенный, развратный безбожник... Этот негодяй продал свою семью! Мне подобных проходимцев не нужно. А испанцы — люди порядочные, они у нас большую телегу купили, телят... Пожалуйста, не впутывай меня в их распри!

Сеу Оскар мягко сказал:

— Вы правы... Не сердитесь... Я только подумал, что мулатик изворотлив, как бес, сообразителен, горазд на всякие выдумки. Он бы помог одолеть этого подлеца Бенigno и его прихвостней, из которых один другого опаснее. Но если вы не хотите, я не настаиваю. Поговорим о другом: у нас еще один бык ядовитой травы наелся, на пастбище у запруды...

Поговорить о другом было верным ходом в отношении майора Анаклето: пятно сомнения расплывалось в его мозгу, и после некоторых раздумий он соглашался. Но сеу Оскар, не очень-то изворотливый, в последнее время злоупотреблял этой хитростью, и майор догадался, куда гнет его сын. А уступать было не в его правилах.

Но тут дядя Лаудонио, благоразумный плешистый брат майора, счел нужным вставить словечко. Обычно оно и бывало последним.

Юношей дядя Лаудонио учился в семинарии, потом лет двадцать вел беспутную жизнь, а потом остепенился. Благочестивый по привычке, целомудренный от лени, он целыми днями удил рыбу на берегу реки или играл в маримбо¹, когда находились партнеры. В поселке он бывал крайне редко и всегда со строго определенной целью: под пасху помогал жечь чучело Иуды; когда приезжал цирк, ухаживал за наездницей — но ничуть себя не компрометировал, просто ему нравилось преподносить ей цветы на арене, в центре всеобщего внимания, под гром оркестра, в парадном кругу артистов, присутствовал он также на особо торжественных мессах, когда служит не один священник, а несколько; наконец, по просьбе майора, он помогал в яростных политических схватках, так как обожал самые разные интриги. Дядя Лаудонио говорил негромко, с улыбкой, в своих рассуждениях никогда не повторялся и не упорствовал, и это производило неотразимое впечатление. И, что особенно важно, дядя Лаудонио в свое время был в особых отношениях с миром неодушевленных вещей: видел в темноте, знал, с какой стороны ждать дождя, слышал, как трава растет.

— Такому мулату цены нет... Его только надо разжечь как следует, напустить на кого надо да поддерживать огонь... Не знаю, от бога это у них или еще откуда-нибудь, но такой куда угодно пролезет. Необычные это создания, понять их трудно. Из тех, что шляпу вешают вороне на крыло, а деньги дают на хранение вору... Найми мулата, брат Клето, он — настоящий Саси².

Майор умел сдаваться с достоинством:

— Ну, уж, ладно, так и быть, раз все меня просят... Сообщите ему, чтобы явился завтра. Но вы сами будете с ним иметь дело... И чтоб испанцев не трогать! Ни в коем случае!.. Этого я не потерплю.

Майор походил взад-вперед.

— Сеу Оскар!

— Да?

— И чтоб ко мне он с разговорами не лез! Объясни ему сам, что и как делать... Отдавать распоряжения всяким подонкам не сообразно с моим достоинством! Ясно?

— Ваше слово — закон!

¹ М а р и м б о — вид карточной игры.

² С а с и — персонаж бразильского фольклора, фантастическое существо в образе хромого негрятенка.

Тем временем Эулалио де Соуза Салантиел, по-видимому, отнюдь не торопился приступить к своим новым обязанностям. На следующий день он так и не пришел. А когда появился наконец в фазенде в среду вечером, майор как раз говорил о нем, издеваясь над сеу Оскаром и над дядей Лаудонио — дескать, их подопечный не успел начать, как уже закончил, и прочее в том же духе.

И когда Лалино безмятежно поднялся по ступенькам террасы, майор Анаклето, забыв о суровом условии, поставленном им же самим, пренебрег посредничеством сеу Оскара и лично обрушился на мулата:

— Вон! Если вам не угодно жить честным трудом, можете убраться! Неплохо вы начинаете, а?! Вы пока еще не сенатор и не епископ, чтобы позволять себе такие вещи!

Но он вынужден был замолчать, потому что Лалино, почтительно вытянувшись, выпалил без передышки:

— Сеу майор, извините меня, пожалуйста! Не приходил, потому что не хотел являться с пустыми руками... А теперь я вам расскажу такое, о чем вы и не подозреваете... Вот послушайте: в Папагайо в день выборов все будут против вас. Туда сеу Бенигно ездил, обманул их всех и пригласил Ананиаса себе в помощники!.. В Боа-Виста тоже дела плохи: там всем заправляет сеу Сезарио, а он уже кое с кем сговорился. Ближе к Пара сеу Бенигно посеял раздор из-за земельной границы сеу Антенора и сеу Мартиньо. А уж у этой парочки, вы меня простите, я знаю, что они ваши родственники, — ни стыда, ни совести нет, готовы к сеу Бенигно переметнуться, ведь он здесь лучше всех в тяжбах разбирается и обещает помочь одному, а потом, конечно, то же самое пообещает другому... Так что сеу Бенигно времени не терял! И слухи он распускает, будто сеу майор уже не тот, что прежде, что он уж и в седле-то не держится... И будто правительство солдат отозвало, дескать, больше на вас не полагается, а сюда другое подразделение пришлют, по просьбе сеу Бенигно, он-де об этом позаботился, когда ездил в Белоризонте. Он каждый день ходит к мессе и на исповедь со всем семейством. Говорит, что вы человек малорелигиозный, совсем масоном стали... Вот, сеу майор. Господом богом клянусь, все, что я вам сказал, — истинная правда!

— Хорошо, сеу Эулалио, хорошо... Ждите распоряжений!

И майор, оглушенный новостями, взбешенный, позвал дядю Лаудонио в гостиную. За то время, что длилось совещание, можно было kota выхолостить. Когда они наконец вышли, майор все еще бормотал:

— И Антенор!.. И этот Мартиньо Губошлеп! А я-то ничего не знал!

— Имей в виду, брат, это только цветочки... Дай мулатику денег, а уж я его научу как следует... Нет, сто милрейсов — многовато, для начала хватит пятидесяти...

Уходя, Лалино обратился к майору еще с одной просьбой: он хотел, чтобы Эстеван (Эстеван Большой) — был его телохранителем. Ведь кто-нибудь из людей Бенигно мог его подкараулить... С ним и так ведут себя вызывающе. Он ссоры ни с кем не ищет... Но хотелось бы себя на всякий случай обезопасить.

Майор насупился, но дядя Лаудонио шепнул ему что-то по секрету, и он согласился.

— Можете взять Эстевана, но смотрите у меня! В драку не ввязываться, от испанцев держаться подальше. Они мои друзья, понятно?!

И придя в более приятное расположение духа, майор изволил пошутить:

— И как это вы жену продали? Это все равно что черту душу продать... Так что потише, я чужих грехов покрывать не буду.

— Согласен, сеу майор. Мы тихо-мирно будем делать свое дело! Завтра же я начну действовать... И да благословит нас господь, сеу майор!

На другой день Лалино появился в сопровождении Эстевана Большого, одного из самых свирепых наемных головорезов майора Анаклето, который так серьезно относился к своим обязанностям, что даже никогда не улыбался.

Когда кто-нибудь пытался задеть Лалино, он оставался совершенно невозмутимым. Но Эстеван, как добросовестный телохранитель, считал в таких случаях своим долгом отхаркаться с нетерпеливым рычанием, и обидчик спешил оправдаться:

— Я пошутил, сеу Лайо...

Помимо всего прочего, Эстеван был родом из Монтес-Кларос, слыл прекрасным стрелком и постоянно совершенствовал свое искусство. Каждая его пуля должна была попасть в самую середину живота, в пуп, пробить внутренности и врезаться в позвоночник.

А Лалино действовал с озабоченным видом человека, обдумывающего великие дела. И все в поселке узнали, что он — агент по выборам сеньора майора Анаклето, и следовательно, человек уважаемый.

Все остальное, с божьей помощью, шло своим чередом.

VIII

После донесения Лалино майор понял, что ждать сложа руки больше нельзя. Надо пускаться в путь. Он приказал оседлать мула и отправился к викарию. Но прежде, чем приехать самому, послал поросенка. Майор исповедался, пожертвовал на церковь. До сих пор священник был другом и ему, и правительству, но раз тут этот проныра Бенигно развел лесть и интриги, кто его знает... К счастью, было вакантным местечко школьного инспектора. Майор предложил его викарию.

— Благодарю, сеу майор, мне это будет затруднительно, нет времени, приходских дел много...

— Примите, сделайте одолжение! Вы нам нужны. Это не имеет никакого отношения к политике, но так будет солиднее. И религиозный дух укрепит. У меня ведь, знаете как, сеу викарий: вера превыше всего! Без бога — ни шагу!

Священнику ничего другого не оставалось, как принять визит, деньги, поросенка, исповедь и место; а потом он сказал:

— Знаете, сеу майор? Вчера приходил ко мне этот юноша, который теперь у вас работает. Он тоже исповедался и причастился, и еще поставил две свечи на алтарь Пресвятой Богоматери. И долго молился, преклонив колени перед святой девой. Эта история с его женой и испанцем очень уж запутанная, сразу не распуташь... Но поразмыслив... Сеньору как доброму католику должно быть известно, что не следует жалеть сил ради примирения супругов... Я говорю с вами об этом потому, что мне повелевает долг... Юноша ничего у меня не просил, это доказывает, что он чувствителен и деликатен. И потом, кто поклоняется пречистой, не может быть совершенным злодеем...

— Да хранит меня святая дева, сеу викарий!

— Аминь, сеу майор!

И майор Анаклето отправился далее в торжественное

паломничество по фазендам. По правую его руку ехал дядя Лаудонио, по левую — сеу Оскар, а позади — один верный человек.

Путь их лежал мимо фермы испанцев. Сеу Рамиро вышел на дорогу, приглашая их зайти в дом. Но это противоречило принципам майора. Тогда испанец начал жаловаться прямо на улице: сеньор Эулалио под защитой сеньора Эстевана приезжал на лошади затем лишь, чтобы его оскорбить... Он с ним, Рамиро, даже не поздоровался, а закричал: «Да здравствует Бразилия!» — у самых его дверей. Ритинья была в это время у ручья, белье стирала, и этот негодяй, этот бесстыдник осмелился послать ей поцелуй... Они, его соотечественники, могли бы тут же на него наброситься, потому что они все были дома. Но поскольку этот нечестивый пес работает теперь у сеньора майора, они не стали с ним связываться. А теперь он все же просит благородного сеньора майора дона Анаклето восстановить справедливость...

Майор, заметив, что дядя Лаудонио еле удерживается от смеха, растерялся. А испанец продолжал:

— Поверьте, сеньор майор, я не хочу вас огорчать, но этот проходимец не заслуживает вашего высокого доверия... Знайте же, сеньор, я уж вам сообщу, он в последнее время подружился с сыном сеньора Бенигно... Они вместе ездили в Боа-Виста, здесь это всем известно... С гитарами, с водкой, а еще с ними был Эстеван, а ведь он — карамба! — существует на средства сеньора майора...

Что тут поднялось! Майор Анаклето осатанел от бешенства. Значит, Лалино водится с сыном его врага, они вместе таскались в Боа-Виста — главное гнездо оппозиции! Ничего себе! Но ведь и он же не идиот! Много чего сказал майор, а много не договорил, и сеу Оскар не на шутку забеспокоился о своем подопечном.

Когда через неделю, закончив предвыборную поездку, они вернулись в фазенду, состоялся громоподобный разнос. Лалино, возвратившийся накануне, рассказывал приятелям разные истории на террасе, к счастью для себя, потому что майор заорал на него еще не сняв сапоги, а эта процедура, как известно, значительно усиливает гнев доброго христианина.

— Так вот ты какой, подлец, прохвост! Под ручку расхаживаете с Нико Бенигно, а меня, значит, предал? Неблагодарный негодяй! Ты жену продал, ты и святое причастие продать можешь, гадина!

— Сеу майор, сперва выслушайте меня! Я связался с сыном Бенигно, чтобы получить от него кое-какие сведения. Для вашей же пользы... И еще ради одного дельца, о котором я пока рассказывать не стану, потому что еще не знаю, что получится... Но, сеу майор, подождите пару днейков, и, с помощью святой девы, все жители Боа-Виста, начиная с самого сеу Сезарио, проголосуют за нас...

Тут дядя Лаудонио сделал майору какой-то знак, и тот немного поостыл. Может быть, этот пройдоха Эулалио говорит правду, но у майора были и другие поводы быть им недовольным.

— Я же вам говорил, чтобы вы к испанцам не лезли? Говорил? Почему вы туда ездили, оскорбляли их?

— Черт побери! Что они вам наговорили? Я никого не оскорблял, сеу майор...

— Ты еще отпираешься, мерзавец? Мне сам Рамиро жаловался...

— Сеу майор, может быть, этих пришлых задевают здравицы в честь Бразилии? Но ведь это неслыханно... В политике надо быть патриотом!.. Ура! Вы разве не патриот?

— Перестаньте кривляться! Я требую уважения!.. Вы не можете отрицать, что заигрывали с доной Ритиньей, которая стирала у ручья белье...

— Как вам сказать, сеу майор... вам не кажется, что, увидав так вот, внезапно, жену, которая когда-то была твоей, забудешь ведь, что теперь она — не твоя? Само собой получилось, сеу майор. А теперь разрешите доложить, что я делал в последние дни...

— Докладывайте. Чего же вы ждете?

— Первым делом поехал я в Папагайо, напустил там на всех страху, сказал, будто едет к ним лейтенант с десятью солдатами. Если бы вы только видели, что тут началось! Женщины принялись голосить, молиться! Черт... Потом я их успокоил, и все они обещали проголосовать за вас!

— Гм...

— После этого я заехал в Мукамбо и, с божьей помощью, покончил с тяжбой, которую раздул там сеу Бенигно...

Подошел дядя Лаудонио, весь красный от нетерпеливого любопытства:

— Как вы этого добились? Что вы им говорили?

— Ничего особенного, пустяковое оказалось дело. Сперва я напугал сеу Антенора, пригрозил, что майор перекроет ему воду... Ведь водопровод-то идет в его фазенду из Ретиро, верно? А тамошний хозяин — брат сеньора майора... С сеу Мартиньо труднее было справиться. Но я соврал ему, будто майор будет за него, но пока об этом нужно молчать, до выборов. Я сразу смекнул, что сеу Бенигно не очень-то ловко все это подстроил. Они ведь поссорились из-за тех двух ровов, что пастбище разделяют... знаете? Там есть старый ров, почти совсем осыпавшийся, и новый. Ну, привел я туда сеу Мартиньо и сеу Антенора. Объяснил, что по новому, только что утвержденному закону гражданского кодекса старый ров и ровом-то не считается, а так — дождевая промоина... И, значит, новый ров — он и есть старый... И еще наплел им много чего в том же духе... Сказал, что по новым правилам в случае подобных тяжб должен прибыть на место целый отряд представителей правительства, которые все и решают... А издержки платит проигравший дело. Когда я об издержках заговорил, святая дева! Если бы вы только видели, сеньор майор, как они трусились! Одним словом, они предпочли сами во всем разобраться. На этом я их и помирил...

— Ну, что ж. Вы им всякой всячины наговорили, Бенигно тоже наговорит... Политику делать не так-то легко... Правда, что-то и останется на дне горшка...

— Ведь так, сеу Лаудонио? Я стараюсь, как могу... Не благодарным меня не назовешь. На чем же я остановился?.. Ах, да... Зная, что сеу Мартиньо — человек обидчивый и упрямый, я отправился к тому месту, где его плантация граничит с пастбищем папаши сеу Бенигно... Я там и камни бросал, и ножом резал — проделал огромную дыру в проволочной изгороди... а потом коров и лошадей с пастбища на плантацию выгнал. Никто этого не видал, то-то будет потеха! Так что теперь можете быть уверены: сеу Мартиньо взьется на старика, а там и на самого сеу Бенигно...

— Не очень-то я на это надеюсь... — проговорил майор, уже совсем успокоившийся.

А Лалино закончил невинным, ангельским голосом:

— Как видите, сеу майор, я все время был занят предвыборными делами, и мне некогда было ездить ко всяким испанцам... Да и что в них толку, они же не выбирают! Иностранцы лишены права голоса...

На несколько дней наступило затишье и в фазенде воцарился мир, потому что у майора сначала сделалась мигрень, а потом — приступ простатита. Когда боли прошли, он долго еще чувствовал слабость и проводил время полулежа в покойном шезлонге, ему было не до политических бурь.

Политическое командование округом теперь почти полностью находилось в руках дяди Лаудонио, который без лишнего шума навещал кого надо, а когда ощущал необходимость как следует что-нибудь обдумать, то растягивался на кровати. Иногда он заходил к майору с каким-нибудь сообщением, и тот каждый раз хмурился и ронял какие-то междометия. Но в последнее время это случалось редко. Вставая с удобно вогнутого шезлонга, майор брел в спальню и стоя раскладывал на комод пасьянс, он знал их множество, но неизменно раскладывал один и тот же, что свидетельствовало о глубокой мудрости майора, ведь развлечение такого рода должно быть как можно более традиционным.

А Лалино Салантиел тем временем околачивался поблизости, вечно окруженный наемной свитой, сочинял песни и пожинал аплодисменты, потому что, как и подобает войнам, люди майора любили, чтобы их деяния были зарифмованы и публично воспеты.

И вот как-то раз в минуту слабости Лалино попросил сеу Оскара сходить к Ритинье и поговорить с ней, сказать ей... нет, не говорить, а дать понять... чтобы она не подумала, будто... а еще и то, и это, и так далее.

На следующее утро сеу Оскар, добрый и верный друг, отправился к дому испанца, выждал момент и встретился с Ритиньей как бы случайно, когда она вышла к ручью поискать в прибрежных зарослях цесарочки гнезда.

Но у Марии Риты были вводящие в искушение глаза, ноги и волосы, и сеу Оскар поначалу обомлел и растерялся. Но тут же его осенило: он мигом решил бросить мулатишку на произвол судьбы и развернуть наступление в собственную пользу.

Совесть его была чиста, и укорять его никому не пришлось бы в голову, но Мария Рита сразу заподозрила другое — то, что должно было быть раньше, а в последнюю минуту переменялось, — и встретила его в штyki:

— Я все понимаю! Вас прислал ко мне этот бандит Лайо, верно, сеу Оскар?

Сеу Оскар, закоренелый игрок, прекрасно знавший, что идти надо с козыря — кто впереди, тот попадет к обедне! — решил, что тут самое время раскрыть свои карты и начал так:

— Нет, са¹ Ритинья... Муж у вас неблагодарный! Вы и думать о нем бросьте, не сумел он вас оценить... Такое золото не уберег! Бродяга он, распевает серенады здешним деревенским девкам...

Мария Рита не выдержала:

— Значит, он обо мне и не думает? И прекрасно. Очень он мне нужен! Теперь пусть хоть святым прикинется — не пожелаю его видеть!

— Правильно, са дона Ритинья! Именно так вы и должны поступить. Он вас недостойн... и этот испанец тоже... Клянусь, я никогда не видал такой красавицы, на вас нельзя смотреть равнодушно...

Мария Рита улыбалась, польщенная.

— Ах, дона Ритинья... Какие глазки... какие губки... Тут и рассудок недолго потерять, дона Ритинья...

Он подошел ближе.

— Не смейтесь, дона Ритинья! Сжальтесь... Ах! А что, если я попрошу у вас поцелуй...

Мария Рита отскочила назад, покраснев от ярости:

— Вы — такой же бесстыдник, как и все остальные, сеу Оскар! Мужчины все одинаковые!.. Если вы сейчас же не уберетесь, я позову Рамиро, он вас научит чужих жен уважать!

Сеу Оскар в замешательстве хотел было скрыться, но тут она сама его удержала, заплакала и сказала не то сердито, не то грустно:

— Послушайте, сеу Оскар, вы ведь меня совсем не знаете... Я не такая... я поступила плохо, но тут вина не моя! А нравится мне только Лайо, он один! Не стоит он того, конечно, да что поделаешь?! Можете сказать ему, неблагодарному, бесчувственному... Я с испанцем живу с горя, а настоящий мой муж — Лайо, и буду любить его даже в смертный час!

Сеу Оскар быстро ушел — он не выносил женских слез и причитаний. Не подозревал он, что, по неисповедимой

¹ Са — разговорная сокращенная форма от слова «сеньора».

воле providения, он наилучшим образом выполнил просьбу Лалино Салантиела.

Вернувшись на фазенду, страшно злой на Лалино, он, чтобы отомстить ему, разбил надежды нетерпеливо ждавшего мулата:

— Можете не беспокоиться, сеу Лайо! Она действительно любит испанца, я убедился... Ищите другую подругу жизни, эта для вас потеряна!

Лалино вздохнул:

— Таковы женщины, сеу Оскар... Что ж, когда занимаешься политикой, на нежности не хватает времени... Во всяком случае, я вам благодарен, сеу Оскар. Вы мне — как отец родной. Хотите послушать гимн, который я сочиняю в вашу честь?

Но сеу Оскар не пожелал ничего слушать. Оставив Лалино на террасе, он пошел к майору, пользуясь тем обстоятельством, что дяди Лаудонио не было дома.

Майор Анаклето как раз перечитывал — в двадцать третий раз — телеграмму, полученную от кума Виейры, муниципального префекта, со ссылками на телеграмму от секретаря по внутренним делам, учитывавшего замечания, сделанные президентом штата по поводу телеграммы от земляка-министра. Сообщение начиналось в драконократически-командологически-принудительном стиле, переходящем в кабалистически-статистический, затем соскальзывало на мессиански-загадочно-перифрастический и заканчивалось в кухонно-панибратском, так что и своим-то людям трудно дышать политическим воздухом, а уж чужие в нем совсем задохнулись. Майор Анаклето нюхал табак, держа в руке табакерку.

Вошел сеу Оскар.

— Теперь я понял, что вы были правы... Знал бы я...

— Вот видишь? Если бы у кума Виейры не открылись глаза на этих типов из Сете-Серрас, хороши бы мы были... как в лесу без собаки... Я так и думал. Счастье, что я договорился с кумом. В политике ведь добром ничего не добьешься!

— Вот именно. Вы всегда попадаете в точку. Как и с этим мулатиком, с Лалино... Я уже раскаиваюсь, что прошил вас...

— Сеу майор! Сеу майор! — Лалино ворвался в комнату, подталкивая жалкого на вид метиса, сплетника-соглядатая, который галопом примчался из Боа-Виста, чуть не загнав лошадь.

— В чем дело? Что случилось? Неужели еще кого-нибудь убили в Катрае?

Оглушенный шумом, майор встал, в нетерпении снимая с носа очки и пряча их в карман вместе с телеграммой, платком и табакеркой.

— Нет, сеньор майор, благодетель... Слава Господу нашему Иисусу Христу... — Человек ловил руку майора для благословения и поцелуя — В Боа-Виста... Сеу Сезарио переметнулся к нам!

— Как это произошло? Расскажи по порядку!

— Они там все теперь с нами... О Бенигно и слышать никто не хочет... Все будут голосовать за вас, сеу майор, благодетель!

— Я знал... Но почему же это случилось?!

— Потому что сынок сеу Бенигно, Нико... обесчестил, простите за выражение, сеу майор, благодетель... обесчестил младшую дочку сеу Сезарио... Родичи собрались, кричат: пусть женится, иначе — смерти! И ведь убьют, сеу майор! Сейчас сеу Сезарио сам сюда едет, с вами мириться, сеу майор благодетель.

Из-за спины метиса Лалино делал майору знаки, чтобы тот велел посланцу выйти.

— Хорошо, Бинго. Иди на кухню, там тебе дадут поесть. Потом возвращайся сюда и слушай внимательно, а сам помалкивай.

Едва метис переступил порог, Лалино Салантиел принялся неистово жестикулировать:

— Я же вам говорил, сеу майор?! Говорил? Вы теперь сами видите — все по-моему и вышло! Вот поэтому я и возил Нико в Боа-Виста, подбил его петь серенады и дарить цветы, влюбил его в Жининью! Я жизнью рисковал, сеу майор, ведь Бенигно мог меня застрелить — он не хотел, чтобы его сынок попал в дурную компанию. Но с любовью не шутят!

— Вы поступили очень неосмотрительно. Тут палка о двух концах! Если он на ней женится, будет еще хуже...

— Не женится он, сеу майор! Как ему жениться, когда сеу Бенигно хочет послать его в семинарию... Я посоветовал Нико скрыться... Он в надежном месте, сеу майор, сеу Оскар!

— Положим... но я подобных выходов не люблю... Не по совести это... Ведь бедная девушка будет страдать... верно?! Так не делают...

— Но, сеу майор, у меня и тут предусмотрен выход...

После выборов мы призовем парня к порядку, женим... Свадьба будет, как полагается... Ну, и рассвирепееет же сеу Бенигно! Праздник будет на славу!..

— Хорошо, сеу Эулалио. Вы достойны поощрения.

— Служу вам верой и правдой, сеу майор! Для меня честь служить такому человеку!

— Ладно, идите... Да, смотрите, не болтайте об этой вашей затее... ясно?

Оставшись наедине с сеу Оскаром, майор Анаклето продолжил беседу с ним именно с того места, где их прервали:

— Ты мне правду говорил, он хитер и предприимчив! Ты оказал мне хорошую услугу, притащив этого дьяволенка. Хвалю, сеу Оскар. Ты умеешь выбирать друзей, сын мой.

— Иногда удается... Я это и хотел вам сказать.

— Хорошо. Теперь поезжай в поселок, отправь телеграмму куму префекту. Ох, видел бы кто-нибудь, сколько хлопот доставляет политика... Еще зайди к Пайве, и в аптеку.

Сеу Оскар вышел, майор высморкался и снова опустил ся в шезлонг. Но вскоре появился дядя Лаудонио и принес потрясающее известие: в поселке только что узнали, что сегодня вечером здесь должен проехать, следуя из Оливейры, крупный политический деятель, депутат оппозиции. Сеу Бенигно отправился встречать его к реке. Имя деятеля точно выяснить не удалось.

— Если они посмеют сюда явиться, я им и воды напиться не предложу, слышишь? Собаками затравлю! — прорычал майор.

— Они мимо проедут... Что им здесь делать?

— Палками бы их! Вот было бы хорошо! Поэтому я и не люблю шоссейных дорог! По ним эта бешеная шайка рыскает во все стороны... А Бенигно, мерзавец, небось теперь заважничает. Речи будет произносить, нести всякую чушь. Слушай, а Эулалио не мог бы съездить в поселок? Может быть, удастся им помешать.

— Не стоит, брат Клето.

— Ну, не надо. Мы и так победим! Этот Эулалио тут такое устроил. Ты уже знаешь? Тебе Оскар рассказывал?

Майор поднялся и подошел к окну. Когда он подходил к окну, это далеко не всегда означало, что он желает полюбоваться пейзажем. Сейчас, например, он хотел как следует кое-что обдумать. Зная это, дядя Лаудонио ждал, ко-

гда майор обернется и опять спросит о чем-нибудь. Так и случилось.

— Послушай-ка, брат Лаудонио: это верно, что испанцы не голосуют?

— Верно. Не имеют права голоса. Они ведь иностранцы... Сейчас с этим строго.

— Аа... Да... Знаешь: пошли-ка еще досок священнику... для строительства часовни в Розарио...

— Уже послал.

— Черт! Вы мне и придумать ничего не даете!..

И он снова сел в кресло, намереваясь вздремнуть.

Через несколько часов майор в страхе проснулся: в доме стоял страшный шум, кричали женщины, а во дворе наемники майора потрясали дубинами, предвкушая очередную схватку; посреди толпы стояла миловидная молодая особа, вся в слезах, у нее были большие черные глаза загнанной лани.

Властный выход патриарха несколько утихомирил собравшихся, молодая женщина с воплем бросилась ему в ноги:

— Сжальтесь надо мной, сеу полковник, сеу майор! Не разрешайте им увести меня силой! Ради любви ваших детей, ради любви вашей супруги доны Виталины. Защитите меня, сеу майор.

— Разумеется, дитя мое... но не плачьте... Успокойтесь. Силой вас никто отсюда не уведет без моего приказа... Но сначала расскажите, что случилось... Кто вы?

— Я жена Лайо, сеу майор... Простите меня, сеу майор... Я знаю, у вас доброе сердце... Я такая несчастная, сеу майор... Рамиро, испанец, житья мне не дает... С тех пор, как Лайо вернулся, ревностью меня мучает... Я не люблю его, сеу майор, люблю одного только Лайо! Хороший он или плохой, не важно, мне он мил и все тут, сеу майор... Испанец извел меня ревностью. Увидал, что со мной сегодня сеу Оскар разговаривал, и решил, что Лайо его прислал... Побить меня хотел, изверг! Говорит — убьет меня, убьет Лайо, а потом и себя в придачу — совсем рехнулся. Вот я и прибежала просить вашего покровительства, сеу майор. Ради святой девы, не отдавайте меня испанцу, маленький сеу майор!

— Тише, дитя мое! — встаньте, вытрите глаза... Виталина, успокой ее, дай ей чаю... В конце концов... в конце концов она не виновата... Скверная вышла история, но Эулалио тоже не виноват... Безрассудный он, верно, но по

природе добрый. Ах, черт! Испанец тоже неплохой человек. Ладно! Тут только братец Лаудонио может что-нибудь посоветовать. Виталина, поговори с девочками, пусть они ею займутся, надо ее утешить. А вы, сеньора, можете спать спокойно, с вами ничего дурного не произойдет! Эй, Эстебан! Где сеу Эулалио?

— Сеу Лайо вышел... Пошел к реке...

— Беги за ним, скорее! Скажи — его жена здесь.

— Там Жука только что на грузовике проезжал, говорит — сеу Лайо водку пьет с приятелями в старой пивной, которая от стройки осталась. Пируют... Говорят, там важный кто-то на автомобиле приехал, остановился воды набрать да разговорился с сеу Лайо, слушает его, а сам доволен, смеется...

— Гром его разрази! Дьявольское отродье! Изменник! Предатель!

Рассвирепев, майор Анаклето топал ногами, скрипел зубами. Наемники на веранде смолкли, ждали приказа — в бой. Женщины вытащили Марию Риту в коридор. Только дядя Лаудонио, вернувшийся от ручья с удочкой на плече, сохранял спокойствие — его не так-то легко было вывести из себя.

Майор хрипел:

— Бандит! Собака!.. Ты слышишь, Лаудонио? Черт! Это же тот самый депутат оппозиции!.. Остановился... Конечно! Доволен... А то как же?.. Пьяный мулат разглагольствует, выболтал небось и о происшествии в Боа-Виста, и все, все... Мне даже и думать не хочется, что теперь будет... Прохвост! Теперь все насмарку из-за этого негодяя! Неблагодарный! А я-то хотел помочь ему, беспутному, с женой его помирить, испанцев выгнать. Но теперь я ему покажу! Он мне за все заплатит! Такую ему трепку задам, не уйдет!

— Успокойся, брат Анаклето. Не стоит слезы лить, не убедившись, что покойник действительно мертв.

— Какое! Глупости... Виталина! Виталина! Запрети девочкам находиться в обществе этой женщины! Я не потерплю в своем доме дурных примеров! Жена двух мужей! Безнравственно! Неприлично!

С трудом уведя майора в комнату, дядя Лаудонио велел принести настойку из апельсинового цвета.

— Успокойся. Может быть, все еще не так плохо.

И он пошел чего-нибудь поесть, потому что было уже поздно.

Темнело. С болота доносилось кваканье первых лягушек. Наемники с дубинами развели во дворе костер и устроились в кружок. Поужинав, дядя Лаудонио позвал майора на террасу:

— Видишь — автомобиль...

— Это они, Лаудонио... Вели им катиться ко всем чертям! Вели закрыть двери и окна! Мулатишку притащить и избить!

— Подожди... Смотри — он остановился.

Лалино выпрыгнул первым, помог выйти остальным. Три важных господина. Один толстый... другой пожилой... Третий в очках. Лалино повел их к террасе.

— Пойду погляжу, кого бог послал, брат Клето.

— Что им тут нужно?! Я не желаю иметь никаких дел с оппозицией, брат Лаудонио! Я не потерплю! Я...

— Тише, приди в себя! Сначала узнаем, кто они. Если войдут сюда, значит, люди мирные... Иди пока в комнаты. А я посмотрю.

Через минуту дядя Лаудонио кричал майору:

— Скорее, брат, никакая это не оппозиция, это правительство! Скорее, это его превосходительство сеньор секретарь по внутренним делам, он тут проездом, возвращается из Белоризонте.

Майор опешил и бросился, разинув рот, на бегу приводя себя в порядок, застегивая пиджак. Путешественники были уже в гостиной, и с ними Лалино — как всегда, готовый к услугам, непринужденный, он занимал их разговором.

Никогда ни в одной фазенде не принимали гостей так восторженно и сердечно, с таким бесконечным радушием. Майор превзошел самого себя, он задыхался от радостного волнения:

— Ах, какая честь, ах какая это для меня честь, Ваше превосходительство глубокоуважаемый сеньор секретарь! Такие высокие гости в нашей жалкой хижине! Распоряжайтесь!.. Будьте как дома... Здесь хозяева — вы... Дistinguished господа уже поужинали? Ах, какая досада. Минуточку, устраивайтесь со всеми удобствами. Прошу прощения, но я вынужден приказать правительству сесть... Надо же отдохнуть, ликер, кофе... Сейчас брат Лаудонио доложит о наших делах! Поездка Ваших превосходительств прошла удачно?..

Но их превосходительства спешили. Кофе они, так и быть, выпьют. Поездка оказалась чрезвычайно плодотворной.

творной, великолепной. Находиться в этих местах — одно удовольствие. Сановник улыбался, вел себя по-приятельски, похлопывая майора по плечу. Он просто не мог отказать, получив приглашение посетить фазенду. Сеньор Эулалио — тут секретарь особенно оживился — прямо-таки захватил машину на мосту. Как это мило со стороны майора — выслать сеньора Эулалио им навстречу. И раз уж об этом зашла речь, сеньор Эулалио — прелесть! С ним так забавно! Майор умеет выбирать своих людей... Да, майор во всем заслуживает одобрения... И когда он поедет в Белоризонте, пусть обязательно возьмет с собой Эулалио, который должен досказать им кое-какие истории, чрезвычайно пикантные, о своих похождениях в Рио-де-Жанейро и спеть парочку лунду¹.

За кофе веселились, изощрялись в любезностях, ворковали о политике, и все, решительно все в деятельности майора — стиль, система — получило полное одобрение. Время прошло с пользой. Потом стали прощаться — объятия от всего сердца, объятия от всего сердца...

Секретарь обнял также и Лалино, который открыл ему дверцу автомобиля.

— Всего хорошего, сеньор Эулалио. Служите всегда сеньору майору Анаклето — он великолепный и достойный руководитель. Когда он приедет в столицу, он обязательно привезет и вас...

Раскланиваясь со всеми одновременно, Лалино выделял такие пируэты, что чуть не упал.

Автомобиль растаял во мраке.

В болоте квакали теперь какую-то запутанную сказку о старом лягушачьем короле, который, умирая, объявлял легкомысленным подданным свое завещание. Король, как подобает всякой благородной лягушке, сидел развалившись, выставив огромный живот. «Когда я умру, кто позаботится о моих детях?» — «Не я... Не я! Не я... Не я! Не я... Не я!» (Пауза. Старый король выпускает последние пузыри.) — «Когда я умру, кто позаботится о моей королеве?» — «Я-я! Я-я! Я-я!»

Майор Анаклето позвал Лалино, женщины привели Марию Риту — мириться. Теперь майор смеялся, молодая женщина плакала от радости, а Лалино вдруг смутился.

¹ Лунду — народная бразильская песня африканского происхождения, обычно комическая.

Внезапно майор вышел на террасу и позвал своих наемников:

— Эстеван! Клодино! Зуза! Раймундо! Слушайте: завтра утром идите к испанцам и велите им убираться вон! И как можно скорее! Я заплачу им за ферму. Пошлю им денег. Но пусть уезжают подальше!

Наемники, сидевшие у костра, встали и, страшно довольные тем, что наконец и для них нашлось дело, запели:

Палка, палка, палка!
Палка из черного дерева!
Ты была у бандита-кабры,
чья же ты будешь теперь?

А лягушки спрашивали и отвечали, с разнообразными завываниями и поразительным единодушием:

— Шико? — Ньо! — Идешь? — Иду!
— Шико? — Ньо! — Идешь? — Иду...

В небесной выси зажглось, написанное переливчато мерцавшими звездами, веление судьбы. И майор вышел на террасу, уверенный и самодовольный, как человек, способствующий, не подозревая об этом, таинственному ходу событий, которые обязательно должны свершиться. И он крикнул:

— Смотри, Эстеван: если испанцы хоть пикнут, поддай жару!

— Само собой, сеу майор!

— Вадумают сопротивляться — огонь!

— Есть, сеу майор!

А на болоте — холодном и праздничном — продолжали ликующе квакать лягушки.

Полудинок

Тут пиранья цвета соломы
в гневе повысила голос:
— Как ножи, остры мои зубы,
и коль наскочу с разбегу,
все решится в одно мгновенье! —
Но спрут возразил: — Эко дело!
А мне и трудиться не надо:
когда я сплю, из песка я
щупальца выставляю,
и всегда, зазевавшись, кто-то
прямо в щупальца мне попадется!
— Ах, друзья! — извиваясь упруго,
заряжая свои батарейки,
процедил электрический угорь. —
Хоть мне страшно об этом подумать,
но если два-три заряда
я выпущу — даже вы оба
вмиг на поверхность всплывете,
дохлые, кверху брюхом...

(Разговор на двухметровой глубине)

Турибио Тодо, родом с берегов Боррашудо, был шорником; по описанию тех, кто его знал, из ноздрей у него лезли жесткие волосы, и, если, как говорили, и случалось ему пролить слезу, лицо его при этом никогда не меняло своего застывшего выражения. Еще говорили про зоб, которого

он стыдился, про то, что жизнь он вел бродячую, а нрав имел злобный и мстительный. Все же в начале нашей истории правота была явно на его стороне.

Местные жители в один голос его осуждают, но они не во всем справедливы. Зоб, например, у него действительно был, но совсем небольшой, всего из двух долек, в глаза не бросался и почти не двигался — разве что чуть-чуть вверх, вниз да в стороны, а то знаете, как бывает? «Зоб на пружине, ходуном ходит, милостыню просит»... К тому же никто зобатым не рождается и ради собственного удовольствия зобом не обзаводится, а приобретают его по милости большого лесного клопа, пожелавшего стать домашним насекомым и переселившегося с этой целью в прибрежные хижины, где у него, к тому же имеется много друзей-помощников, например «цирюльник»¹ или осы, коих здесь не менее пяти разновидностей. Скромный незаметный зобик, не способный бросить вызов скальпелю оператора, не слишком портил внешность своего хозяина, скорее напротив. Турибио Тодо, постоянно вынужденный носить воротничок и галстук, порой выглядел почти франтом.

Впрочем, сам он не очень этому радовался и занялся шорным делом, чтобы работать на дому и поменьше показываться на глаза людям. Но когда в наши места провели железную дорогу, а потом еще две автомобильные, сбруи и седла стали заказывать редко, и Турибио Тодо волей-неволей пришлось сменить оседлую жизнь на бродячую.

Что же касается волос в носу и застывшего выражения лица, то вряд ли это столь уж неоспоримые признаки злобности и мстительности.

Надо сказать, что наши деревенские жители довольно-таки своеобразно относятся к причинно-следственным связям. Так, Мануэл Тимборна вот уже года три-четыре не может переспорить лодочника с Рио-дас-Вельяс. По мнению лодочника, у желтозобого каймана шея цвета серы потому, что он кровожаднее других, а Тимборна твердит, будто кайман потому и свиреп, что у него под нижней челюстью шафранно-лимонная кожа. И более мирным односельчанам нередко стоит большого труда утихомирить сцепившихся спорщиков.

¹ «Цирюльником» называется в центральной Бразилии похожее на клопа насекомое, являющееся переносчиком кожной болезни, вызывающей язвы.

Итак, в нашей истории, по крайней мере в ее начале, а в таких делах по началу и надо судить, — прав был Турибио Тодо.

В тот день его с самого утра преследовали неудачи: он затемно отправился на рыбалку, но только на берегу обнаружил, что забыл дома табак, и пришлось ему, бранясь и дрыгаясь, сражаться с москитами; потом, споткнувшись о пень, он сильно ушиб правую щиколотку; а его самый большой крючок оборвался, зацепившись за корягу; домой Турибио возвращался злой, на палке у него болтались только две маленькие рыбы тимбура. Ясно, что все это предвещало более серьезную беду, которая не заставила себя ждать.

Впрочем, произошло-то все из-за нехватки у него житейской мудрости; он сказал жене, что не вернется ночевать домой — собирался добраться до рыбного места, что у Четырнадцати Крестов, и заночевать в Декамане, у двоюродного брата Лукресию, а потом передумал, не предупредив дону Силивану! Вот он и застал ее (простите за откровенность, но рассказ наш — чистая правда) в самый разгар нежнейшей, упоительнейшей и беспечнейшей незаконной идиллии.

К счастью, любовники его не заметили. Турибио Тодо имел привычку приближаться почти бесшумно; услышав голоса, он прильнул к дверной щели и при свете керосиновой лампы, горевшей в комнате, увидел происходящее. Однако Турибио ничего себе не позволил, узнав в сопернике Касиано Гомеса, бывшего ефрейтора 1-го взвода 2-й роты 5-го пехотного батальона полиции, — а их там учат под музыку стрелять из чешского автомата и даже из пулемета; тут запросто получишь пулю в лоб, пусть даже на сей раз стрелок без мундира, расстояние между ним и тобой — метров двести, а ты сам — мишень, плохо освещенная и подвижная.

Турибио Тодо мигом все это сообразил, ему было известно, что Касиано Гомес никогда не расстанется с парабеллумом, а у него самого сейчас при себе — только оскорбленная честь да ножичек — таким табак резать или кожного клеща выковыривать.

Как истый капиау¹, старожил здешних мест, Турибио Тодо, чем больше был озлоблен, тем обдуманней действовал; поэтому он отступил от дверей еще бесшумнее, чем

¹ Капиау — одно из названий жителя юга Бразилии.

приблизился, и пошел прочь — ходьба — прекрасное средство остудить кипящую ненависть, не хуже горшка с холодной водой.

Он поступил разумно, и был вознагражден тем, чем обычно вознаграждается в таких случаях человеческое существо под 19-м градусом южной широты и 14-м западной долготы: не сделал он и полдюжины шагов, как ему полегчало, и он принялся составлять хитроумные планы мести.

На другой день он возвратился домой, жене не сказал ни одного худого слова, велел заново подковать коня, собрал все необходимое в дорожную сумку, дав понять, что хочет поохотиться на паку¹, был весел и оживлен и улегся спать гораздо раньше обычного. Это было в среду, а в четверг поутру...

Высоки горы Мантикейры, прекрасны ее реки, привольны ее долины, и люди в тех краях живут добрые. Но мужчины всюду остаются мужчинами; они терпеливы в долгих изнурительных странствиях, что продолжаются почти с середины мая до конца августа, а их гарруши² стреляют как бы сами собой... И можно без труда схлопотать себе где-нибудь у дороги могилу с крестом — ветви у дикого банана растут симметрично, под прямым углом к стволу, нужно только отрубить лишние, оставив ровно две... А правда, что броненосец тату-пеба выкапывает покойников из могил? Да нет! То другой броненосец, что с гибким хвостом, разрывает могилы! А тату-пебе это ни к чему! Он и так всегда под землей, роет себе длинные извилистые ходы, по ним и добывается до покойника — мясо съест, а кости утащит далеко-далеко и бросит где-нибудь в новых вырытых им кривых подземных коридорах.

В четверг поутру Турибио Тодо счел свои приготовления законченными и отправился к дому Касиано Гомеса. Тот как раз стоял у открытого окна повернувшись спиной. Турибио был неплохим стрелком — пуля вошла точно в затылок. Выстрелив, он бросился домой, где его ждал привязанный к столбу конь, оседланный, сытый и отдохнувший.

Турибио ни одной минуты не помышлял убить еще и жену (у доны Силиваны были большие, красивые, глу-

¹ Пака — бразильская морская свинка.

² Гарруша — пистолет старинного образца, заряжающийся с дула.

пые козьи глаза) — как истый кавальейро он не мог обидеть даму, и потом, крови одного человека вполне достаточно, чтобы выстирать, выполоскать и высушить даже самую замаранную честь.

Теперь ему нужно было бежать, какое-то время выждать подальше от дома, и все прекрасно бы обошлось, как обходились многие другие подобные происшествия местной жизни.

Но... в тщательно продуманную и чисто выполненную операцию в самый последний момент вкралась небольшая ошибка, досадная оплошность, втавившая двух достойных людей в дьявольскую игру, чреватую далеко идущими последствиями. Дело в том, что Турибио Тодо, введенный в заблуждение сходством и целясь в спину, убил не Касиано Гомеса, а Левиндо Гомеса, родного брата своего соперника, который не был ни метким стрелком, ни полицейским и, по всей вероятности, не проявлял никакого интереса к чужим женам. Турибио Тодо узнал о своей ошибке, уже вложив ногу в стремя. «Ух! В галоп, тут иноходь не спасет», — подумал зобатый. Он вонзил шпоры и полетел, взметая гравий и поднимая пыль.

Касиано Гомес проводил тело брата на кладбище, бросил первую горсть земли и благодарно выслушал, кроткий и опечаленный, приличествующие случаю соболезнования. Потом он вернулся домой, накрепко запер двери и окна — к счастью, он был холост и жил один — и вышел, захватив зеленый плащ военного образца, винчестер и парабеллум. Он направился к Экзалтино Живущему за Церковью, который занимался продажей верховых лошадей и мулов. У него Касиано купил золотистого мула, предварительно осмотрев ему зубы, чтобы выяснить возраст; поторговался, доказывая, что мул не стоит таких денег, и находя у него все новые изъяны. Заключив наконец сделку и купив в придачу полную сбрую, он распорядился, чтобы мулу дали кукурузы и соли; а также чтобы его выскребли, вымыли и заново подковали.

Касиано уже совсем собрался в путь и приторачивал плащ к седлу, когда услышал, как Экзалтино Живущий за Церковью тихо сказал Клодино Черному:

— Считаю, что тому — крышка. Считаю, что Турибио Тодо уже лежит в могиле! Это — последняя заваруха, в которую ввязался зобатый...

Касиано подумал, покурил, прикинул так и эдак, проехался неторопливой рысью, еще подумал и уже в двух

километрах от поселка, на большой Северной дороге, вот до чего додумался: он знал, что у Турибио Тодо были родственники в Пиедаде-до-Багре или где-то в тех краях, туда он, верно, и махнул, еще не оправившись от потрясения, вызванного совершенным убийством. Больше ему податься некуда, и мчится он, конечно, галопом, во весь опор. Вот как попадет в Пиедаде — дальше-то ведь и мест таких нету, где бы доброму христианину пришлось в голову сделать привал — да отдохнет у своих, тогда небось снова осмелеет и захочет вернуться.

Во всем этом Касиано был совершенно уверен.

Теперь удирает, как олень от погони, а потом станет пробираться к дому, словно ягуар, на середине пути мы с ним и встретимся, и тут уже кто сильнее, тот и прав.

Итак, спешить Касиано некуда, поедет себе потихоньку, побережет мула и, не боясь растратить кипевшую в нем ненависть, по дороге приятно проведет время — поохотится в зарослях на лесных куропаток жао, а в полях — на перепелов и диких голубей.

Худые вести не лежат на месте, и Касиано полагал излишним заранее запугать Турибио. Встречая погонщика со стадом ослов или крестьянина, бредущего на маникоковую плантацию с мотыгой на плече, он останавливался, завязывал разговор и осыпал своего противника самой отборной бранью.

— Знаешь Турибио Тодо, шорника, зобатого? Ну, так он...— (Следовали оскорбительные намеки на незаконное происхождение Турибио и нелестные отзывы о его родительнице.) Однако о своих намерениях Касиано не говорил ни слова, расправиться с Турибио не грозил, только ругался.

Отчасти его расчеты оправдались. Турибио Тодо действительно прибыл в Пиедаде-до-Багре, вернее примчался, словно загнанный олень под лай десяти свор и рев охотничьего рога, но не прошло и дня, как он опомнился, поняв, что попал в ловушку — ведь за поселком начинался бескрайний сертан. Однако Турибио не повернул назад, подобно ягуару, чующему близкую смерть. Он только пересел с загнанной им, похожей на ослиху клячи на серого конька, белоголового и белоногого, и с хитростью лисы прикинулся, будто возвращается, а сам и не думал этого делать. Турибио поехал кружным путем, держа на норд-норд-вест, и забрался на самую вершину Морро-до-Гуара,

а может быть, Морро-да-Грасса. Этого Касиано не ожидал и упустил Турибио, сбившись со следа.

— Все равно не уйдет он от меня! — Касиано не думал отступать и продолжал погоню, надеясь теперь на счастливый случай — колода была перетасована и обоим приходилось играть другими картами.

Каждый из них понимал, что в этой игре главное — держаться в тени и захватить противника внезапно, врасплох; значит, нужно таиться, прятаться.

— Ясное дело! Кто на виду, тому и пуля, а стреляют-то из темноты!

На первый взгляд в худшем положении был Турибио Тодо, ведь гнались-то за ним. Но Касиано Гомес не очень обольщался на сей счет, он знал, что в любую минуту беглец может, разозлившись, поменяться с ним местами, к тому же иногда лучше, чтобы за тобой гнались, и кто с этим не согласен, тот не прав.

Вняв голосу благоразумия, Касиано теперь передвигался преимущественно по ночам, лесными тропами, делая большие крюки, избегая проезжих дорог, а днем отсыпался в самых потаенных местах. Ведь попробуй он только чуть зазеваться, успокоиться, перестань он спать вполглаза, петлять и пробираться сквозь чащу, проболтайся кому-нибудь о своих намерениях, — и зобатому коварства не занимать, это всем известно — тут же Касиано Гомес будет разбужен пулей или ударом ножа. Если, конечно, враг, выскочивший из засады, даст ему время проснуться.

Теперь, повстречав на дороге крестьянина — мандиокейро или кого другого, Касиано хитрил, прибегая к различным уловкам, чтобы нужное выведать, а себя не выдать; надо было не распускать слухи, а самому слушать, не упустить бы чего-нибудь о зобатом — тот ведь где-то неподалеку прячется, выжидает удобного часа.

А поскольку Турибио Тодо отличался еще большей изворотливостью и осторожностью, то в первые два месяца с начала этой истории слухи о противниках ходили скупые и невнятные, и никто толком не знал, где они в то время были, а где их не было.

Но приехав в Таирас, Касиано выведал в случайном разговоре, что враг его вернулся в Виста-Алегре: по жене соскучился. Поразмыслив и сделав выводы, Касиано не замедлил отправиться вверх по реке Гуайкуй, а затем перешел ее вброд вблизи озера Жекитиба, у живописного поселка, раскинувшегося на его берегах — водяные куроч-

ки высаживают там цыплят прямо в глубине дворов. А Турибио Тодо тем временем торжественно въезжал в Санто-Антонио-да-Коноа, где он даже осмелился принять участие в празднике Росарио, с театральным представлением и ярмаркой.

Приплясывая от ярости, Касиано развернулся и бросился назад, он летел напролом через дремучие заросли, мчался по избитым стадами дорогам, рвал провололочные ограды пастбищ, чтобы внезапно появиться в мирных поселениях горной долины. Но добровольные лазутчики подвели, и неподалеку от Сако-дос-Кошес противники разминулись — самое большее в километре прошли друг от друга, вооруженные до зубов, жаждущие расправы.

Дело в том, что Касиано Гомес, будучи в свои двадцать восемь лет более тонким стратегом, продвигался бросками, то отступая, то выжидая, как бы по спирали. А Турибио Тодо, как человек постарше, был сильнее в тактике и передвигался зигзагами, наподобие бабочки, ночной бабочки, потому что теперь он путешествовал ночью. Обладая при этом одним преимуществом перед Касиано — он знал местность как свои пять пальцев.

Так они продолжали бороздить лихорадочными линиями своих маршрутов расстояние радиусом в десять легуа в междуречье, образуемом Рио-дас-Вельяс, неторопливо несущей свои красные воды, которая то расширяется, то сужается, омывая песчаные отмели и острова, поросшие пышной зеленью, — она так приветлива, так ласкова, что кажется почти одушевленной — и Параопебой, полноводной, широкой, бесстрастной и неизменной, не знающей ни омутов, ни крутых берегов, обрамленной сверкающими слюдой пляжами, и глубокой — нигде брода не отыщешь.

Ни один из противников не отваживался проезжать густонаселенной местностью, провести две ночи подряд под одним и тем же кровом или открыто пересечь равнину у подножья холмов, но остановись они и задумайся о том, с чего началась вся эта история, кто знает? Может быть, и тот и другой дорого бы дали, чтобы из нее выпутаться, однако было уже поздно.

Держа путь на Кубу, на перевале, именуемом «Конским седлом», Касиано повстречался с нищим паломником, ковылявшим на чудовищно раздутых слоновой болезнью ногах; несчастный тащил на себе, исполняя обет, тяжеленную статую какого-то святого, обшарпанную до неузнаваемости.

Необычный путник навел Касиано на след: по его словам, зобатый тоже спустился с гор и идет по солнцу.

Касиано повернул обратно. Однако, спустившись в Сан-Себастьян, он готов был рыдать от досады: конокрад, угнавший в горы свой последний табун — он уже порядком заработал и возвращался домой, с намерением вести отныне честную жизнь, уверил Касиано, что Турибио Тодо теперь далеко, снова где-то за Рио-дас-Вельяс, то ли в Маросо, то ли в Балдине.

Тогда Касиано снова сменил коня, купил гнедого, темногривого, потому что у серого в чулках, на которого он уже успел обменять золотистого мула, вся спина была стерта и воспалилась, а мул хромотал на все четыре копыта.

Турибио Тодо, тоже сменивший к тому времени не то четвертую, не то пятую лошадь, все-таки рискнул появиться в поселке, стосковавшись по жене, доне Силиване — той самой, у которой были большие красивые глупые козьи глаза. Он провел с ней ночь, а в минуту расставания сообщил ей по секрету свой главный стратегический план.

— Почему бы тебе не уехать подальше, подождать, пока ярость у него не поутихнет?.. — настаивала жена. (У донь Селиваны порой рождались мудрые мысли.)

— Еще чего! Но поклянись, что никому не расскажешь!

— Клянусь светом божьим! Ты что, и мне уже не веришь?!

— Тогда слушай: я зобатый, но здоровья мне, слава богу, не занимать. А он мотается за мной по горам и лесам. Коней, будто цыган, меняет и не думает, что с его сердцем негоже так надсаживаться, ведь оно у него большое... Мне надо только тянуть время да размахивать красной тряпкой у быка под носом. Эй, бык! Я его, как на охоте, измором возьму...

При этих мужниных словах доне Силиване стало как-то не по себе; даже внутри у нее похолодело: она вспомнила, что Касиано Гомес не сам ушел из полиции: его забраковала врачебная комиссия. Вид-то у него бравый, а сердце никуда не годное.

Турибио Тодо купил новые подковы и сделал вид, будто заново подковал своего коня. Он проделал этот трюк, чтобы пустить своего противника по ложному следу; затем он отправился в Лажес, где один фазендейро предложил ему отъевшегося и отдохнувшего от напряженных переходов

серого в чулках, второго по счету коня Касиано. Не устоял Турибио Тодо, купил его, заплатил не торгуясь полуторную цену; и поехал на нем в Табокас, торжествуя и хохоча до упаду.

— Добрая лошадка, лошадка покойника... Наследство от него наперед получаю, чего ж еще желать!

И, обернувшись, показал кукиш невидимому врагу.

— На-кося выкуси, Жоан-дурачок!

Однако вскоре Касиано прослышал о намерениях Турибио: дона Силивана умудрилась проболтаться, а другие болтливые языки, заменяющие в глуши радио, позаботились довести ее слова до ушей Касиано.

В живописной долине, протянувшейся между Макинаэ и Риашу Фунду, где редко увидишь всадника, какой-то погонщик, собиравший разбредшийся скот, первым поспешил известить его:

— А Турибио ждет, что вы помрете от сердца, сеу Касиано. Не доставьте ему такой радости!

Касиано Гомес помрачнел, задумался, но потом ответил:

— Черта с два! Если бы он этого ждал, он бы помалкивал... Не думает же он, что я протяну ноги от одного только страха перед смертью!

И он заставил себя улыбнуться, чтобы скрыть леденящую сердце ярость, и свесился с седла, ослабив поводья и изогнувшись, словно хотел разглядеть за холмами, не собирается ли дождь.

Турибио Тодо сказал правду, но он правильно рассчитывал, что его враг в нее не поверит, — так оно и вышло; а Касиано Гомес ошибся во второй раз.

И затянувшийся поединок продолжался, пошел не то пятый, не то шестой месяц бессмысленной бесконечной погони.

В конце концов оба снова повторили, почти без изменений, свой прежний маневр, и снова их пути прошли совсем близко друг от друга, оба противника — на этот раз Турибио Тодо был впереди — поскакали от Рио-дас-Вельяс на запад. И, по всей вероятности, не было у них уже никакой определенной цели: а просто то ли шорнику пришло в голову пройти тем же путем, что и его враг, то ли Касиано Гомес, ради ясной головы отказавшийся было от кашасы, снова стал пить.

И вот, пока Турибио Тодо описывал дугу от Аруа до Седро, Касиано Гомес гнал напрямик, но их маршруты так

и не пересеклись: если линия, по которой скакал Касиано, оказалась касательной, то она прошла чуть впереди, а если секущей — то чуть позади возможной точки пересечения.

Потом они некоторое время ехали, можно сказать, почти рядом, параллельно друг другу, и оба предчувствовали, что близок час заупокойной мессы и скоро их странствиям придет конец.

Параллельные линии неожиданно пересеклись у переправы, где паромщик перевозил на другой берег скот и людей по четыреста рейсов с головы и где Параопеба, с шумом катясь меж пустынных берегов под ослепительным солнцем, широко разлила свои мутно-желтые воды.

Касиано, выгнав за хорошую плату все о своем недруге и удостоверившись, что теперь наступает Турибио на пятки, подъехал к реке под вечер.

— А что, если этот паршивый пес уже переправился?

Он пошел прямо на ранчо, где увидел лишь прислоненные рядами к стене дюжины две бычьих шкур. Сжимая пистолет, Касиано по очереди приподнял их. Вдруг он резко обернулся на шорох, готовый выстрелить. Но это был всего-навсего тщедушный мальчонка: он сосал длинный, похожий на бамбук кусок сахарного тростника.

— Ты не видел тут одного белого, зобатого, лошадь у него цвета кофе с молоком и в черных чулках? Не переезжал он на другую сторону?

— Нет, ньо. Не видел такого.

— А кто тут паромщиком?

— Отец мой. Он в Коаншу поехал за патокой... Завтра к утру вернется.

— Тогда иди и карауль у дороги... Но про меня никому не говори, понял? Если тот человек появится, беги сразу ко мне, я тебе денег дам, много, сколько захочешь.

Касиано разнуздал гнедого и оставил его, стреноженно, у зарослей аса-пейше, попасться среди редкой травы и кустов капим-шатиньо. Сам же спрятался под одной из бычьих шкур. Ведь Турибио Тодо не минует ранчо, коль надумает переправиться, и ему, Касиано, чертовски повезло, что он сюда пришел первым.

Когда совсем стемнело, он осторожно вылез из своего укрытия и прислушался, держа оружие наготове. Стрекотали сверчки, ухали совы, откуда-то из прохладного мрака ночи донесся собачий лай.

Метрах в пятистах внизу по течению Касиано разглядел костер. Он припал к земле, как в солдатские годы, выжидая, не покажется ли на фоне пламени силуэт зобатого — тогда только нажать на курок... Но вдруг совсем с другой стороны, откуда-то сзади, из зарослей бамбука зацелкали выстрелы; пули просвистели у самой его головы.

— Балда! — выругал себя Касиано и скорей погасил сигарету, смекнув, что его выдала красная раскаленная точка. Но тут с обочины дороги, где чернела приземистая крона «лошадиной розги», похожая на съжившегося тапира, тоже открыли огонь.

Касиано отполз назад и в три приема преодолел открытое пространство до гуашины¹, затем между гуашиной и ранчо и, наконец, между ранчо и толстой католэ². Скорчившись под пальмой, он притаился, высматривая хоть что-нибудь похожее на движущееся пятно.

Но что это? Стрелок из бамбуковой рощи и другой, спрятавшийся у дороги, под лошадиной розгой, теперь палят друг в друга? Каждый из них, выходит, сражается сразу с двумя противниками?

Впрочем, вскоре перестрелка стихла.

До самого рассвета Касиано не сомкнул глаз. Далекий лес спал, погрузившись в мирную тишину, только мутум³ криками отсчитывал ночные часы, подобно петуху. От звезд веяло холодом, который, казалось, пронизывал до самых костей. И с каждым часом все резче, ощутимее пахло мокрой зеленью. Но вот проснулись птицы, стало светать. Начался новый день.

Вдруг какой-то огромного роста широкоплечий детина вырос прямо перед Касиано, держа наготове серп, и прохрипел:

— Где твой зобатый сообщник?

— Я здесь один, как видишь...

— Не вижу!

Верзила, привалившись спиной к столбу, чтобы обезопасить себя от нападения сзади, и занеся руку с серпом для удара, снова прохрипел:

— Сколько вам двоим заплатил Рыжий Элиас, чтобы меня прикончить? Ну?

¹ Гу а ш и н а — растение, обладающее пригодным для ткачества волокном и лечебными свойствами.

² К а т о л э — разновидность пальмы.

³ М у т у м — название нескольких птиц разряда куриных.

— Убери-ка руки, дружище, не подходи!

Глядя в упор на незнакомца, Касиано втянул живот, все тело его подрагивало, будто он висел на шнурке, покачиваясь на ветру; теперь ясно слышалось легкое потрескивание прислоненных к стене бычьих шкур.

Они не отрываясь смотрели друг другу в глаза, выбирая момент для прыжка — еще немного, и завязалась бы жестокая схватка. Но тут Касиано вдруг очнулся и закричал:

— Постой! Что ты мелешь? При чем тут я? Элиаса Рыжего я знать не знаю, да и тебя тоже! Я сам гоняюсь за зобатым, у нас с ним свои счеты, а ты, видать, все перепутал!

Великан боевой позиции не изменил, но, сдвинув брови, задумался и опустил серп.

— А почему это я должен тебе верить?

Касиано понял, что надо убедить великана, и поскорее, иначе драки не избежать — и тогда Турибио, который небось торчит где-нибудь поблизости, придет на все готовенькое, будто на именины. И он сказал, отчеканивая слова:

— Я — полицейский Касиано Гомес из Виста-Алегре!

— Мм... Вот оно что! — пробурчал в ответ незнакомец и кивнул в знак согласия. В его голове, должно быть, все стало теперь на свои места... слышал он об этой ссоре, как же, он даже спрашивал у встречных, идущих на запад, не сделан ли уже последний ход... Вот дуруны! Принял их за людей Элиаса Рыжего, своего недруга из Сан-Себастьяна... Уж очень таинственно они появились... А рыжий Элиас уши всем прожужжал — не миновать, дескать, речной воде окраситься кровью.

Незнакомец оказался паромщиком. Приблизившись к Касиано, он долго разглядывал его с жадным любопытством. Затем уселся перед Касиано на корточки, отложил серп, достал из кармана сверток табачных листьев и прочие принадлежности для курения. И Касиано пришлось рассказать паромщику все, с самого начала, а тот только кивал, пуская пышные султаны дыма и время от времени задавал вопросы.

Касиано не терпелось расправиться с убийцей, который был теперь, наверное, совсем близко. И паромщик, сообразив, что ему лучше оставаться в стороне, посоветовал бывшему полицейскому побродить по окрестностям — впрочем, совет оказался напрасным: до самого обеда Турибио Тодо так и не появился.

— Испугался, видать, моей пальбы. Немало я свинца потратил!

— Да. Так я своего не добьюсь, только жизнь свою погублю. Лучше вернусь-ка я домой и подожду, покуда он не выдохнется.

Касиано Гомес обманывал себя, это он сам внезапно ощутил усталость — человек ведь не из железа, да и сердце стало давать себя знать.

И вот, на глазах у Шико-паромщика он сел на коня, и гнедой двинулся мелкой подрагивающей рысью, словно тоже был утомлен бесконечной скачкой и давно уже утратил свои лошадиные иллюзии.

Шико-паромщик ничего не сказал и отправился ловить рыбу. Но едва он успел вывести каноэ на середину реки и забросить снасть в воду, как с противоположного берега кто-то стал ему кричать и делать знаки. Сомневаться не приходилось — это явился зобатый.

Шико-паромщик, вытянув леску из воды, раз-другой сильно оттолкнулся шестом и развернул лодку к другому берегу.

Турибио Тодо, немного встревоженный, начал было расспрашивать его о выстрелах, но Шико, поглядев на него исподлобья, жестом велел взойти на паром, а сам принялся втаскивать коня, который упирался и норовил встать на дыбы. Потом паромщик отвязал цепь, оттолкнулся рулевым веслом, и паром — сооружение из четырех лодок со срезанными носами и настилом, огражденным сплошными перилами, качнулся и поплыл.

Турибио Тодо устроился поудобнее и опасливо следил за паромщиком краешком глаза. Оба молчали. Волны глухо ударялись о борт парома, железное кольцо скрипело вверх, на стальном канате, перекинутом поперек реки. Вода хлопотала — паром шел против течения.

Двое мужчин и лошадь не издавали ни звука. Лишь на самой середине реки паромщик мрачно уставился в лицо Турибио. Тот опустил глаза. Наконец Шико не выдержал:

— Тряпка ты, вот что, ни характера, ни твердости в тебе нет. Будь ты мужчиной, разве ты бы отступил?

— Я? Да я мирный человек, отец семейства! Ты что-то путаешь...

— Я все знаю. Удираешь, прячешься... Противно даже везти такого бесстыжего труса на своем пароме.

И он звучно сплюнул в воду.

Турибио Тодо весь подобрался, стиснул зубы; в глазах у него сверкнула ярость. Но у паромщика в руках был шест. С таким молодцом и на суше-то не стоит связываться, а посреди реки, да и не умея толком плавать,— и думать нечего! И Турибио Тодо сказал:

— Я тебя ведь ничем не обидел, чего ты на меня напустился? Каждый сам про себя разумеет... Неужели и ты с моим врагом заодно?!

— Да ладно, ладно... Упаси меня господь... Живи как знаешь... — нехотя отозвался Шико.

Запрокинув голову, он почесал под подбородком; поправил ворот рубахи; взглянул на стальной канат; пнул ногой моток веревки; потом снова стал исподтишка следить за пассажиром, не зная, чем бы еще заняться. Пролетела дикая утка, вытянув шею, сдвинув лапки, кренясь то на одно, то на другое крыло; вот она свернула прочь от парома, начала спускаться и, трижды крикнув, села на доски на берегу.

— Ого! Издалека, видать... Те, что живут поблизости, обычно садятся на отмелях... А лесная утка, перелетная, та, не останавливаясь, всю реку перемахнет и опустится только на другом берегу. Надо же! Я так думаю, это они чтобы получше оглядеться, куда их занесло... — Голос его звучал мирно. Турибио Тодо не ответил. Паромщик продолжал:

— Знаю я этих птиц и все их обычаи! Живут они то тут, то там, нигде подолгу не задерживаются. Иногда видишь — пролетит стая треугольником, верно, чтобы ветер не разметал. И летят они в свое урочное время, все у них отлажено.

Турибио притворялся, будто не замечает обращенной к нему добродушной улыбки паромщика. Быстрина рокотала, волны били в борта, на середине реки пахло свежестью, как во время дождя, от парома исходил смоляной запах дегтя.

— Пролетают здесь патурэ¹, а еще красноголовые утки... и турпаны с большим клювом... голубоватые, пестрые... заглядывают сюда и маленькие длиннохвостые турпанчики, свистуны... а еще ирера-цапли. Много их! Но не все перелетают реку, из ястребов — только большой, похожий на орла, хохлатый, из сертана. А назад никто из них не возвращается: верно, подстреливают их. Я-то птиц не уби-

¹ П а т у р э — гибрид утки и турпана.

ваю. Бывает, белый карапине¹ на другой берег перелетит, но только когда гонится за какой-нибудь птицей.

Жалко их, когда в засуху летят, еле-еле, видно, издалека... Утки, верно, думают, что это — река Сан-Франсиско, у той по берегам озера... Садятся тут среди бамбука. Лететь дальше у них нет сил, но и утомониться они не могут: машут крыльями, словно им велит подняться невидимый вожак... Думаю, многие из них погибают по дороге... Диковинно все это в природе устроено, а, приятель?

— Да.

Конь ударил копытом в перила. Шико-паромщик не унимался:

— Видная у вас лошадка. Иноходец? И хорошо бегают?

— Хорошо... — буркнул Турибио.

Он важничал, скрестив руки и полузакрыв глаза, наслаждаясь легко завоеванным авторитетом, носа он не задирали лишь потому, что зобатых это не украшает, но он упивался собственной значительностью и был теперь совершенно спокоен.

Берег приближался. Паром подошел к причалу. Турибио расплатился.

— Ну, с богом!.. — простился с ним паромщик.

— Аминь, — отозвался Турибио, уже сидя на лошади и повернувшись спиной. И тронул поводья.

Вначале дорога по невысокому, уходящему за горизонт плоскогорью, где с криками бегали стаи длинноногих сери², была ему хорошо знакома. Потом начались бурные безлесные равнины. Бурити-да-Эстрада. За ними — красивые земли, в просторечье — «говядина»; Помпеу... Еще дальше низкорослые пальмы-индаи почти над самой землей раскинули зеленые веера своих листьев. Папагайо... А он все ехал вперед, к югу.

Проезжая новыми местами, вдыхая незнакомые запахи, он вдруг почувствовал, что устал и жаждет отдыха. Пора покончить с этой нелепой погоней, пора вернуться к прежней жизни... «Этот — в круг, а тот — из круга!..» Пора... Турибио Тодо вышел из круга, довольно с него этой игры.

Теперь путь его лежал в горы. Он добрался до мест, где на смену проволочным изгородям пришли заборы из редких черных кольев. Поднялся еще выше. Теперь перед его взором предстали ограды, сложенные из темных камней

¹ Карапине — птица из семейства соколиных.

² Сери — птицы, близкие к журавлям.

еще руками невольников-негров. Господские дома в маленьких фазендах построены были без террас — их заменяло высокое каменное крыльцо с площадкой, выложенной плитами. Здешные жители ели черные бобы, а не красные. Встречали они его по-доброму, но были еще недоверчивее, чем земляки самого Турибио. И он понял, что оставил позади много легуа и немалое пространство отделяет его от дома. А перед ним западная часть штата Минас-Жерайс.

Он подъехал к реке — зеленой, таинственной. Той самой, которая внезапно, словно по волшебству, открывается взгляду путника, быстрая, извивающаяся в зарослях, словно змея.

— Эй, малый, как называется эта славная речка?

— Пара... Слыхали? А теперь давайте-ка скорее на тот берег, а то у нас тут лихорадка лютует!

— Ну нет! На тот берег я не поеду, я переправился уже через две большие реки, а кто третью пересечет, тот милую свою позабудет... Есть тут у вас какой-нибудь городишко поблизости?

— Есть — верхний поселок Санта-Ана-до-Сан-Жоан.

— Туда и поеду — жене письмецо pošлю.

По дороге ему повстречалась веселая толпа батраков, идущая из Баии на юг, на кофейные плантации Сан-Пауло. Один из них окликнул Турибио:

— Эй, старина! Пошли с нами в Сан-Пауло! Денег зарабатываешь... Там они дождем на землю сыплются!

Соскучился Турибио по жене. Но ненадолго-то отчего не попробовать. Жена может туда к нему приехать... И он пошел с батраками.

Вернувшись в родной поселок, Касиано Гомес объявил:

— Месть — дело непочтенное. С меня довольно. Да свершится воля божья.

Но когда он это говорил, рука его, будто сама собой, тихонько поглаживала рукоять ножа, и никто ему не поверил.

А пока что Касиано возобновил свои встречи с роковой героиней нашей истории, той, чьи козьи глаза становились, кажется, все больше, черней и глупей. И донна Силивана показала ему письмо, присланное из Санта-Ана-до-Сан-Жоан, а потом еще одно, тоже на листке в клеточку, с вложенным лепестком мальвы, на котором было нарисовано сердце, пронзенное стрелой. Письмо было ласковое, отправлено из Гуашупэ.

— Он уехал в Сан-Пауло.

— Ну и дурак. Мог бы куда не уезжать... Мой гнев перегорел. Если вернется, я его пальцем не трону... Можешь ему написать...

Но дона Силивана, томно взглянув на Касиано, ответила:

— Пусть он там и остается... Ведь так лучше?..

Она была права, женщины всегда правы.

Но видно, для солдата, демобилизованного по причине сердечной болезни, не проходят безнаказанно утомительные рейды, необходимые в беспощадной войне. Касиано чувствовал, что теперь его даже при самом небольшом усилии сковывает усталость. После полудня он не мог ходить в ботинках — отекали ноги.

Касиано пошел к аптекарю и попросил сказать ему всю правду.

— Всю как есть, сеу Касиано? Ладно... Если у вас отекают к вечеру ноги, а не глаза — дело плохо...

— Я скоро умру?

— Не то чтобы очень скоро. На будущего святого Жоана. А станет хуже, так и к рождеству...

— Что ж, спасибо. Здоровье — дело божье, сеу Раймундо...

— Все под богом ходим, сеу Касиано!..

И Касиано Гомес решил: продам все и поеду в Паредан-до-Урукуя, проститься с матушкой... А потом махну на юг и захвачу Турибио в Сан-Пауло или где-нибудь еще. И он простился со всеми, зная, что никогда не вернется.

В пути ему стало хуже, пришлось остановиться в Москито — глухой деревушке, затерянной между холмами, где дюжины три домишек лепилось по склонам живописной лощины, благоухавшей росшим здесь петушиным зерном, суриси, гуабиробой, где коровы лизали стены хижины, нежно шелестела на легком ветерке листва казуарины, а у дверей росла тенистая жатобá¹. Словом, такое местечко, что остановишься — да, пожалуй, и останешься там навсегда.

Тут болезнь и набросилась на Касиано, сердце у него совсем почти отказало. Сняли его с коня, дали приют. Он лежал на топчане, придавленный огромным раздувшимся от водянки животом, и дышал тяжело, будто гончая собака после охоты.

¹ Ж а т о б á — дерево семейства бобовых.

Потом ему полегчало. Он скрипел зубами, думая о Турбибо Тодо. Слава богу, деньги у него были. И он стал расспрашивать, нет ли поблизости храбреца, который мог бы обделать одно дельце... Мол, он и тысячи рейсов не пожалеет...

Храбреца не нашлось. Неудачное выбрал Касиано место для болезни — вокруг одни тщедушные, желтые от лихорадки оборванцы, к тому же трусоватые, смирные и ленивые. Они и железной дороги-то никогда не видали. Куда уж им до кровавых подвигов — здесь ни у кого на совести не было убийства:

— Пусть сеньор нас простит, но губить себя никому неохота...

— А можно найти кого-нибудь по соседству?..

— Поблизости для такой услуги никого не сыщешь...

— Тогда я сам поеду! Прощайте!

Но он не сделал и трех шагов — зашатался и вынужден был сесть у самых дверей хижины; и так, сидя, согнувшись в три погибели, проводил он целые дни, но, по привычке, держал за плечом винчестер, а под рукой — парабеллум.

Вокруг все наводило тоску, а по вечерам и вовсе становилось тошно от стрекота цикад. Бродили свиньи с деревянными рогатками вокруг шеи, не позволявшими им пролезть сквозь дырявую изгородь в поле. Кудахтали куры, загоняя цыплят под кусты айвы; белые длиннохвостые птицы взлетали на ветви мулунгу¹, усыпанные большими красными цветами.

Мимо Касиано проходили местные жители; женщины в подоткнутых юбках несли на голове кувшины с водой, набранной в ручье; дети с раздутыми животами бросались камнями в животных или набивали себе рот землей; шли мужчины с мотыгой или серпом, одни подпрыгивали на ходу, приплясывали, другие еле тащились на подгибающихся от усталости ногах, третьи неуклюже переваливались, словно гуси.

Как-то раз Касиано увидел, как Тимпина, тщедушного низкорослого парнишку, колотит его брат — пользуется, подлец, своей силой. Касиано позвал:

— Эй, подойди-ка сюда!

Думая, что зовут его, к нему подошел брат Тимпина, но Касиано закричал на обидчика:

¹ Му л у н г у — дерево с большими красными цветами.

— Пошел прочь! Ишь, какой храбрец выискался! Пошел отсюда и лучше на глаза мне не попадайся!

Наконец к нему подошел сам Тимпин — выглядел он туповатым и запуганным.

Касиано заговорил с ним:

— Подойди-ка поближе, парень. Как тебя зовут?

— Антонио... Но если будете звать меня моим настоящим именем, никто и не поймет, что это вы про меня... Все зовут меня «Тимпин», хоть мне это и не нравится... А то еще называют «Двадцать Одно»...

Касиано засмеялся было, но тут же умолк, зашелся в кашле.

— Двадцать Одно! Потеха! Как это человеку дали такую кличку?

— Это мое второе прозвище. У матушки, видите ли, было двадцать одно дите, а я — последний... Вот меня так и называют.

— А кто этот верзила, который тебя колотил?

— Он хотел отнять у меня спелую маниоку... А я не отдал, я жене несу, она позавчера родила, а дома совсем есть нечего!..

— Вот ты какой, Двадцать Одно! Ты еще и женат?! Это у тебя первенец?

— Нет, сеньор, это уж третий... Первый-то года не прожил, а вторая, девчонка, мертвой родилась!

— Волосы у тебя копной, и брови срослись, как у настоящего храбреца, что же ты ему сдачи не дал?

— Мне матушка наказывала, чтобы я на старших братьев руки не поднимал... А они у меня все старшие, вот и дерутся.

Касиано внимательно всмотрелся в паренька, оглядел его с головы до ног, а затем еще раз — с ног до головы.

— Вот ты какой, оказывается — железный!.. Ты, значит, никогда не гнешься? От своего не отступаешь?

— Нет, ньо... вроде нет... Не знаю.

— Тогда вот тебе деньги, купи кур своей хозяйке и завтра приходи снова.

На следующий день Тимпин приятно удивил Касиано: принес новорожденного и попросил благословить его. Ребенок был замотан в теплые тряпки, вместо соски изо рта у него торчала «куколка» — смоченная пчелиным медом тряпица. Тимпин горделиво выставлял наследника напоказ, и когда кто-нибудь хвалил славного малыша, тревожно

просил добавить: «Да благословит его бог!» Иначе и соглать недолго.

Младенец и вправду был хорошенький и забавный, и когда он уставился своими глазенками на Касиано, тот совсем размяк при виде такого беспомощного существа.

— Неужели я перед смертью так и не увижу мою родную матушку?! — бормотал он, всхлипывая.

Потом Касиано попросил отнести его в постель, душа его словно очистилась, что ни говори, а поплакать всласть — великое дело.

Полулежа, полусидя на топчане, опираясь на гору подушек, тряпья, старое седло — все это принесли сердобольные женщины, — задыхаясь, то и дело меняя положение, чтобы глотнуть хоть немного воздуха, он оставил наконец в покое свое оружие и принялся ждать смерти.

Вокруг все по-прежнему пребывало в мирном оцепенении, лесные голуби кричали «огонь погас!», пели гуатурано, тоскливо мычал скот. Покой окружающей жизни смягчал душу Касиано Гомеса, а лицо его все больше отекало, вокруг губ проступала синева; сердце почти не билось.

Он просил, чтобы около его ложа молились старухи. И чтобы дети, маленькие дети играли поблизости; он давал им деньги. А сам лежал молча, считая и пересчитывая балки, черные от сажи, и следил за пауками, спускавшимися и поднимавшимися по сотканным ими нитям. Впервые за эти месяцы Касиано вспомнил о своем убитом брате, а ведь это за него он хотел отомстить Турибию Тодо. Обратились его мысли и к небесам — до сих пор у него не было времени о них подумать.

Однажды, когда ему стало хуже и он попросил открыть окно, чтобы впустить вездесущее солнце, в хижину вошел заплаканный Тимпин — глаза у него покраснели, и он громко хлюпал носом.

— Что с тобой, Двадцать Одно?

Заболел малыш, ему совсем плохо, того и гляди умрет, а чем ему поможешь, когда такая бедность... Слезы у Тимпина полились в три ручья.

Касиано спросил:

— Скажи, Двадцать Одно, а в Абоборасе есть доктор?

— Есть, да какой от этого толк, господи! Я ведь гол как сокол, разве я могу заплатить сеньору доктору по тридцать тысяч рейсов за каждую легуа, чтобы он согласился сюда приехать? Мне привезли от него рецепт, и остаток денег, что вы мне дали, весь ушел в аптеку, на разные зелья.

— Вот тебе деньги. Привези доктора. Купи лекарства и все необходимое. Если понадобится, я дам еще.

Тимпин глядел во все глаза, боясь поверить. Вдруг он зарыдал еще громче и бросился на колени перед Касиано, ловя его руку, чтобы поцеловать ее, бормоча слова благодарности и благословляя своего благодетеля.

— Пустяки... Оставь! — Касиано уклонился от поцелуя. — Я хочу, чтобы врач заодно и меня осмотрел. А еще привези и священника, не мешает мне исповедаться...

Тут Тимпин бросился целовать ему ноги и, продолжая причитать, воскликнул:

— Да воздаст вам господь, сеу Касиано Гомес! И отплатить-то вам я ничем не могу... Сынок мой крещен в час рождения, иначе быть бы вам его крестным отцом!.. Но, если вы только пожелаете, мы и так кумовьями будем считаться, а ваших благодеяний я никогда не забуду!..

Тут и Касиано не сдержал слез, потому что быть добрым гораздо приятнее, чем злым, — и обнял его, сказав:

— Это для меня самая дорогая плата, кум Двадцать Одно...

Касиано Гомес и вправду чувствовал, что душа его утешилась добрым делом.

Приехал врач; прибыл и священник. Касиано исповедался, принял святое причастие и долго молился.

Что же ему делать с остальными деньгами? Послать матери? Нет, ей они не нужны. И Касиано попросил позвать Тимпина. Они долго о чем-то беседовали. Уже еле слышно умирающий произнес:

— Все эти деньги — твои, кум Двадцать Одно...

Тут на лице его появилось счастливое выражение, он мысленно простился с той, что произвела его на свет, и, сжимая в пальцах образок Скорбящей Богоматери, испустил дух и отправился на небеса.

Турибио Тодо узнал сию приятную для него новость из письма жены, в котором она, не жалея ласковых слов, звала его домой. К этому времени он уже хорошо заработал, и письмо убедило его вернуться: он купил чемодан, запасся подарками, повязал шею зеленой косынкой, чтобы скрыть зоб; надел блестящие рыжие туфли и поехал.

Когда он спрыгнул с поезда, кроме всего этого у него еще был мундштук, часы-браслет, добротный костюм и новое отношение к жизни. До дому ему предстояло целый

день ехать верхом, и он очень торопился: его призывали красивые большие глупые козьи глаза доны Силиваны. Ему даже недосуг было купить коня — взял на время; наспех пообедал — и в путь.

Вот уже первая легуа позади. Радость освобождения захватила его, он даже не замечал налетавшего временами дождя — погода стояла изменчивая, то пойдет косой дождь, то снова солнце, такие дни называют «лисей» или «вдовой свадьбой».

Вдруг он услышал позади неровный конский топот. Турибио съехал с дороги, укрылся под раскидистой сукупирой и стал ждать.

Показалась пегая лошаденка, то ли конь, то ли кобылка, с уродливо толстыми мохнатыми бабками, а в седле — крошечный человечек.

Всадник осадил коня, чуть не наехав на Турибио, — кляча всхрапнула, клочок белой пены упал зобатому на рукав.

— У твоей лошади насморк, что ли, парень?

Турибио Тодо указал кнутом на конские ноздри — они вздрагивали и были словно вымазаны яичным белком.

— Нет, ньор... Застоялась она, давно под седлом не ходила. Устает быстро.

Капиау широко улыбнулся обломками зубов и уставился на Турибио, который тоже его рассматривал, с трудом сдерживая смех.

Вместо плаща человечек был обряжен в холщовый мешок, распоротый с боков, а голова была просунута в дыру, сделанную в дне мешка; причудливое одеяние спадало сзади и спереди широкими складками, словно риза священника во время мессы. Незнакомец был бос, но к щиколоткам у него были прикручены огромные шпоры, а вместо кнута он держал в руке прут.

У пегой лошаденки, все-таки оказавшейся конем, хвост был завязан узлом, грива коротко подстрижена. Топкий сопливый конек выглядел таким же нищим, как и его хозяин: вместо узды на нем был недоуздок; седло — деревянное, вьючное, с одним оторванным стремянем; подхвостник и нагрудный ремень отсутствовали.

Крошечный капиау достал листовой табак и нож, что по дорожному обычаю сертана означало желание вступить в разговор. Но Турибио Тодо торопился.

— Если тебе в эту сторону, тогда поехали вместе.

— Да, ньор.

Их лошади пошли рядом.

Маленький незнакомец бросил поводья на шею своего пегого, который изо всех сил старался поспевать за иноходью соседа, и принялся крошить табак, аккуратно собирая его в ладонь.

Турибио глядел на него не отрываясь, все в человечке его забавляло — лицо, жесты, лошадь, шапка вшивых волос, балахон. Но было в нем нечто, что располагало в его пользу, и Турибио предложил ему пачку сигарет.

Паренек протянул было руку, но тотчас резко ее отдернул.

— Премного благодарен. Я свои курю, соломенные. Привыкли мы к нашей скудости.

«Вот чудной-то!» — подумал Турибио Тодо. Человечек высек огонь, затянулся и выпустил длинную струю дыма, словно собираясь с духом.

— Не считите за обиду — не вы ли будете Турибио Тодо, шорник из Виста-Алегре, возвратившийся из дальних краев?

— Он самый, прямо из Сан-Пауло... Как ты узнал? Я только сейчас приехал.

— Мне в лавке сказали.

Турибио рассмеялся. Этот дремучий капиау нравился ему все больше.

— Почему бы и тебе тоже не поработать на юге? Деньги получишь, жить научишься. Здесь-то у нас не жизнь, а темнота, нищета, страх один! Если надумаешь, я тебе скажу, как это сделать, да и деньгами помогу.

— Куда нам! Здесь родились, здесь и останемся.

И, будто смутившись и желая переменить разговор, капиау указал на дерево.

— Поглядите-ка!

На самых верхних ветвях каучукового дерева ланди резвилась маленькая обезьянка. Это был мохнатый сагуй, он прыгал, кривляясь и повизгивая. Всадники остановились. Турибио Тодо вытащил револьвер, прицелился. Обезьянка притаилась за стволом, изредка высывая мордочку — поглядеть, что будет. Турибио смягчился и засунул револьвер за пояс.

Обезьянка тотчас соскользнула вниз и перепрыгнула на мимозу виньятико, оттуда на «семь одежек», а с него на жекитибá, спустилась по как бы состоящему из пяти сросшихся канатов стеблю крестовой лианы, пробежала по огненному шнуру солнечных цветов кошачьего когтя, взле-

тела на высокий анжелин и, исчезнув в его кроне, издала дразнящий крик.

— Отпустим бедняжку! К чему убивать лесных зверушек? Они тоже жить хотят... Вот в Сан-Пауло, однажды...

— А сколько вы, сеньор, за коня отдали?

Турибио Тодо обернулся, обеспокоенный и удивленный — ведь его спутник, такой, казалось бы, робкий и жалкий, уже второй раз перебивал его.

— Коня я взял на время. Ну поехали. Это что, Рес-тинга?

— Нет, ньор, это Киломбо.

Несколько соломенных хижин у дороги, среди банановых деревьев.

— Поедем-ка побыстрее, приятель, очень уж мне домой не терпится!

Путники вброд переправились через ручей. Какой-то старик с мешком на плечах шел им навстречу по перекинутым доскам, хотел поздороваться с ними и чуть не упал в воду, с трудом сохранив равновесие. На другом берегу, гладком и илистом, сидели большие желтые бабочки, неподвижные, словно осыпавшиеся лепестки цветов на земле в праздничный день.

Лошади, стоя почти по колено в быстром ручье, пили, склоняя шею. Рыбки пиабинья стремглав проносились стаями или застывали, слегка шевеля хвостиками и жабрами, в прозрачной воде, которую жадно глотали лошади.

В воздухе разливалась приятная свежесть. От холма тянуло запахом мхов, «лесной бороды»¹ и прелой зелени.

Седло было покойным, мягким, а журчание — баюкающим, и Турибио расслабил ноги в стремях и растроганно следил за стрекозой, которая парила, сверкая крылышками, и уселась наконец на узелок уздечки.

Человечек тоже притих, задумался, глядя, как под лошадиными ногами со дна поднимается ил и вода становится мутной. Напившись, лошади сами пошли дальше.

— Вот счастье-то!.. Скоро снова жену увижу, сколько времени уже с ней в разлуке... Думаю, завтра к вечеру доберусь до поселка, она там живет у своей матери. Если согласится, уедем с ней вместе в Сан-Пауло... Хочется отдохнуть хоть немного, жизни порадоваться... — сказал Турибио Тодо и даже вздохнул от полноты чувств.

— Не выйдет, сеу Турибио Тодо. Простите за грубое

¹ «Лесная борода» — разновидность лишайника.

слово, но жизнь наша — просто куча навозная! Так что не стоит радоваться... Не стоит, говорю вам...

— Нить понапрасну тоже не надо...

— Кругом — одно страдание... Жизнь — горе горькое... Не стоит радоваться!.. А потом, ведь все равно помирать придется...

— Знаешь что, приятель? От таких мрачных мыслей и заболеть недолго, надо тебе от них избавляться, — посоветовал Турибио Тодо.

Капиау замолчал. Угрюмый, подавленный, он, казалось, тащил на себе все тяготы мира.

Они поднялись на холм, спустились с холма; дорога нырнула в темное безмолвие густого леса. Одна из лошадей всхрапывала, сдерживаемая удилами. С ветвей, хлеставших всадников по лицу, осыпались капли недавнего дождя. Внезапно Турибио Тодо вздрогнул — его спутник скомандовал неожиданно громким и твердым голосом:

— Сеу Турибио! Спешивайтесь и молитесь, потому что сейчас я вас убью!

— Что? Как? Ты с ума сошел?

Но забавный человек был суров и бледен, его правая рука сжимала старую гаррушу с двумя зловещими дулами.

— Быстрее, сеу Турибио!

Теперь капиау говорил мягче, но смотрел по-прежнему сурово.

Тут только Турибио Тодо, глядя на него, снова обрел дар речи:

— Прочь, собака, в куски тебя изрублю!

— Не кричите, сеу Турибио, не поможет... Прошу прощения у господ бога и у вас тоже, но мне иначе нельзя, я дал обещание куму моему Касиано, в Москито, в час, когда он закрыл глаза.

Услышав имя своего врага, Турибио Тодо окончательно растерялся. Допотопный пистолет дрожал в руке маленького капиау. Турибио тоже начал дрожать.

— Сколько он тебе заплатил? Я тебе заплачу вдвое, все отдам, что у меня есть!

— Ничего не поделаешь, сеу Турибио. Кабы не господь бог да не сеу Касиано, не жить моему сынишке. Я обещал это сеу Касиано, когда он уже лежал на смертном одре... Жаль мне вас, но ничего не поделаешь... Иначе нельзя...

Потрясенный, Турибио смотрел на него широко открытыми глазами, ощущая весь ужас положения, когда нет времени, чтобы найти выход.

— Послушай... У меня тоже семья... у меня...
— Спешивайтесь, сеу Турибио...
— Ради пресвятой Богородицы! Ради твоего сына! Не надо... Бог тебя накажет!.. Не убивай меня...
— Молитесь, сеу Турибио, я не хочу губить вашу душу!

Охваченный отчаянным страхом, Турибио протянул к нему руки.

— погоди! погоди! не стреляй...

Он поднес руку ко лбу, осеняя себя крестным знамением, в его голосе уже дрожали рыдания:

— Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь! Отче наш...

Но нет! Он не даст себя убить, как барана! Турибио извернулся, выхватил револьвер, дернул повод и пришпорил коня, подняв его на дыбы.

Но старая гарруша не дала осечки. Турибио Тодо повис выбитый из седла, одна пуля вошла ему в левую щеку, другая в лоб. Лошадь понесла; нога покойника выскочила из стремени. Тело грохнулось на живот, перевернулось и легло на спину плашмя.

Тогда маленький капиау Тимпин Двадцать Одно тоже прочитал «Отче наш» и пришпорил коня. Пегий взял с места в галоп и помчался по узкой тропинке, петлявшей между итапикуру и курительными деревьями, в сторону от большой дороги.

Святой Марк

Вижу как-то раз: на пальме примостился старикан;
но взгляделся — это вроде бы кокосовый орех...
Нет, пожалуй, я ошибся — это обезьянья плешь,
ближе подошел и вижу — это старый обезьян!

Я жил тогда в Каланго-Фрито и не верил в колдунов.

Это было, конечно, странно, потому что в ту пору я еще принимал всерьез все наши местные суеверия, да и не только местные, а все известные, как-то: не дай бог соль просыпать, или со священником в поезде ехать, или помянуть молнию — разве что назвать ее «искрой божьей», и то при хорошей погоде; вместо «проказа» надо говорить «хворь»; не следует ступать через порог левой ногой; не к добру услышать отрывистый хохот совы суиндары, а также повстречать птицу с голой шеей или черного пса, козла, петуха, а пуще всего — безобразную женщину, — не миновать беды. Так вот, именно в ту пору я мог бы заявить, что соблюдаю двенадцать личных табу, не нарушаю ни одного из восьми предосторожностей против печистой силы; верю в двадцать дурных предзнаменований; в шестнадцати случаях непременно стучу по дереву; в десяти других — складываю неаполитанскую фигу, по всем правилам, так, чтобы

кончик большого пальца был хорошенько спрятан; еще исполняю пять или шесть более сложных обрядов, — итого, ровным счетом, семьдесят два, сущие пустяки.

А еще у меня с собой всегда была заветная грамотка — тринадцать согласных букв, разделенных тринадцатью точками, списанная в страстную пятницу в полночь и предохранявшая от укуса змеи — даже если наступишь на голодную гремучую змею или на зобатую жарараку, выползшую в лес поохотиться. Я, правда, не заказал для чудодейственной грамотки ладанку из красной байки — это было бы уж слишком, а носил ее вчетверо сложенной в бумажнике. Но без нее я ни за что не отважился бы пробираться по зарослям, особенно увитым лианами. Теперь-то я понимаю, что был тогда суевернее всех, даже самого Сатурнино Пингапинги, который, как вы все знаете, ошибся дверью и переночевал у чужой жены, а также вылечился от удушья, поносив в кармане рецепт, потому что у него не было денег купить прописанное лекарство.

Но в колдунов я не верил. Больше того: смеялся над всеми этими горе-кудесниками; над тетужкой Толентиной, наживавшейся на продаже пирожков с мясом из теста, замешенного косточкой умершего невинного младенца; над обычаем закапывать перед домом монеты и пряди волос; над жабой, которой запихивают кусок освященной просфоры в рот и зашивают, чтобы не выплюнула, затем кропят святой водой, посыпают могильной землей, секут до полусмерти и, наконец, прячут среди черепиц на крыше; смеялся и над старым Жоаном Манголо, бывшим солдатом, добровольцем Парагвайской войны¹, тайным жрецом Ориша², великим мастером ворожбы, порчи, отвода глаз, приворотных и прочих заговоров и наговоров.

Да... Так вот, са нья Рита Черная, кухарка, неустанно твердила мне:

— Не веруете — воля ваша, а смеяться не надо!

А я смеялся каждое воскресенье, ведь самая удобная тропа в лес Трех Вод, куда я ходил гулять, шла как раз мимо хижины Манголо, над которым я подшучивал уже просто так, по привычке, чтобы выглядеть значительней

¹ Парагвайская война (1864—1870) — велась Бразилией, Аргентиной и Уругваем против Парагвая и закончилась полным разгромом последнего.

² Ориша — одно из второстепенных божеств афро-бразильского языческого культа.

в своих собственных глазах, а негр в ответ на мои насмешки даже улыбался; думаю, я его развлекал.

Чтобы вразумить меня, са няя Рита Черная, моя служанка, рассказывала такую историю: «...и прачка вошла, чтобы забрать грязное белье. Вдруг она как вскрикнет, да так и села на пол, и обеими руками за ногу держится. Здорово ее скрутило!.. Мы все сбежались, глядим — и ничего не видим, ни ушиба, ни занозы, ни ожога, ни осинового укуса, ни клеща, ни нарыва, ни гноиника! Никакой даже царапинки нет — а она знай орет, и никакие средства ей не помогают! Ни горячее ангу¹, ни втирания, ни припарка из табачных листьев с уксусом, ни арника, ни камфора! Тут прачка вспомнила, что вчера она поссорилась со старой Сезарией, и мы послали к той сказать, что прачка у нее просит прощения. И как только посланный прибежал к старой ведьме — тут и боль прошла, будто рукой сняло... Потому что Сезария вытащила иголку из ноги воскового идола, которого она изготовила потихоньку, в семь приемов, в полночный час: «Я такую-то сотворю!.. Я такую-то сотворю!..», а потом, взяв иголку: «Я такую-то проколю!.. Я такую-то проколю!..»

Черт знает что! В Каланго-Фрито дети, и те занимались колдовством. Учитель, видите ли, бил их линейкой и шелкал по головам; и Деолиндиньо, мальчик лет десяти, решил ему отомстить и проявил при этом прямо-таки гениальность, он все от начала до конца придумал сам: «Теперь каждый закроет глаза и сорвет листок на болоте!» Есть! «А теперь каждый справит маленькую нужду в жестянку с листьями!» Готово! «А теперь кто-нибудь спрячет эту штуку под кроватью господина учителя!..»

Жестянка под кроватью, учитель на кровати, и от всего этого — жестянки, листьев и прочего — он занемог. Чуть не умер господин учитель, только потому жив остался, что не догадались мальчишки выбрать в качестве посредника вещество, лишенное запаха, и дня через полтора необыкновенная смесь сама себя выдала.

Так вот, в самый день того происшествия, о котором пойдет речь, са няя Рита Черная, моя кухарка, зашивая мне прореху на рукаве куртки («Одежду зашиваю, тело не зашиваю, трипицу зашиваю порванную...»), уговаривала меня не дразнить Манголо.

Еще чего! Стояло прозрачное утро, над необозримой

¹ А н г у — каша из кукурузной, маниковой или рисовой муки.

землей — бездонная льдистая голубизна; только на южной окраине горизонта громоздились облака, под которыми таяло кокосовое мороженое; а с востока вздымалось солнце, огромное, вкусное, желто-медовое, словно слепленное из сверкающих сот.

В моей походной сумке лежал солидный запас провизии, да еще и бинокль. Тяжелое ружье, правда, изрядно мешало мне. Но приходилось соблюдать приличия — не дай бог узнают местные жители, что я целый день брожу по лесу лишь для того, чтобы следить, как набирает силу побег камбуи, угнездившийся в дупле дерева камбоатá, как муравьи пытаются взять приступом оцетинившиеся железными колючками заросли огненной татараны, что я люблюсь влюбленными птичьими парами, рассевающимися на длинных ветвях мастикового дерева; меня занимает, прервет ли жоан-печник строительство своего глиняного гнезда по случаю воскресенья, мне любопытно самому с собой побиться об заклад, присутствуя в качестве единственного болельщика на состязаниях по прыжкам с шестом между командами зеленой и серой саранчи, или изучать опыт самосозерцания большеного аиста-ябирú; или вдоволь посмеяться над водяными пауками, которые прытко бегают, перебирая длинными лапками, по маслянистой поверхности болотной лужи, думают небось, что это — твердая почва.

Собака мне ни к чему. Она только мешала бы мне, тянула бы в сторону. Все они деспотичны в своем охотничьем рвении: для пса, натасканного на водосвинок, в мире существуют только пакá, в лучшем случае еще броненосцы, агути, капивары и выдры; гончая думает только о тонконогих оленях — суассú, обитающих в каатинге; а ляговая презирает всех, кроме пернатых, да и пернатых не жалует, если они не относятся к отряду куриных, милых ее чутью и вкусу. Как-то в самом начале я взял с собой одного из этих длинноухих и длинноносых деятелей. Я ни разу не выстрелил, пес бросал на меня долгие, укоризненные взгляды. Он меня презирал, и я чуть не сдался. Хватит!

Так вот, как вы уже знаете, в семь часов я шел по дороге, захватив ружье и провизию, наслаждаясь светлым и прекрасным утром. Какой воздух! Кажется теплым, а вдохнешь — прохладный, и на душе становится радостно. И я шел, обо всем позабыв, неторопливо, вразвалку, и даже испугался, когда сзади, совсем близко от меня, кто-то крикнул:

— Держись, Изе!

Я вздрогнул и обернулся, хотя обычно меня называли полным именем — Жозе. Но кричали не мне, а другому Изе — пижону, который метрах в тридцати показывал чудеса эквилибристики на спине нервного рыжего скакуна, выделявшего прямо-таки цирковые прыжки.

Как раз в этот момент конь высоко взбрыкнул задними ногами, потом взвился на дыбы, и мой тезка полетел на землю.

Но это не отвлекло меня, и через несколько шагов я свернул на боковую тропинку, сухую и хорошо утопанную, хоть и узкую, — ходили по ней за помощью многие, да все по одному, по двое. Тропинка вывела меня к хижине Манголо. В проволоочной ограде совсем рядом с калиткой зияла дыра — посетители предпочитали лазать через нее, согнувшись в три погибели; калитку, остававшуюся без употребления, оплели гибкие стебли ползучих растений, расцвели белые и пурпурные колокольчики.

Хижина — стены из жердей и глины, закопченная соломенная крыша — стояла так, что, упав вдруг рослая неподалеку пальма макауба, она раздавила бы ее. Пока это можно было только вообразить, но, кто знает, когда-нибудь... Тень пальмы даже в тот час, когда она еще не самая длинная, делит как раз пополам соломенную крышу лачуги; а растет макауба быстро, приблизительно метр в год; а колдуны обычно кончают плохо... Настанет день, и дерево упадет; так ведь случается...

Был час обедни, у хижины никто не дожидался своей очереди, и Жоан Манголо, стоявший, по обыкновению, в дверях, улыбнулся мне. Сам черный, а огромная шапка курчавых волос — изжелто-белая, и ни одного зуба. Уродина.

— Эй, Манголо!

— Господь да благословит вас, синьо!

— Деревяшка ты обугленная, тайком в рабство проданная!

— Все шутите, синьо...

— С корзиной грязного хлопка на бунтарской башке!

— Ух!

— А три заповеди негра знаешь? Нет? Первая: «Всякий негр — пьяница...»

— Ой, ой!..

— Вторая: «Всякий негр — бродяга».

— Матерь божия!

— Третья: «Всякий негр — колдун...»

Наступил я ему на мозоль, дурацкая улыбка сменилась на его лице гримасой ненависти, он что-то прошамкал и убрался в лачугу, будто морская улитка в раковину, и даже дверь хлопнул.

— Эй, Манголо!

Я двинулся дальше, обогнув загородку со свиньями, просторную, словно загон. В ней разлеглись шесть перекормленных пухлых, как тюфяки, боровов, ослепших от жира; эти нахальные приспособленцы лениво похрюкивали. Им только бы лопать, а лопают они все, даже змей — клыки ядовитой сурукуку и то не в состоянии пробить их жир. В полночь сюда лучше не заходить — в этот час свиньи звереют, а вырвутся, так растерзают и хозяина, и кого хочешь другого.

В конце бобового поля тропа раздваивается; я сворачиваю вправо, к проезжей дороге. По сторонам кусты гравата, словно огромные пауки с колючими лапами; но их мечевидные листья смыкаются над головой, образуя арки, украшенные голубыми цветами.

Я слышу шарканье альпартат¹. Подходит Ауризио Колченогий.

— Ты, верно, от Манголо, Ауризио?

— Упаси господи!.. Я от бедни. Я не охотник до урубу, иначе носил бы с собой крюк и приманку!

Ауризио — пожилой, сутулый, страдает одышкой и, как и все метисы, отличается поразительной интуицией.

— Ты его просто боишься...

— Ну, уж нет!.. Но дразнить — не дразню. Не стоит... Вот раньше, в молодости, другое дело!.. Отчаянный я был... Побился раз об заклад и пошел ночью на кладбище... Правда, ничего худого со мной не случилось, но такие выходы — для молодых парней. Хочется им покрасоваться, удаль свою показать. А теперь — куда уж; мне теперь покой дороже всего... Вот — не желаете ли китайского апельсина попробовать?

И Ауризио Колченогий, у которого их полная сумка, достает апельсин, срезает верхушку серпом и, просверлив середину, «чтоб размягчить и сок пустить», принимается его высасывать.

¹ Альпартаты — крестьянская обувь типа сандалий.

— Полезная штука серп, верно, Ауризио? На все случаи жизни... А клеща из ноги можно им вырезать? Или нет?..

— Не смейтесь! Можно!.. Я со своим не расстанусь. Гарруша далеко смерть посылает, но у каждой — своя кличка, свои приметы особенные. Нож — тот себя не выдаст, ну, а о серпе уж и говорить нечего. От серпа ведь и заговор никакой не поможет...

— Даже семь Аве Марий наоборот? Даже святой Марк?

И я начал произносить таинственное, чудодейственное и запретное заклинание:

— «Во имя святого Марка и святого Манса, и павшего Ангела, твоего и моего хранителя...»

— Ой! — Ауризио отскочил на самый край дороги, подальше от меня, перекрестился и закричал:

— Молчите! Верую в Бога Отца! И как это вас страх не берет, не ведаете, чем шутите! Забудьте «слово»... Не благословляют пороха раскаленным углем! Не щекочут честную женщину под юбками!

— Ладно, Ауризио... Я не знал, что это так страшно. Мне сказали, а я запомнил, показалось мне, что оно забавно...

— Забавно? Эдак вы на себя беду накличете! Чтобы оно помогло, надо говорить его в полночь, перед глубокой тарелкой, полной тростниковой водки, и чтобы в стол новенький нож был воткнут...

— А еще помянуть черного Гонзазабина Индийского?

— Ох! Такое наизусть запомнить и то опасно — в нем страшная сила... Вы вот человек не простой, не нам чета, образование у вас, и все прочее, вы, верно, и беспалой руки не боитесь, но... Был тут один... Вы Жестала Дудку не помните? Так вот, я чем угодно готов поклясться, что он знал это заклинание и пользовался им, как хотел... Как-то раз моему куму Силверию случилось переночевать с ним в Вирриато... Уложили их вдвоем в одной комнате... После кум мне рассказывал: петух поет, часы бьют, а ему все не заснуть, уж очень тот вертится и бормочет что-то непонятное...

— А бормотал он вот что:

От полночи до рассвета —
за такой короткий срок —
моя шляпа превратилась,
стыд сказать, в почной горшок...

— Вы только послушайте: кум Силверлио то спал, впол-глаза, то просыпался, очень ему было не по себе. Вдруг видит он — разбойник этот встал с постели и идет на него с ножом, и хрипит что-то не по-нашему... Кум Силверлио соскочил с койки, от ножа увернулся, глядит — сосед его по стенке вверх идет, так и шагает!

Стукнулся головой о стропила, проснулся и грохнулся на пол... Шишку он здоровую на плешине набил, но от хождения по стене отпирался, говорил, куму это во сне привиделось... Ох-ох! Сохрани господи от таких сновидений...

— Кошмар, Ауризио!

— Вот видите? А Тиан Чужак? Придурковатый такой, из долины Кала-а-Бока, он еще речную рыбу на продажу приносит к святой неделе... Ну, связался он с одной женщиной из Тамбо, такой уродливой да противной, что хуже и не придумаешь... И ведь нашелся дурак почище Тиана, и тоже на нее позарился. Сиприано-плотник, в годах уже, старик, можно сказать... Так... И начали они простачка нашего обманывать, а после, чтобы совсем от него отделаться, пустили слух... Они, больше некому... Будто бы это Тиан избил Фелипе Турка, на которого ночью напал неизвестно кто... Тиан, бедняга, ни о чем и понятия не имел, не знал, что жена ему изменяет, что Турка били... Он одно умеет — рыбу ловить, да и то плохо... Загородит реку в узком месте кольями, а у входа поставит снасти с восемью большими крючками. Только самые глупые рыбы на них попадают...

— Да-а.

— И вот Жестал Дудка — головорез отчаянный, но сердце у него доброе, пожалел он Тиана, сироту несчастного: решил научить его заклинанию, чтобы оно придало ему храбрости в трудную минуту. Нелегко это было. Тиан слова не связывал друг с другом, забывал, путал. Они у него в одно ухо входили, в другое выходили, ничего повторить не мог, только знай кряхтел.

Жестал Дудка потерял терпение и рассудил так: «Знаю я, как старого попугая выучить! Выпей-ка одним духом стакан водки!.. Вот так; Ну, давай...» И он снова нараспев повторил Тиану свое заклинание. Но и с водкой дело на лад не пошло, уж очень туп был Тиан.

...Тогда Жестал Дудка высморкался и помянул недобрым словом чью-то матушку. «Что же это получается? Я, жалеючи тебя, из сил выбиваюсь, а у тебя то ли пробки в ушах, то ли мозги куринные?! Но на этот раз у меня есть

помощник — тапировый ремень, я тебя так им отделаю, что ты или тут же все затвердишь, или растолкуешь мне, отчего у тебя такая память дырявая».

...Так и вышло. Жестал Дудка взялся привычной рукой за хлыст, бедняга Тиан Чужак заорал благим матом и собрался дать тягу куда-никуда, да не тут-то было: Жестал Дудка крепко держал его за подол рубахи... Взбучка помогла — мозги Тиана прояснились, и он все запомнил, точнехонько, слово в слово!

...И ведь подействовало заклинание: когда за ним пришел солдат, Тиан Чужак, который раньше военных до смерти боялся, отставив ногу и помахивая дубинкой, осадил его: «По чьему приказу?!» — «По приказу представителя местной власти сеу Себастиана Адриана, помощника полицейского уполномоченного!» — «Так, так! А ну, отваливай! Отваливай, говорю, завтра я сам, так уж и быть, явлюсь. Если со мной по-хорошему, то и я по-хорошему. А силой от меня ничего не добьешься, и под конвоем я никуда не пойду!..»

...Шляпу свою соломенную заломил и сплюнул в сторону. Так хорохорился, что и впрямь выглядел храбрецом. Солдат сразу смекнул, что лучше подыграть дураку и тот сам в собственной дури запутается. И сказал: «Сеу Тиан Чужак, вы в своем праве, и сразу видно — вы человек смелый; но и я в своем праве, я ведь долг свой перед законом исполняю. Настоящим мужчинам друг друга пугать нечего! Таким бесстрашным, как мы с вами, лучше всего подружиться!.. Пойдемте-ка и спросим совета у сеу Антонино, вашего хозяина, как он скажет, так и сделаем».

...Тиан Чужак потоптался на месте, поднимая пыль, и важно проговорил: «Если вы думаете, что так лучше, ладно, идем. Что хозяин сеу Антонино скажет, тому и быть!..»

...Сеу Антонино сказал, что следовало, и послал Тиана в тюрьму... — Тут Ауризидо прерывает свою историю, чтобы сорвать и пожевать пахучий лист лимонной мяты, пышно разросшейся по обочине («От заразы», — изрекает он). Затем рассказывает дальше:

— Говорят, в поселковой тюрьме солдаты вдоволь посмеялись над ним. Чего только люди не выдумают! Хотя тут они правду сказали, сам знаю, сам там был, безвинно, между прочим, пострадал; так вот, когда меня привели, солдаты с ухмылкой спрашивают: «Ты человека убил? Ах, нет? Жаль!.. Кабы убил, пожил бы тут с нами!..»

Ну, заперли они Тиана. Да уж, верно, и поддали ему, как следует. Ну а потом, что бы вы думали?.. Он, видно, в полночь сказал заклятие по всем правилам. Иначе растолкуйте-ка мне: кто вызволил его из-за тюремной решетки и доставил домой, за четыре легуа, потому что на рассвете он был уже у себя, а потом нагрянул к сопернику и принялся колотить дубиной бабу, плотника, посуду, все, что под руку попадало... даже под кровать залез, ночной горшок разбил вдребезги!.. А вот дверь он не разнес, а дубиной, будто рычагом, открыл — цела осталась... А в доме настоящий разгром учинил! Славно повеселился!

...Человек десять понадобилось, чтобы Тиана схватить, и если бы его не оглушили... Ладно, сеньор, раз вам напravo, значит нам пришла пора расстаться, мне — прямо... С миром. И да направит вас господь на путь истинный!

И Ауризио Колченогий исчезает, скрывшись за дикой ванилью.

Моя дорога идет вниз по склону, петляя между зарослями гигантской крапивы и бычьих копыт — роскошных, покрытых блестящей зеленью и огромными белыми цветами деревьев. А на земле — скромные желтые плоды жоа, усаженные густыми колючками. Временами попадаете молодая сумауейра, тонкоствольное деревце с полукруглой кроной, усыпанной красными цветами — ни дать ни взять пляжный зонтик.

Выхожу на поросшую кустами вырубку. Миную подлесок. За ним поднимается частоколом, правильными рядами бамбук.

Бамбуковая роща! Она прекрасна, словно взволнованное застывшее море. Красиво здесь все — перистые листья, пушистые метелки цветов, овальные прицветники... Роща шелестит на легком ветру, в ней дух поэзии, дух Востока...

Роща совсем близко, и я сгораю от нетерпения, но нет: я оставляю ее напоследок... Только на обратном пути я разрешу себе всласть наглядеться на мой бамбук... Мой? Нет: наш... Ведь с ним связана одна еще не законченная история.

Как только я приехал в Каланго-Фрито, мне сразу понравился бамбук. Его стволы, похожие на гигантские соломины, гладкие, будто отполированные, так и просили оставить на них автограф, и кто-то уже вырезал, складным ножом или острием кинжала, огромными буквами, во все пространство между узлами:

Ни у кого нет глаз таких,
таких косичек черных нету...
— Дай умереть в твоих объятьях! —
молю красавицу Марьету.

И я, живший обыденной жизнью, но мечтавший о звездах, написал пониже, благо у меня в кармане оказался карандаш:

Саргон
Асархаддон
Ашшурбанипал
Тиглатпаласар, Салманасар
Набонид, Набопаласар, Навуходоносор,
Бэл, Синахериб¹.

Имена львоподобных царей, лишенных жестокой власти и сохранившихся в преданиях, звучали для меня поэмой. И не потому, что на их волнистых царственных гривах сияли когда-то усыпанные драгоценными камнями тиары, а в длинные бороды были вплетены золотые нити. Нет. Сами имена — вот что важно.

Ведь, помимо древнего смысла, в них — незатупленное лезвие слов, которые редко встречаешь в книгах и еще реже слышишь; а было бы еще лучше, если бы их никто никогда не произносил вслух. Так, перед цветком гравата, которому селва придала изящную форму ионической вазы, можно воскликнуть «Великолепно!» или что-нибудь еще в том же духе; увидав же в чаще анжелин, вознесший ствол и листья на добрых полсотни метров, поневоле захочется возгласить, задрав голову вверх: «Грандиозно!»

У каждого слова — своя песнь, свой полет. Ведь неграмотный парнишка из глуши по имени Матутино Солферино Роберто да Силва действительно существует и, придя в лавчонку, требует: «Мне — печенья, вон того, квадрантого» — ведь он покупает деликатес, а слово «квадратный» оскорбляет его своей обыденностью. Жаргону подавай обновки пощеголеватее. Моему единомышленнику Жозуэ Корнетасу удалось несколько расширить умственный кругозор одного плоского субъекта, обучив его следующим словам: параллакс, полимпсест, синклинальный, интимизм, просодия, амнемозина.

Жители Каланго-Фрито не принимают всерьез проповедей нового священника падре Жералдо («Его всякий дурак поймет...») и вздыхают по витиеватым речам покойного падре Жеронимо («В них было гораздо больше латы-

¹ Имена древних шумерских, ассирийских, вавилонских царей.

ни...»). Фраза «Sub lege libertas!»¹, произнесенная на митинге в большом городе, может потушить мощный, и казалось бы, неизбежный мятеж. Маленький Франсискиньо испугался и даже заплакал от слова «ерунда», повторив его нараспев раз пятнадцать — двадцать в какой-то глупой игре, отчего оно потеряло смысл и сделалось зловещим и диким. А призыв «Сезам, отворись!» открывал вход в пещеру, наполненную сокровищами...

Ну вот, как уже было сказано, я сделал надпись на стволе бамбука.

Пока все шло гладко. Но когда в следующее воскресенье я снова пришел в рощу, оказалось, что до меня здесь уже побывал какой-то мой конкурент. («Кто же это?» — подумал я.) Черт побери! И под моей поэмой из имен древних царей красовалось:

Турецкий язык — адская тарабарщина.

Но поэтический вызов он все-таки принял и написал карандашом не хуже меня:

Спряталась в гитару к уруб
жаба и взлетела к небесам.
Лишь гитару в руки я возьму,
сразу до небес взлетаю сам.

Мой трубадур очень старался. Или это был уже кто-то третий? Неважно, для меня существует только один — «Кто же это?». И «Кто же это?» стал моим лучшим другом в Каланго-Фрито. Лес, как ребенку, дарил мне игрушки, и я изобразил на стволе:

На небе был как-то устроен праздник,
и бог для праздника нарисовал
красивую птицу-сурукуа
серой, лиловой и желтой краской,
а также синей, зеленой и красной,
но врат небесных не запер он в праздник,
и упорхнула сурукуа...

И прибавил, потому что оставалось место:

Есть жизнь твоя и жизнь моя,
налево путь, направо путь,
и небо есть и есть земля —
от выбора не увильнуть.

Мне самому мое творение не понравилось. Но за ним стояла долгая поэтическая традиция, идущая от самого рождества Христова, и я приписал:

Либо шедевр, либо бессмыслица!

¹ Свобода в пределах законности (лат.).

И стал ждать. В ближайшее воскресенье я обнаружил на соседнем стволе (на первом уже не было места) следующий простодушный куплет:

На перекрестке двух путей
не знал я, на какой свернуть:
пошел налево я — к тебе —
мне сердце указало путь.

Тема была исчерпана, я потерпел поражение. «Кто же это?» победил. Я попытался взять реванш, нацарапав новое четверостишие на новую тему. И сегодня я жду ответа.

Бамбуковая роща скрывается из вида. Я снова иду по большой дороге, которая уже успела за это время обогнуть овраг и сделать километровый крюк только для того, чтобы пересечь реку по мосту и вплотную подойти к воротам усадьбы полковника Модestino Сикейры. Тут дорога превращается в широкую и длинную террасу, врезанную в глинистый косогор. А вверх и вниз по склону тянется лес: мармеладные, коричные, черные деревья; розовая жекитибá, барригуда, толстая, усаженная шипами, с округлой кроной; «свинья» тоже мощная и колючая, ценная «кровь-андраде», тут и там — голые скелеты тех пород, которые сбрасывают листья в это время года; и молодые «кайманы», неуклюжие, с мелкими, как у мимозы, листочками и грубой корой, изрытой бороздами и морщинами, будто кожа на спине у крокодила.

С ветвей мне улыбаются благоухающие, причудливые орхидеи: один лепесток у них длинный, изогнутый, пестрый, остальные поменьше, неистово скрученные, словно гофрированные; они похожи на каких-то пятнисто-розовых, лиловатых, янтарно-желтых морских животных или искаженные гримасой маски, высунувшие аметистовые языки.

А имбауба! Мои милые, юные имбаубы, придающие пейзажу особую прелесть! Изысканные, тонкие, женственные, в браслетах лиан, взбирающихся по их телу тугой спиралью. Их редкие крупные резные листья вблизи кажутся зелеными звездами или зелеными кистями рук. Вдали они подымаются из ложины, словно беловатые клубы дыма; а совсем далеко, на гребне холма, они — будто заколдованные, светлые как утро, девушки, заключенные в лабиринт леса.

В просветах между зелеными фестонами листьев я различаю там, внизу, блеск Трех Вод. Трех? Больше! Огромное овальное озеро выпустило из своего широкого тупого

края две речушки, а узким концом затерялось в лесу. Вокруг — трясина, необъятное болото, в котором утопает все: тонкая сеть канав, пунктиры луж и целая Финляндия мелких озер. Водная поверхность сверкает, словно осколки зеркала, солнечные лучи высекают из нее звездные искры. А на островах, полуостровах, перешейках, мысах тесно от зарослей тростника и всевозможных разновидностей бамбука — тут табокейра, такуари, такуара, такуариуба, такуаратинга, такуарассу. И снова — индейская имбауба, и множество пальм. Ряды, аллеи, галереи пальм наступают на топь; пышные, изящно изогнутые, они покачивают зелеными опахалами. Они — разной высоты, разного возраста, они разрослись тут целыми семьями — искривленные бурити-старцы, бурити-прекрасные дамы, дети-бурити, играющие маленькими веерами. Я спускаюсь по крутой тропинке, попирая ногами скромную гуашину. Дорогу стерегут, словно часовые, два дерева. Приземистый кангальейро с трапецевидной кроной и кажазейра; зеленая вязь ее листьев подрагивает на трезубцах ветвей. Мне предстоит пройти по болоту. Я знаю три извилистые тропинки, ведущие через топь, то по едва выступающим кочкам, то по широким участкам твердой земли. Я выбираю тропинку «В».

Визиты делаются продуманно; здесь, где у каждого уголка свое лицо и свое название, все зависит от погоды и от настроения гостя. Сегодня мы прежде всего отправимся смотреть кружево Иары¹, чтобы послушать вблизи семигласный ропот ручья, который, кипя, скользит по камням. У самой воды, на свежей траве, под сенью селвы, во влажной дымке певучих родников дремлют нежные резные листья. Побегі золотистого папоротника, будто сороконожки, обвивают стебли; а рядом рослый ворсистый папоротник, остающийся сухим даже в каскаде брызг. Стелются пышные мхи, раскинули ветви грациозные самамбаи, высятся старые самамбаиусу.

Здесь подобает предаваться размышлениям о красоте целомудрия, порицать плотские наслаждения, читать о рыцарях Круглого Стола и волшебном мече Сколибуре. Но я тороплюсь. Прохлада этих мест того и гляди наградит доброго христианина гриппом, а тончайшая, словно от огранки изумрудов, пыль, парящая в здешнем воздухе, угрожает припадком астмы.

¹ И а р а — фантастическое существо вроде русалки.

Итак, отступим. Посетим по очереди три поляны, каждую из которых охраняет свое священное дерево; ведь у каждой лесной прогалины есть свой хозяин, и другие деревья не смеют расти там именно потому, что он не разрешает им этого.

Прежде всего — Venus berg ¹, где царит надменно-перпендикулярная красная жекитибá. Тяжелая колонна ее ствола, увешанная лишайниками, на двадцатиметровой высоте выбрасывает, словно ракета, мощный пучок четырехгранных ветвей. Здесь все призывает к греху, и здесь все ему предаются — от лесной цыганки и мукумы, сладострастных лиан, усыпанных полиандровыми цветами, до серых грибов с их низменными земными помыслами и эротоманки-катуабы, чьи смятые листья тотчас пружинисто расправляются.

Сейчас я ухожу, мне надо спешить, но когда-нибудь я велю поставить здесь маленькую статую Пана и воздвигнуть ему алтарь.

А вот — еще одна, более обширная поляна, на ней высится пахучая монументальная «пастушья ложка», чем-то напоминающая фараона; на почтительном расстоянии, будто смиренные рабы, застыли пять тщедушных рыжих камбарá в форме перевернутых конусов и еще один камарá, покрупнее, тоже сужающийся от кроны к корням. Прямо Египет!

Иду дальше.

Наконец-то! Передо мной — святая святых Трех Вод. Толстенная суина́, или коралловая эритрина, утыканная редкими шипами, занимает самую середину поляны. Сколько в ней меда! Божуй, жатй, урусú и другие дикие пчелы и осы так и вьются вокруг; полчища муравьев взбираются по ее стволу. Ее тесно растущие ветви отбрасывают густую тень. И вся она сплошь усыпана свисающими багряно-красными пышными кистями цветов; они ослепляют, пылают, они жгучего цвета жабер-траиры, птичьей крови, ярко накрашенных губ. От всего, что здесь обитает, плохого или хорошего, веет такой нечеловеческой мощью, незыблемостью, таким покоем! Даже от лианы-душительницы, что, впившись, калечит ветви какого-то неизвестного мне дерева; даже от филодендрона, который вьется по верхушкам деревьев, перебрасываясь с кроны на крону, перенося на целые легуа свои причудливо резные, будто рваные,

¹ Гора Венеры (нем.).

листья и воздушные корни; а они, словно паутина, опутывают все новые и новые деревья или добираются до самой земли и вырастают в нее. Но огромная эритрина не только нечеловечески прекрасна и спокойна: она добра, она необыкновенно щедра на краски и цветы, гнезда и плоды, любовь и песни. Она — богиня.

— Уф! Тут можно и отдохнуть!

Я снимаю куртку и прислоняюсь к стволу коралловой эритрины. Передо мной — опушка леса и заводь, где на фоне опрокинутого пейзажа, уходящего в зеленую глубину, так и кипит жизнь. Часть водной поверхности, освещенная солнцем, вся искрится, на ней танцует блестящая рябь, она словно наступает на другую половину, оставшуюся в тени. Кажется, будто озеро согнулось пополам, образуя прямой угол.

— Чш-шик...

На воду опустилась дикая утка — видно, издалека прилетела, упала камнем, взорвав тишину оглушительным плеском. Маленький турпан с галстуком на шее ведет себя деликатнее: кружится в высоте, выбирая место, и мягко садится на воду. Теперь он быстро плывет, водяная гладь собирается перед ним полукруглыми морщинками, которые потом расходятся в стороны. Турпан сворачивает, чтобы не столкнуться с тяжелыми капринами, — они грудью режут волну, оставляя за собой пенистую дорожку, подобно большим рыбам. Движения турпана так точно рассчитаны, так плавны, что кажется: озеро несет его, как ласковая материнская ладонь. Хвост прекрасно служит ему рулем — едва заметное боковое движение, и птица меняет курс. Останавливается. Покачивается. Встряхивает головой. Вытаскивает из воды лапку, чтобы почистить шею. И подплывает к другим турпанам, которые прилетели раньше и дрейфуют теперь, покачиваясь на легкой волне, — пушистые, круглые, засунув одну из черных лап под крыло и зарывшись головой в перья, клювом назад.

Утки прерэ, те садятся сначала на берег и возятся в камышах. У них там, наверное, гнезда. А вот где прячет яйца водяная курочка, мне хорошо известно — они надежно укрыты в зарослях тростника.

Бекасы здесь уже побывали сегодня. А патури еще не прилетали, надо их подождать. Может быть, появится и цапля или ее кум — анст-ябигу, или посчастливится мне снова увидеть птицу цвета морской волны в белую крапинку, названия которой никто здесь не знает.

А вот еще одна незнакомка, темно-зеленая, похожая на большую ласточку. Она часто навевается сюда. Полет у нее мощный, а плавает она плохо. Она неутомима: поплещется в озере, потом навестит болото, норовит еще и в речушке выкупаться.

А это кто? Оказывается тут большой жуан. Я его и не заметил, так он притаился... Но вдруг — шлеп! — сцапал-таки рыбешку. Теперь пойдет кивать со скоростью швейной машинки, пока не уничтожит всю стаю.

Время идет.

Озеро расцвечено утиными перьями, заснежено пухом. Большой жуан погружен в созерцание, как и я, развалившийся под шатром цветов кортисейры оттенка петушиного гребня и коралла. Я закурываю вторую сигарету из-за тысячи москитов, этой шайки крохотных дьяволов.

Кроме них, из подобной мелюзги здесь еще муравьи, которые ползут друг за другом по сухой листве, неся, словно флажки, кусочки зеленых листьев: они давно уже решили все транспортные проблемы. Порой можно заметить что-то лениво выискивающую черную охотницу — осу маримбондо, эта ужалил — взвоешь! А вот тварь и пострашнее — по моему ботинку взбирается тигровый муравей. Видно, голодный, вылез за пропитанием. Я осторожно снимаю его и кладу перед ним несколько крупинок маниоковой муки и капельку варенья. Не захотел, сбежал. Моя провизия достанется клану мелких муравьишек, похожих на маленький юркий поезд, — неподалеку вход в их жилище. Один за другим они осмеливаются подползти поближе; бросив комочки земли, они шевелят усиками, подавая друг другу какие-то знаки, суетливо вертятся на одном месте и снова и снова возвращаются к красной капле. Я подкладываю им еще, уж очень они забавные, напоминают то расшалившихся детишек, то молящуюся старушку.

Интересно, какой у муравьев бог. Наверное, он страшен. Как и те, кто ему поклоняется. Это относится и к богомолу, воп к тому, под которым прогнулась тростинка. Он все молится, стоя торчком, скрестив передние лапки со спрятанными концами-кинжалами. Но в прошлое воскресенье этот или другой такой же богомол ровно за восемь минут — я смотрел на часы — слопал своего приятеля — оставил только жесткие с зазубринками лапки своей жертвы да панцирь...

Ушел.

Уходит и время, и ничего нового не видно ни на воде,

ни тем более на суше. Меня клонит в сон, и я устраиваюсь поудобнее, готовясь вздремнуть.

Наблюдаю, полулежа на боку. Вот выпорхнула бабочка, похожая на книжку с картинками; слегка подрагивая в воздухе, словно колеблясь, она то ускоряет, то замедляет полет, как и подобает этому виду крылатых, и тут же исчезает в листве склоненной до земли тарумы. Теперь я смотрю только на землю, на шапки дерна и мрачную черноту сучьев. Но бриз пробирается и сюда, шевелит, точно волосы, поросль диких злаков, раздвигает темные пальцы теней. Королевский мулунгú осыпает красные цветы на траву — словно игрок бросает кости на стол, покрытый зеленым сукном.

Мир и тишина.

Тут-то это и приключилось. Внезапно я ощутил сокрушающий удар чего-то черного: черная точка, зерно, жук, ану́, урубú, ночь... И все исчезло.

Не осталось даже того, что обычно брезжит под веками, когда быстро закроешь глаза — розоватая муть днем, тонкая оранжевая сетка ночью, при искусственном свете. Даже от погасшего фонаря остается какой-то след, какой-то тающий Млечный Путь; я же не видел ничего: только мрак, полный, крошечный, давящий. Меня точно в гору замуровали или закоптили, основательно с ног до головы. Было темней, чем в камере-обскуре, темней, чем в последнем гроте пещеры, когда гаснет факел.

В остоленении я пребывал, пожалуй, минуту. Затем приподнялся. Провел рукой по глазам; ощущал веки и кожу вокруг — ничего! Тут у меня мелькнула мысль о затмении, полном затмении, мировой катастрофе — конце света.

Однако разноголосый птичий гомон не прекратился: с опушки доносилось классическое пение патативо; в отдалении стонали серые горлицы, а совсем рядом со мной упражнялся тукан-арасарí, он не пел, а лишь повторял иронические монологи, которые тщательно выстукивал на древесной коре самый обыкновенный дятел. Я догадывался, какой он — хохлатый, красно-зеленый, стучит себе и, не теряя даром времени, склевывает муравьев, вылетающих на шум из пустот в стволе имбаубы.

Так если все эти существа продолжают заниматься своими делами, если никто из них не испугался... значит... ослеп я?! Ослеп сразу, безо всякой причины, без боли, без предварительных угрожающих симптомов?..

Так. Здесь рядом лежал камень. Я щупаю землю. Вот

он. Провожу рукой по стволу моей коралловой эритрины. Да, прямо передо мной озерная заводь.

Бросаю камень, чувствуя, что вложил в это движение гораздо больше силы, чем было необходимо. Мой снаряд раскалывает воду, видимо, он врезался прямо в стаю турпанов, слышу их криканье «ква-квара-квак!». Чета уток промолчала — или я не расслышал их тихого голоса. Но они захлопали крыльями и улетели.

Тут я окончательно понял, что трагедия произошла только со мной — среди всего этого множества глаз только мои перестали видеть. Только для меня одного померк белый свет. И мне стало страшно.

Нет, это не кошмарный сон, я не сплю. Но может быть, моя слепота — явление временное и через какое-то мгновение я снова прозрею? Спаси меня, господи, помоги, святая Лузия, целительница глаз человеческих!.. Святая Лузия тут проскакала, ее лошадка травку щипала!.. Святая Лузия тут проскакала... Нет, не помогло. Я скован, пришиблен зловещей тьмой, и что мне делать — ума не приложу. Настал для меня недобрый час! Еще немного — и я закричу, стану кататься по земле, рвать на себе волосы!

Спокойно... спокойно... Надо взять себя в руки. Подожду немного, не буду отчаиваться, найдется какой-нибудь выход. На четвереньках я подползаю к стволу, прижимаюсь к нему спиной — прежде всего надо обезопасить тыл.

Достаю часы. Тикают... Пытаюсь курить — ничего не выходит, никакого удовольствия, когда не видишь дыма. Но что это?.. Шаги?.. Нет. Голоса?.. Тоже нет. Но что-то все-таки есть, я чувствую. Где-то далеко-далеко... Сильно бьется сердце. Какой-то тревожный сигнал, угроза, непонятная, но страшная. Надо мной нависла опасность. Я совершенно ясно ощущаю ее. Откуда она исходит? Из леса? Нет — с юга. Опасность угрожает мне с юга. Я обхватываю руками ствол суинá. Сердце готово выскочить из груди. Бежать!

Нет, бежать бессмысленно. Опасность далеко, где-то на юге. Что же мне угрожает? «Кто же это?..» Мой друг, поэт. Бамбук. Цари, древние, ассиро-вавилонские, роскошные бороды, как у карточных королей, им ведь нравилось выкалывать глаза тысячам побежденных пленников? Но теперь они — лишь безобидные призраки, созданные моей фантазией.

Что же это за опасность, за угроза, что исходит с юга? Впрочем, нет, не угроза. Скорее дружеское предупрежде-

ние. Призыв. Приказ. Властный и доброжелательный приказ бороться:

— Держись, Изе!

Я облегченно вздыхаю и кричу в ответ:

— Удержусь!

Эхо не отозвалось, на моей поляне — отличная акустика. Но бодрый тон собственного голоса придал мне смелости. И я начал глубоко дышать полной грудью, расправил плечи. Мы еще повоюем!

Повоюем — хорошо говорить... Здесь такое место, куда никто никогда не забредет. Если я попытаюсь выбраться отсюда ощупью, то легко могу угодить в трясины, что затянет меня вершка на два выше макушки, могу оказаться на пути убийцы — змеи жараракусу, могу, наконец, пойти не в ту сторону и заблудиться. Настоящие ягуары тут не водятся; но какой-нибудь голодный дикий кот маракажа или мать семейства маракажа, заметив мою беспомощность, загрызет меня в два счета. Да. Только теперь я понял, как плохо в лесу без собаки.

На всякий случай надо поближе придвинуть к себе ружье. Так. А что, если пальнуть раз-другой в воздух? Бессмысленно. Если кто и услышит, так подумает, что я стреляю уток. Я ведь пошел сюда охотиться. Вот не вернусь домой — тогда меня хватятся, забьют тревогу, пойдут искать и в конце концов обнаружат. Значит, нужно тихо сидеть и ждать.

Прошло, наверное, немало времени. Я прислушивался. Все мое внимание переключилось на слух. И я открыл, что могу отличить крик утки от крика турпана, возню морской свинки от прыжков агути — все эти зверюшки резвились в сухой листве.

Я слышу так хорошо, что улавливаю даже самые отдаленные звуки. Нежно посвистывает жоан-пинто, спрятавшись в ветвях высокой сукупиры. Где-то близко кудахчет бекасиха — совсем как наседка, впервые выведшая цыплят. Наверное, высунула голову из камышей. А жоан-пинто продолжает тоненько посвистывать.

Я так ясно, так отчетливо слышал все эти звуки, что на какое-то мгновение мне показалось возможным выбраться отсюда, ориентируясь по ним. Но ведь птички не сидят на одном месте, и их голоса не могут служить верным путеводителем. К тому же звуки множились, их становилось все больше и больше. Никогда раньше не доводилось мне слышать столько разнообразного чириканья, щебета, писка,

весь лес шелестел, шупукался, словно разговаривая по-польски, тысячи маленьких созданий, казалось, играли на крохотных музыкальных инструментах, забравшись в дупла.

Вдруг, совершенно независимо от меня, в моей голове повернулся какой-то рычажок, и я снова ощутил угрозу. Я в опасности! В страшной опасности! Нет, я не должен, я не могу больше сидеть здесь! Надо бежать, прорваться сквозь лес, будь что будет!

Вперед! Чего мне бояться? Я ведь хорошо знаю свой лес! Знаю все его уголки, все укромные места, как свои пять пальцев. Я пришел сюда по собственной воле, но теперь, откровенно говоря, надо спасать собственную шкуру. Так что — вперед!

И я иду. Иду. Сколько я уже прошел? Какая-то цикада стрекочет мне вслед насмешки, и мне становится легче. Но где я, куда я забрел? Плохи мои дела. Меня больше не защищает добрая суинá. Я больше не слышу криканья пернатых обитателей озера. Здесь гуляет ветер и все кругом шумит: шепчутся листья, шуршат кружевные вершины веерной пальмы, шелестят, словно бумага; и выстукивают — па-па-па-па — дробно и выразительно жесткие листочки какого-то дерева.

Как же мне выбраться на дорогу? Может быть, если я закричу, то совершится чудо и кто-нибудь услышит меня? И я кричу. Кричу. Кричу. Но напрасно. Что же мне делать? Сам я не найду верного пути. Я перевожу дух. Молюсь. Жду. Вспоминаю друга моего «Кто же это?». Попробовать?

Пошел налево я — к тебе —
мне сердце указало путь.

Как-то ведь ориентируются насекомые, птицы? Голуби пересекают огромные расстояния, дикие утки летают с озера на озеро. А самки и самцы многих животных каким-то образом находят, в пору любви, путь в желанную Мекку... Инстинкт. Пойду наугад, куда понесут меня ноги. Пусть дорога меня выбирает, а не я ее. Вперед!

Вперед. Первые шаги самые трудны. Руки вытянуты вперед — они и разведка и защита. Да. Пусть ноги ведут меня сами. Лиана хлестнула меня по лицу, словно чья-то рука. Я отскакиваю, пытаюсь нащупать в пространстве точку опоры. Падаю и зарываюсь носом в гниющие листья, сучья и всякую дрянь. Какой-то предмет выкатился из моей сумки. Бинобль. Я поднимаюсь, отряхиваюсь. Для

чего? Даже самому смешно. Иду дальше. Шаг за шагом. Лес становится все гуще. Внезапно запела птица. Я слышу ее. Что-то задевает меня за плечо. Это лиана «свиная кишка» или «поди сюда». На дорогу. Пусть ноги сами несут меня. Цикада сверлит пустоту своим стрекотом. Трах! Налетел на дерево. Ничего себе удар! Кто ж это меня так? Кора чешуйчатая, морщинистая. Анжико? Пусть ноги сами несут меня... Кто-то идет за мной, я слышу шаркающие шаги. Останавливаюсь. Никого. Вперед. Опять удар, на этот раз меня огрел, скорее всего, тамборил. Колючие лианы, лианы-завесы, лианы-змеи, лианы-розги, лианы-руки, лианы-витая проволока, нескончаемое переплетение лиан. Пусть ноги са... Ай! Еще одно дерево меня стукнуло, да как! Это — «пастушья ложка». Разве можно не узнать ее аромат, ее пышные листья, ее смолистую кору — и я словно бы вижу изобилие ее розовых цветов. Вперед. Пахнет мхом. Сырой землей. Стоячей водой. Гнилью. Лес обрывается. Ноги вязнут в мягкой грязи. И снова деревья. Пофыркивает какой-то грызун. Я иду быстро. Слышится птичья песня — она отвесно падает с высоты. Металл в голосе. Это, наверное, аратонга. Я устал. Но я иду. Пусть ноги сами несут меня. Но-ги-са-ми, но-ги-са-ми. Сами — самми... Самми... Самми...

Я вздрогнул, остановился, выругался. Альум! Я ощущаю густой, сладковато-едкий чесночный запах! Я ощупываю его ствол. Поблизости должно расти молодое мастиковое дерево. Вот оно. Я дотягиваюсь до листьев — растертые в пальцах, они издают запах манго. Сомнения нет. Я знаю эту сырую прогалину, здесь — конечный пункт моих лесных странствий. Дальше ходить я не осмеливался.

Вот как! В местности, исхоженной вдоль и поперек, инстинкт толкнул меня в худшую сторону — в чащу, в глушь, в болото с провалами, в трясину, поглотительницу живого и мертвого!

Израченный, избитый, исколотый, изодранный шипами я оказался намного дальше от цели, чем был. Меня охватывает отчаяние, сейчас я громко заплачу! Господи! Оо... Дьявол, дьявол! Оо...

Я умолк. Я снова услышал приказ, дружеский призыв: — Держись, Изел..

И вдруг, не знаю уж, как это получилось, но Ауризио Колченогий, далекий Ауризио Колченогий, размахивая огромным серпом, тоже крикнул: «Сгинь! Сгинь!..» Страшная сила в этом слове.

И, ни о чем больше не думая, я начал выкрикивать заклинание святого Марка. Не узнавая звука собственного голоса, я выкрикивал богохульственные слова, которые знал наизусть. Меня охватило зверское желание громить, сокрушать, душить... а потом — свист в ушах, безумие и беспредельный ужас. И я побежал.

Временами я сознавал, что бегу. Потом останавливался, и собственное тяжелое дыхание казалось мне хрипом огромного хищника, застывшего рядом. Мои кожа и волосы шевелились от какого-то жуткого чувства. Опасность была почти физически ощутима. Недобрые глаза следили за мной. Деревья множились, заступая мне путь. Но я бежал дальше.

Вдруг лес кончился. Промчался всадник, копыта его коня звенели, ударяясь о камни. И мне стало легче.

Я услышал хрюканье свиней Манголо! Жоан Манголо! — Дьявол! — Я с яростью ударил кулаком по воздуху.

Угроза шла из хижины Манголо. И к хижине Манголо привела меня ярость. Я хочу, я должен убить Манголо!..

Я рванулся вперед — мне даже не надо было видеть дорогу. Влетел в калитку. Женщины, ожидавшие приема, заголосили. И я услышал, как закричал, запричитал колдун:

— Стойте, ради господ бога, пощадите, синьо!

Я бросился на голос. Он побежал. Мы оба покатались по земле, куда-то в глубину хижины. Я уже душил его — и вдруг я прозрел. Свет! Свет был так нестерпимо ярко, что я разжал руки и замотал головой.

Но я тут же снова бросился на него — негр хотел спрятать что-то под своей койкой. Это была кукла, грубо сшитый тряпичный болван.

— Признавайся, что ты натворил, дьявол! — закричал я, преграждая ему путь.

— Ради всего святого, сеньо... Я пошутил... Я сделал ваш портрет...

— А еще что? — Я закатил ему оплеуху, и он стал вращаться вокруг меня, словно спутник вокруг солнца, дающего свет и тепло.

— Я не хотел убивать, не хотел калечить... Я только завязал кукле глаза черной тряпочкой, чтобы синьо немножко перестал видеть... чтобы не глядел на безобразного негра...

Таким униженным, жалким казался избитый колдун, что ярость моя почти прошла. Я торжествовал. Мне захо-

телось проявить великодушие, покончить дело миром, и я протянул ему белый флаг — банкноту в десять тысяч рейсов.

— Послушай, Манголо, — против меня ты бессилен. Меня бережет ангел-хранитель и страшное заклинание... Так что лучше нам с тобой не ссориться... Держи деньги. Ну!

Я вышел. Женщины, отбежавшие на почтительное расстояние, испуганно глядели на меня. Одежда моя висела клочьями, я был в крови и ссадинах.

Но я вновь обрел зрение. Какое это счастье — видеть!

Когда я спускался по склону, лес и луг были одного цвета. А на вершине холма, залитого ослепительным светом, — зеленый анжелин с зелеными стручками и под ним — белый бык с белым хвостом. А вдали, над уступами гор, друг над другом — три оттенка небесной голубизны.

Заловоренный

Тараканиха расхвасталась:
у нее богатое приданое —
целых семь кружевных юбок!
А у нее всего одна — и та драная...

(Хороводная песенка)

Жозе, по прозвищу Бык, свалился в овраг глубиной без малого метров в двадцать; волосы у него с землей смешались, ну, и шею себе сломал. За полминуты до этого, будучи беспросветно пьян, он пребывал в самом зените своей славы: его называли «грозою солдат», потому что как-то раз он один избил капрала и двух рядовых — те пытались сопротивляться, но разве его втроем одолеешь...

— А ты его знал, Мануэл Фулбó?

— Еще бы! Парень был что надо... Дружили мы с ним. Только он все голову чесал, а я до смерти вшей боюсь...

— Он это, может, от нерешительности...

— Я и на похоронах был. Никогда такого длинного покойника не видал... Ему специальный гроб заказывали: одного золотого позумента пошло полтора мотка.

— Кто же после него наследником-то считается?

— Как? Да у него денег и на доброго верхового коня не набралось бы... Пропивал все... Дырявые руки...

— Я спрашиваю — после его смерти кто у вас теперь храбрецом-то слывет?

— Этого добра много было: Дезидерио...

— Который? Язва?

— Нет, Тыква. Отчаянный, все его боялись... Брыкливый конь... Ко мне-то он не лез...

— А кончил он как?

— За решеткой. Затеял побоище в городе, ну, полиция его и засадила. Он сюда не вернулся...

— А Дежо?

— Этот потом появился. До него еще был Милижидо. По документам-то он Адежалма, дурацкое имя, даже святого такого нет... Ну, и чума он был! Болтун, хвостун, только я здорово его на место поставил! Он меня уважал! Уважал, сеу доктор!

— Ты его отлупил, Мануэл?

— Вот послушайте. Дело было в лавке: я покупал тесьму, тихо-мирно, никому не мешал... Тут он и входит — рожка самая бандитская, глядит на меня зверем. Потом отвернулся и спрашивает у Перса, тот продавцом тогда был: «А не найдется ли у вас такого ножа, который, как в брюхо его всаживаешь, урчит?» И снова глядит в мою сторону — думал, струшу...

— А ты, Мануэл Фулó?

— Я было собрался его осадить, но не успел — тут как раз в лавку вошел один погонщик из Соледаде, здоровенный детина. Слова Дежо он на свой счет принял — да как стукнет кулаком по прилавку, а потом кашлянул и тоже у Перса спрашивает: «А пули у вас такой не найдется, которая, как башку пробивает, рычит?» Тут Адежалма от страха заулыбался — мол, это он в шутку.

— А как же ты-то, Мануэл, его на место поставил?

— Я-то? Вот, если бы погонщик не вошел, я бы ему показал, я бы... А потом этот пес Адежалма меня еще спрашивает, в насмешку, потому что он прекрасно знал, кто я: «Как тебя звать, парень?»

— Ну, а ты?

— Я за гаррушу схватился и говорю: «Надо будет у ма-тушки моей спросить...»

— А он?

— И не пикнул! Иначе мы с погонщиком, знаете, что бы с ним сделали! Гадина! Убийца! Брехун!

— Что это ты на него так зол, Мануэл?

— Поганец этот Адежалма трусил, понял, что со мной

шутки плохи, и пригласил нас с погонщиком выпить с ним за компанию. Погонщик поблагодарил и отказался, а я пошел, я не гордый... А этот гад, вы только подумайте, выпивку как бы от себя заказывал, меня нахваливал, зубы мне заговаривал, а как я захмелел, он ушел и меня оставил расплачиваться, около четырех милрейсов пришлось отдать. Как же мне на него не злиться? Подох, сукин сын, от рожи...

— А Милижидо?

— Это хороший был человек... Справедливый... Черный только уж очень... Чернее других негров, прямо блестел, будто отполированный... Думаю, он и внутри черный был! Дружили мы с ним. А уж храбрец, каких поискать. Раз он мне зубную щетку подарил, почти новую... Нашел, видно, где-нибудь и не знал, что с ней делать...

— А многих он на тот свет отправил?

— Да почти что никого, пожалуй... Его и так все боялись. Каждый сразу говорил: «Аминь», если он начинал молитву... Он жив, но ушел на покой. Стар стал... скоро ему семьдесят стукнет... А теперь...

— Теперь у нас Таржино...

— И не говорите, сеу доктор. Дьявол во плоти! Ничего для него святого нет, семейную честь и то не уважает! Бич божий, да и только!..

— Ну, я бы не сказал...

— Что?! Да он притворяется, аспид... Он ведь и тех задирает, кто его не трогает... Другие себе такого не позволяли... Так настоящие храбрецы не делают. Я бы на месте правительства полк солдат сюда к нам послал в Лажинью — припугнуть надо...

— Ты и на этого зол, Мануэл?

— Не зол, сеу доктор, — а досада берет... Безбожник он, такие в страстную пятницу перед церковью мясо едят и кашасу пьют, только чтобы священнику насолить и божеское терпение испытывать... Все они уже заслуженную кару понесли: Роке в луже утонул... пьян был, как стелька... Жервазио пропал неизвестно где... А Лауриндо, того собственная жена ночью топором по головехватила... еще в прошлом году, в январе месяце... Камило Матиас от проказы помер... Один Таржино остался... Божья кара-то хоть и запаздывает, но не минует его...

— А пока он других карает, как ему вздумается, так, Мануэл Фулб?

— Ничего, сеу доктор... Зловредного коня господь на

длинной привязи держит. Таржино свое получит... Я уже вижу, как дьявол его в ад тащит! Попляшет он, сеу доктор! Найдутся у нас и на него смельчаки!

— Неужели, Мануэл?

— Можете не сомневаться, сеу доктор. Сам Жоан Брандан уж на что был отчаянный, и тот назад подался из наших мест... Мой отец рассказывал... Жоан Брандан шел со своими людьми на север, хотел оружие доставить мятежникам Антонио Консельейро¹, двадцать вьючных ослов у него было. Так вот, в том месте, где сейчас мост Кинтинья, завязалась у них перестрелка с солдатами... Да... край наш — опасный, сеу доктор. Взять хоть бы меня... На вид — смирный, а ведь и я огнем крещен!..

Так говорил Мануэл Фулô.

Жозе Бык, Дезидерио, Милижидо, Дежо... Главный храбрец — всегда только один. Последний из них, Таржино, долго не уступал никому своей славы. Да и соперников не находилось: редко стали рождаться мужчины под знаком Марса, перевелись головорезы в Лажинье.

Были, правда, второстепенные храбрецы, драчуны и забияки, но каждый из них орудовал в своем углу. Местные жители из предосторожности просили их крестить новорожденных.

Братья Кинтилиано, например, держали в страхе Варжен — предместье, разросшееся за железной дорогой.

Однажды на дереве появилась бумажка — «Пасквиль», сатирические стишки, состряпанные кем-то из пострадавших:

София — не жена, а чудо:
вот только детишки не знаю откуда...
И Гилира — чудо из чудес:
кто ей под юбку только не лез...
Себастиана и Лина живут не тужат:
своим мужьям и всем прочим служат...
Когда братья Кинтилиано по улице идут,
все перед ними замереть должны...
Но есть еще те, кто с «другой стороны»,
как с ними сладить, вот в чем вопрос?
Писал все это Тониико Хвост.

Тониико Хвост отпирался, призывая в свидетели всех святых и самого господа бога, клялся распятием, божьим светом, материнской душой — не оп писал. Но на всякий случай Тониико спрятался.

¹ Антонио Консельейро — предводитель крестьянского восстания в местечке Канудос (северо-восток Бразилии) в 1897 г.

Жоан Кинтилиано выскочил из дому разъяренный, на груди у него красовался желтый цветок, он был пьян и потрясал оружием, изрыгая проклятия, на пороге он споткнулся, его физиономия перекосилась, будто от зубной боли, он выстрелил в воздух и вместе со своими родичами начал громить Варжен.

В ход пошли палки, даже ножи, в будний день стало как в праздник — никто не работал. Люди Кинтилиано прочесывали дома — искали автора анонимки. Тут кто-то вспомнил о Мануэле Бапטיста, местном Аретино¹. Его нашли в сарае у Жоана Итальянца — он обучал детей лавочника грамоте.

Мануэл Бапטיста даже вспылил: он не вывешивает на деревьях дурацких стишков без подписи! Да еще с грамматическими ошибками! Он человек не простой, он пишет свои сатиры на хорошей бумаге, для избранной публики, способной оценить красоты стиля. Их ждут с нетерпением, читают по очереди, передавая друг другу! И в доказательство своих слов он достал и прочел дрожащим голосом, но не теряя достоинства, свое последнее творение, сочиненное на злобу дня, которое, как обычно, заканчивалось его полным именем, эффектно зарифмованным в последней строке:

Не осилить мне грамматику с фонетикой,
не освоить книжный слог:
я и собственное имя-то
правильно бы написать не смог.

Жоан Кинтилиано почтительно слушал, потрясенный силой образованности и искусства. Он извинился и повторил в обратном порядке свое шествие по предместью, избивая всех, кто был ему не по душе, и только вечером, вымотанный, взмокший, он махнул рукой и решил прекратить дальнейшее расследование.

В это-то беспокойное время я и приехал в Лажинью, и все, что нужно, намотал себе на ус.

Скука в поселке была смертная. А я-то мечтал о дружеских беседах у огонька, о батукке² и поединках гитаристов, о соревнованиях наездников, но мечты мои остались мечтами, как говорится: искал-искал, да и серп сломал. Особенно тоскливо бывало по вечерам. Дома стояли тем-

¹ Аретино, Пьетро (1492—1557) — известный итальянский сатирик.

² Батукке — негритянский танец, сопровождаемый игрой на ударных инструментах.

ные, на улицах — ни души. Лишь редко-редко проскачет какой-нибудь всадник. Тишину нарушает лишь лягушечье кваканье, далекий, будто потусторонний лай собак, тоненький стрекот сверчков да тягучее мычанье скота.

— Что же вы, люди добрые, по вечерам делаете?

— По вечерам? Ноги помоем, молока попьем, и спать.

Зато уж по воскресеньям, но только по воскресеньям, по улицам катится людской поток. Едут на лошадях, осллах, а спешатся — лошадей привязывают возле домов — вот когда я понял, для чего служат все эти столбы из гуарантá или мастикового дерева, с железными кольцами, которые тут на каждом шагу. Люди собираются в поселок из окрестных лощин и долин, радиусом в полторы легуа, идут на зов колокола послужить господу богу. А после обедни по обеим улицам растекается говорливая пестрая толпа кумушек, за ними идут мужчины в ботинках на босу ногу или в носках и алпаргатах — те, кто вымаливал в церкви прощение за какую-нибудь провинность.

Скучища! Много тут, правда, разных плодов — и пеки¹, и груши, и апельсины, и кокосовые орехи. Быка, у которого один рог короче другого, здесь называют «кривым», а про черноголового со звездочкой во лбу говорят «меченый». Здешние негры готовы отдать жизнь за карнавал в Конгадо, который длится всего три дня, а готовиться к нему надо целый год, если хочешь показать себя во всем блеске.

Тогда я и увидел храбреца Таржино. Он был худ, уродлив, зеленовато-бледен. На ногах у него красовались не только ботинки и носки, но еще и подвязки, надетые поверх брюк. Он ни разу не улыбнулся. На празднике он выглядел лишним. Меня он не заинтересовал.

Вот Мануэл Фулб — другое дело! Щуплый, похожий на подростка — маленький огурец, да уже пожелтевший — он напоминал шута из фазенды, шута второго типа. Потому что в каждой фазенде есть свой шут, и бывают они двух типов: низенький старичок с реденькой бородашкой или такой вот безбородый, моложавый, косноязычный, глуховатый, придурковатый. При этом Мануэлу Фулб нравилось придавать лицу зверское выражение и разговаривать хриплым голосом, чтобы казаться храбрецом. Но, когда случалось ему улыбнуться, то улыбка получалась у него заискивающая, как у хозяина гостиницы. Вид у Мануэла был нездоровый, в его афро-индейской внешности было что-то

¹ Пеки — плоды дерева пекизейро.

от айморэ¹, а что-то от европейца: прямые черные волосы, гладкие, будто их корова лизала; широкие скулы; острые, прижатые к голове уши, узкий покатый лоб, косые глаза и приплюснутый монгольский нос.

Он принадлежал к здешнему многочисленному, болезненному и вялому роду Вейга, племени неудачливых погонщиков, которые вечно переезжали с места на место и жаловались на жизнь: «Чистое страдание...» Мужчины из рода Вейга ездили за много легуа, сидя по несколько человек на худой кляче — один в седле, другой на крупе, еще мальчонка спереди — чтобы продать в поселке связку золотистых бананов, полмешка прогорклой кукурузной муки или шкуру сумчатой крысы.

Но вот Мануэл Вейга, по прозвищу — Мануэл Цветок, а еще — Мануэл Фулб, или Манэ Ухажер, или (бранно) Манэ Кобыла — жизнь вел иную. Он был окончательно, беспросветно ленив, свирепо ненавидел всякую работу; самым сильным его желанием было узнать, кто ее выдумал, да и расправиться с ним — отвести душу. Поэтому я называл его Мануэл Фулб.

Для начала он рассказал мне, что его брат приручил ангольскую курицу — она спит у него под койкой. Я не поверил. Но это подтвердили весьма почтенные люди, прибавив, что, кроме ручной птицы, он держит еще крысу в клетке — хочет, чтобы она стала другом полосатого котенка. Я извинился перед Мануэлом, и мы подружились. Я оценил его еще больше, когда узнал, что Мануэл — единственный в поселке, кто ест грибы с мясом, вместо киабо². И не какие-нибудь лесные поганки, или «уши», растущие на стволах, не «жабью шапку» и не эту неприглядную мелочь, лезущую из высохшей пены после паводка, нет! Он употреблял только «карапикум» — аппетитный желтый грибок, похожий на шампиньон, который водится на пожарах. Я попробовал. Одобрил. И наша дружба стала еще крепче.

Мой друг любил поухаживать, выпить и прихвастнуть. Но и причина у него на это была — Колибри! Так звали его красавца мула, пегого, с черным крестом на спине. Мул был ладный, гладкий, весь лоснился, отличался силой, умом и послушанием — но слушался он только хозяина. Один был у Колибри изъян — слишком толстые губы, это меша-

¹ Айморэ — одно из вымерших индейских племен Бразилии, обитавших на территории нынешних штатов Эспирито-Санто и Баия.

² Киабо — плод дерева киабейро.

ло ему объедать у самой земли остатки травы перед засухой и щипать молодую зелень, появляющуюся с первым дождем. Но мул стоил более тысячи рейсов даже в те времена, когда верховые животные шли по дешевке, и был гордостью Мануэла Фулб. Более того, мул был как бы его неотъемлемым продолжением: верхом на Колибри Мануэл преображался в кентавра.

По воскресеньям Мануэл Фулб всегда приезжал в поселок: «к обедне...» — говорил он. Но он вечно опаздывал, являлся, когда все уже выходили из церкви. Он заглядывал во все лавчонки и таверны подряд, бранился, никто не мог ему угодить. Мануэл без конца всем твердил, будто он — побочный сын нью Пейшото, первого в здешних местах торговца. Этим незаконным родством он гордился почти так же, как и Колибри.

Вечером, когда пора было убираться восвояси, Мануэл, в дым пьяный, не в силах сохранить перпендикулярное положение обнимал за шею своего мула, который вез его в этих случаях крайне бережно и осторожно. Если подпруга была плохо затянута и сбруя грозила свалиться, Колибри останавливался и ждал. Он также умел открывать двери — и только благодаря этим и многим другим доблестям своего мула Мануэл Фулб благополучно добирался домой. «Обо мне так родная матушка не заботилась!»

Но когда моему другу хотелось блеснуть, показать свою прыть, он заставлял мула гарцевать на торговой площади, сильно натягивая поводья, — и тот задирал голову, встряхивал гривой, будто боевой конь на параде.

— Когда я въезжаю в поселок на своем красавце, за которого я тысячу триста отдал, все прямо стонут от злости и зависти, а сами-то небось потихоньку друг другу на меня показывают: «Вон Мануэл Фулб на своем Колибри! Равного ему нет!..»

— А ты, Мануэл?

— Жалко мне их...

— А девушки?

— Ну их... Тут со взгляда начнешь, да бесчестьем кончишь... А где честь задета, там без ножа не выпутаться!

Так вот, Мануэл Фулб начал наносить мне визиты чуть ли не каждый день, и, поскольку Колибри усваивал все очень быстро, то я не на шутку испугался, когда однажды он принялся бить копытами в мою дверь — хозяин у него на спине пребывал в это время в состоянии самой конкретной абстракции. Колибри ломился ко мне, желая, вероят-

но, свалить Мануэла на какое-нибудь ложе. Я вылил на голову всадника ведро воды и спросил, куда он собирается ехать. Он торжественно заявил:

— Я?! Я — прямоком к Тиану, Милитану, в Каниндэ, в Макинэ!

Безумец! Не хватало ему только появиться в фазенде Тиана или Милитана, в Каниндэ или Макинэ, в особенности принимая во внимание способность Колибри ломать двери и врываться в дома к почтенным гражданам.

Однажды жарким сонным полднем с улицы позвали: «Хозяин дома?» Я откликнулся: «Кто там?» — так и завязалась эта история. Я вышел. Передо мной стояла веселая полногрудая девушка, пухленькая, словно перепелка. Смазливая, довольно светлая, а глаза зеленые. Она удивилась и вспыхнула — стала цвета питанги¹ — не ожидала увидеть городского сеньора в галстуке. Мне пришлось подбодрить ее:

— Ну?

Тогда она сказала, что выходит замуж, и, по обычаю, ходит по домам, собирая «подмогу». Я дал «подмогу», по спросил, кто же жених.

Оказывается — Мануэл!

— Фулб?

— Да, сеньор...

И счастливая невеста ушла в сопровождении своей пожилой спутницы. Глаза у нее — скорее цвета водяной тыквы. И еще я заметил веснушки.

— Значит, сеу Мануэл Фулб, Манэ Ухажер, ты женишься?

Мануэл Фулб зашел ко мне в тот же день, назвал самым лучшим доктором в мире и предложил выпить пива за мой счет.

— Женюсь. Кровь Пейшото! Ничего не поделаешь...

— Знаю, что женишься, мог бы меня предупредить. А ты совсем не Пейшото, ты Вейга из Сан-Томэ.

— Да вы послушайте, сеу доктор: я незаконный сын ньо Пейшото! Вы разве не заметили, что я не такой бледный и хилый, как все эти Вейга?.. Старый Вейга мне только по имени отец, я его уважаю... Но по-настоящему-то я сын Пейшото. От него у меня и сила! Я ведь какой: живу тихо, ни к кому не лезу... Но и меня не трогай! Я оскорбления не стерплю, я на своем Колибри...

¹ Питанга — дерево с ярко-красными цветами.

— Ладно, Мануэл Фулó Пейшото, твоя невеста — красавица...

— Не смейтесь, сеу доктор, я знаю, какая она, я пока еще не ослеп. Но она смышленная, добрая, работающая... Верно?

— Верно. Давай, Мануэл, пива выпьем, отпразднуем твою помолвку!

Я повел его в лавку, я знал, что Мануэл Фулó кичится своей дружбой со мной. И, как только мы уселись на складные стулья, я спросил:

— Скажи, Мануэл, ты ее вправду любишь?

— Люблю! Люблю, сеу доктор...

— Это хорошо, Мануэл, хорошо...

Мы оба отвели глаза в сторону и погрузились каждый в свои мысли. Наконец Мануэл вздохнул и признался:

— Я вам вот что скажу. У меня в жизни три мечты было, только три: мексиканское седло достать для Колибри... а еще — стать хозяином лавки или аптеки... или начальником поезда, чтобы форменную фуражку носить! Но это ведь невозможно... Ни лавки, ни поезда, ни седла у меня нет... Вот я и решил жениться... Поэтому и женюсь, сеу доктор!

По подбородку Мануэла текло пиво, но глаза смотрели печально.

— Значит, ты не любишь ее, Мануэл Фулó?

— Люблю. Привыкаю. Она добрая... Бедная, как и я... А мне хотелось бы седло мексиканское, и полную сбрую, как у гаушо, разукрашенную, с узорчатыми стремянами и всем прочим... Вот это было бы счастье, милый вы мой сеу доктор, дорогой мой друг!

— Хватит пить, дружище Мануэл Фулó Пейшото...

— Да я совсем не пьян! Меня только зло разбирает. Кровь Пейшото — не шутка, горячая кровь. Я не за себя — мне за Колибри обидно...

— Хороший у тебя мул...

— Хороший?! Да такого красавца свет не видал!.. Он ведь и не спит никогда... Я никогда не видел, чтобы он лежал, клянусь небом! Такого второго нет и никогда не было... А я ведь в животных-то разбираюсь, это мой хлеб, тут меня не проведешь!

— Конечно, разбираешься, Мануэл Фулó.

— Еще как! Не зря же я два года водился с цыганами, таскался с ними туда-сюда?!

— Ты жил с цыганами, Мануэл Фулó? Расскажи, как это было...

— Мне в то время неохота было грубую работу делать... Вот и стал прикидывать, что да как... А в скотине-то я с малых лет разбираюсь... Но хотелось, чтобы равных мне в этом деле не было... А кто у нас по этой части лучшие знатоки? Цыгане. Вот я и связался с ними, чтобы у них все эти секреты выведать. Прибился к табору...

— Привольная у них жизнь, Мануэл?

— Ничего себе... Да мне-то что?! Я только хотел все их уловки вызнать... Спал в палатке, ел капусту с луком да с вареной козлятиной... И быстро научился понимать их чертовский язык... Я же не дурак! А притворялся, будто не понимаю! Помогал им кастрюли паять да котлы ковать. Это они мне доверяли! Ох, и умные же они, подлецы!

— Коней-то они здорово крадут?

— Еще как! А потом их такими красавцами делают, заглядение!.. Даже перекрашивают, чтобы прежний хозяин не узнал!.. Возьмут, например, облезлого темно-рыжего со светлой мордой, поколдуют над ним, узду особую приладят — и останется только найти какого-нибудь дурака да раззадорить его... И загребут хорошие деньги — не зря же старались... Мошенники они, да жить-то надо?

...Они любили меня, думали — я дурачок совсем... Я так ловко прикидывался, что они даже стали поручать мне продавать животных. Но предупреждали: «Болтай, что хочешь, но ухо держи востро, меняйся только на вороного, что пекарь держит, да еще сотню проси в придачу, или на того, знаешь, в чулках, которого хочет продать жена дядьки из переулка, за того семьдесят еще проси...»

...Вот хорошо-то было! Не торги — конный цирк! По улице ехал-гарцевал... Одевался я с выдумкой: если конь вороной, и я в черной паре, а если пегий, то и на мне — куртка одного цвета, а штаны другого... И сделки я заключал выгодные... Все ведь были уверены, что надувают меня, дурачка несчастного...

— Ну, а цыганочка тебе какая-нибудь понравилась?

— Да нет! Не до того было. Дело есть дело. Я же у них был вроде школяра, ремеслу обучался. Когда понял, что все уже знаю, ушел от них... Очень они мне нужны, паршивые плуты?! Одно слово — цыгане... Тьфу!

После я здесь, в поселке, обосновался.

...Тогда я уже знал все цыганские хитрости, как коней обрабатывать. Ну, похлопаю по крупу какого-нибудь плос-

козадного — таких «медвежьей корзиной» называют — кривоногого, поступь у него шаркающая, на копытах наплывы... И начинаю я с ним возиться, кукурузой его откармливаю, даю ему соли с серой, мышьяку, еще зелий разных — если заинтересуетесь, могу и вас научить... Особую узду ему надену, с железным мундштуком; цепочку мундштука то посильней затяну, то ослаблю, смотря по надобности, погоняю его, поучу, и вот вам отличный верховой конь, идет в галоп — заглядение!

...Никто лучше меня в лошадях не разбирался! Бывало, только стукну коню в грудь кулаком и кричу: «Беру его, по рукам!»

...А бывало, выглядит он как картинка, поджарый, резвый, а я кричу: «Уберите эту дохлятину! Разбит на передние ноги, на нем даже камней не повозишь!»

...Я только пальцем по конским зубам проведу, и уже знаю — дурной, челюсть тяжелая... Такой мне и даром не нужен!

...А вот вялый, унылый, и коленки у него подгибаются, и передняя часть тяжелая — а я вижу, что подходящий, я его меньше чем за неделю в такой вид приведу, что еду на нем по улице, а он, дьявол, пританцовывает, глаз не оторвать!

...Когда я от цыган ушел, стал на свой страх и риск барышничать. Денег загребал — страсть!

— Людей обманывал, Мануэл?

— Не без этого! Барышник жизнь ведет кочевую, нигде надолго не задерживается — пока покупатель догадается, какое добро ему всучили, ты уже далеко и назад воротиться не спешишь... Надо подождать, пока ярость у того поостынет и захочется ему отыграться, заключить новую сделку, чтобы на этот раз тебя в дураках оставить... Тут самое время снова пыль ему в глаза пускать...

...Но когда я здесь насовсем обосновался, я уже не мог плутовать, приходилось честно дела обделывать... И вот вам крест — честней меня барышника не было!

— Тогда почему же ты, Мануэл, оставил эту деятельность?

— Вот то-то и оно! Что я и говорю... Глупость я одну сделал, не удержался... Вы только себе представьте, стала меня обидать братья — цыгане-то меня круглым дураком считали... А я ведь не хуже их! Не лыком шит! Сплю, а мух вижу...

...Росла моя обида, росла, и решил я цыганам нос уте-

реть, пусть знают, какова кровь Пейшото! Думал я, думал, да нашел двух самых что ни на есть никудышных кляченок, барахло, хуже не бывает...

— Какие же они были, Мануэл?

— Одного звали Похититель Невест. Насмешка одна, на нем и дряхлую старушку не увезти! Масти был он светлой, будто молочный суп, зеленоватые глаза гноем заплыли, на свет божий не глядит... не шел — ковылял, и головой дергал... И старый — лет двадцать, не меньше... К столбу привяжешь его — смиренно не стоит, все в сторону тянет, удрать норовит. А второй — тот еще был хуже, совсем помешанный, вот как люди помешанные бывают! Ноги сплошь в шишках... Пустить его в галоп, так он, бедняга, и приседает, и ноги волочит... Рысью идет — на каждом шагу спотыкается... Об иноходи и говорить нечего — сбивается, вместо двух ударов — четыре делает... Был этот гореконяга светло-гнедой масти, а звали его Веер... Морда короткая... И десны у него разрослись, зубы шатались — жевать не мог!

— Столько болячек у одной лошади, Мануэл?

— Чистая правда! Хвост зато у него был богатый, сеньор доктор!

— Ну, и...

— Ну, поставил я их рядом, смотрю на них и смеюсь: вот этими-то страшилищами я и проучу шайку цыган-мошенников! Это я про себя так подумал, вслух ничего не сказал, только еще больше на цыган обозлился. Как подумаю о них — прямо трясусь от ярости, как в лихорадке!..

...Уж и повозился я со своими клячами! Три месяца утробил. Старался изо всех сил... Я ведь такой: если чего захочу — добьюсь непременно. Не спал, не ел, выдумывал, что бы мне еще со своими клячами сделать, хотел как следует отомстить цыганам... Шишки на ногах у Похитителя Невест я змеиным ядом мазал, я им, как дантист, зубы приводил в порядок... Не щадя сил трудился!.. Глаза Похитителю Невест подвел черной краской, он у меня на солнышко стал глядеть... Я их фальшивому ходу выучил, как в цирке, и что бы вы думали? Под моим взглядом и на близкое расстояние они, все силенки свои собрав, шли как следует... А вадумают безобразия свои вспомнить — я как свистну, и они, из страха перед хорошей трепкой, снова идут как мишеньки! Вроде бы приняли они мои условия и договор со мной заключили — на несколько минут правильный ход держать. Видать, сердце у них было доброе...

...Я знал, что на святой неделе цыгане к нам явятся. Так и случилось. Веер и Похититель Невест были уже в полной форме. Я им уши вычистил, выскреб их, вымыл, блеск навел, нарядную узду надел... Порядок!..

...Напоследок я еще — да простит меня господь бог, нехорошее это дело — Вееру губы разбил, чтобы цыгане подумали, будто он из-за этого ест плохо, и не полезли ему небо разглядывать... Наконец настал тот день!

...На площади перед церковью толпилось уже много народа, когда я появился там со своими конями, в святую субботу, утречком... Я ехал верхом на Похитителе Невест, а Веера вел за недоуздок. И будто до цыган мне дела нет, и торговать я не собираюсь... Но сеу Пашеншо, цыган, мой бывший хозяин, увидал меня и окликнул:

— Эй, парень! Это твои лошадки? Давай меняться!..

— Упаси господи! — отвечаю. — Где мне с вами тягаться... Да вы меня запросто облапошите... Другого кого-нибудь поищите... А меня уж оставьте в покое!

...Но тут Кунтрино, другой бессовестный цыган, плут, каких мало, начал уже осматривать Веера, да как заорет:

— Брось дурить, приятель! Никакой ты не «ганжо»... Ты наш, ты настоящий «калэ», уступи мне этого «грая»!..

Грай по-ихнему лошадь...

— Знаю. Ну, а потом?

— Я согласился — пусть делают, как хотят... Они их осмотрели, обнюхали, еще раз осмотрели, верхом на них поехали, опять осмотрели, обнюхали, зубы проверили, за узду подергали, заставили моих кляч пробежаться — все, как положено...

...Тут еще один цыган подошел, Бертоламеу, он издали наблюдал: есть у коней такие пороки, которые только на расстоянии разглядеть можно... Тут мне нехорошо стало, я-то ведь знаю — один цыган, даже с завязанными глазами, половину лошадиных изъёнов пронюхает, два цыгана догадуются, чем лошадь кормили, что у нее сейчас в желудке, ну, уж а три цыгана, сеньор доктор, скажут вам имя кобылы, которая ее родила...

...Бертоламеу подошел к Пашеншо и Кунтрино, и они долго шушукались на своем дьявольском языке. А потом подводят ко мне двух лошадок — одна дряхлая, тощая, серая в яблоках, другая — пугливая, с гривой на пробор...

...Я сразу смекнул, что кони у них дрянные. Пугливая серая кляча, когда ложилась, ноги по-коровьи сгибала и была слепа на один глаз. Но я сразу увидал, что слепота

у нее поправимая, — просто пленка разрослась и закрыла зрачок — мне ее потом сеу Раймундо, аптекарь, снял... Тощая, та, казалось, долго не протянет... Были на ней рубцы от двух кровопусканий... Худо! Но я догадался, что она загнана и ей нужен отдых, в последние два месяца цыгане много ездили, торопились, не берегли коней — хотели поспеть в поселок к святой... Я это по стертым подковам понял — и края копыт тоже обитые были, неровные...

...Имелись у цыганских лошадей и другие изъяны, но до моей парочки им все равно далеко было... Поэтому я приворился, будто их пороков не вижу... мне ведь нужно было сеном прикинуться, чтобы осла съест!.. Я их похвалил даже:

— Красавчики! Но у меня денег на приплату нет. А жаль!..

...Цыгане переглянулись с ухмылкой, я сделал вид, что ничего не заметил... Они просили накинуть хоть двадцать монет. Но я-то знал, что это у цыган страсть такая — коней обменивать, хуже болезни, и уперся, врал, будто и брючной пуговицы в придачу дать не могу. Так-то, сеу доктор, плечо дурака — умному ступенька!.. Попались они на мою удочку!.. И я продолжал упираться...

...Наконец, когда я понял, что они вот-вот сдадутся, я свою главную карту выложил:

— Согласен, но вы дадите мне магарыч — десять тостанов, обмыть сделку, а то что-то денежки в наших краях редко стали... повывелись...

...Я лгал! Я хотел, чтобы они заплатили только с одной целью: навеки опозорить все их цыганское племя!..

...Сеу Пашеншо нахмурился, но Кунтрино выскочил вперед:

— Десять тостанов — пустяк... Держи...

...Мамочки мои! Как я только в эту минуту от радости не помер! Едва мы по рукам ударили, я заорал: «Ура! Облапошил цыган!» Весь народ собрал и стал рассказывать, как это мне удалось, и, чтобы мне поверили, все изъяны кляч своих показал, которых цыгане не заметили! От радости я катался по земле, дрыгая ногами и крича по-цыгански:

— По мне, теперь хоть конец света!

— А цыгане?

— Они чуть не забесились, ругались последними словами, хотели даже расторгнуть сделку. Но я вспомнил, чья в моих жилах кровь течет, и тоже в долгу не остался! Я их

даже гаррушей пугнул! Я вам не кто-нибудь, я незаконный сын самого Пейшото, убирайтесь-ка подобру-поздорову со своими клячами, пока целы!

...И они прикусили язык и убрались, потому что, стоит только кому-нибудь из них ввязаться в драку, как местные жители тотчас вступятся за его противника, хотя бы он был самый распоследний человек — пользуются случаем как следует избить цыган... Я и то считаю, что это несправедливо...

...Но, ух ты, дьявол! Здорово это у меня вышло! И сейчас вспомнить приятно! Лучше, чем сладостями лакомиться!

— Красиво получилось, Мануэл...

— Верно? Такое сделаешь — потом есть чем в трудную минуту утешиться...

— Еще пивка, Мануэл?

— Не откажусь, сеу доктор. Но, знаете, после этого случая мне плохо пришлось: никто больше не хотел у меня коней покупать... Растерял я клиентов... Черная неблагодарность с их стороны, я ведь своих, поселковых, в жизни никогда не обманывал. Тут совесть моя чиста... Да куда там! Только я и слышал: «Нет, с тобой лучше не связываться, ты и цыгана надуешь...»

Вот и не довелось мне разбогатеть, остался я на бобах. Такие поступки до добра не доводят. Раз покуражишься, потом всю жизнь расхлебываешь. Кобыла копытом посиленей стукнет, и развалится часовенка твоя, с трудом построенная...

— Ты прав. Мануэл Фулб... Ты бы цил поменьше...

— Ничего, я еще не пьяный. Я только злой! Зло меня берет, как подумаю, что у Тоникиньо Каменщика хорошее мексиканское седло зря лежит, ни коня у него, ни мула! Он бы мог его мне по дешевке продать, ему ведь не надо... Разве что самого себя оседлать! Не продает, хоть ты лопни, а ведь я додумался, в чем тут загвоздка: хочет он оттяпать у меня Колибри!.. Но не видать ему Колибри, как своих ушей, хоть он мне за него алмазные россыпи предложит! Даже если бы Колибри, не дай бог, сдох, я бы этому скареде шкуры не продал!..

— Успокойся, Мануэл.

— Ух, как я его не люблю! Никчемный он и бессовестный... Хуже его у нас в поселке каменщика нет, стену толком сложить не может. Только и умеет, что колдовать, настойки разные из лесных корней делает на продажу да заклинания бормочет. С нечистой силой водится. Нику-

дышный он человек! Зачем только такие на белом свете живут!

— Разошелся ты, Мануэл Фулó.

— Не смейтесь, сеу доктор! Вам бы, как и мне, ненавидеть надо пса этого, Тоникиньо Знахаря... Он ведь народ от вас отваживает. Говорит, ученый доктор лечить не умеет, а он, Тоникиньо, исцелит и верней, и дешевле... Только о собственной выгоде думает! Ведь он что делает? Никаких рецептов не выдает, потому что лекарств не знает, да и писать-то, верно, не умеет, его никакой аптекарь не поймет... Он болезнь заговаривает, от всего берется вылечить, а еще болтает — не надо, мол, аптекарских лекарств принимать, кроме разве что «сердечных». Погодите, он еще на вас какую-нибудь порчу напустит, чтобы заставить вас отсюда уехать...

— На меня колдовство не действует, Мануэл!

— Все же нецлохо бы вам его припугнуть, попросить прислать сюда лейтенанта с солдатами, если он не бросит своей ворожбы и не согласится уступить мне мексиканское седло! Слишком уж вы добры, а он ведь у ваших детей хлеб отбивает...

— У меня и детей-то нет, Мануэл!

— Ну, и что? Нет, так будут, какая разница! И потом, скажите-ка мне, сеньор доктор, по совести: если кто без надобности хорошее седло держит... А у другого мул, каких поискать, холеный, ученый, ходкий и умный, как человек... И тот, у кого седло, хочет купить мула, а хозяин мула хочет седло и первый об этом заговорил... Так кто же, по-вашему, из них прав? Конечно же, хозяин мула!

— Но, Мануэл...

— Так-то! Сразу видно — правда на моей стороне. Он-то, безбожник, скаред, только и знает, что над добром своим трясется... Я даже боюсь, как бы седло у него без употребления не сгнило. А еще боюсь, как бы он, зная, что Пейшото от своего не отступится и что я не продам — не-про-дам! — Колибри, не напустил бы на него какой хвори, упаси господи!

— Упаси господи, Мануэл!

— Если он что-нибудь такое посмеет, я его своими руками! Шесть пуль!

— Хватит пить, Мануэл Фулó. Ты уже совсем окосел.

— Ладно, хватит, вы и так потратились, вон сколько пустых бутылок стоит... Я только хотел вам еще растолковать, сеу доктор, что я...

И Мануэл Фулб, точно с цепи сорвавшись, пошел нести околесицу, как вдруг... Как вдруг в дверях возник — страшный, как оживший покойник, опасный, как обнаженный клинок, обдающий холодом, словно жаба, Его Величество Храбрец Храбрецов — Таржино Тигр.

Тигр свирепо двинул левым плечом, вытер ноги и пошел прямо к нам, будто официант, несущий заказ.

Мануэл Фулб съехал на самый краешек стула, хотел, видно, встать, поклониться, но не смог от растерянности. Я не двинулся, стараясь сохранить достоинство, но внутри у меня все дрожало, потому что рожа убийцы не предвещала ничего хорошего.

Мануэл Фулб, не дожидаясь, пока тот подойдет вплотную, зашел:

— Здравствуй, сеу Таржино, как поживаете?

— ...здрас!.. здраст, сеу доктор...

Я ответил на приветствие нетвердым голосом, почти-точно приподнял шляпу. Но вновь пришедший был краток:

— Манэ Фулб, на два слова, с вашего позволения, сеу доктор...

Это было чистой формальностью: Таржино говорил громко, от самых дверей, на расстоянии трех метров от меня. У Мануэла Фулб подкосились ноги. То, что я услышал, было ужасно:

— Манэ Фулб... мне девка приглянулась, твоя невеста, я завтра к ней заверну... Послал предупредить, чтоб ждала... Денек позабавлюсь, потом женись на ней, сколько хочешь... Будешь сидеть тихо, пощажу... А не то... — И Таржино сделал вид, что спускает курок, целясь в моего несчастного друга и смеясь ледянящим смехом маньчжурского палача. Потом повернулся и вышел, не попрощавшись.

Весь похолодев, я не ощущал своего тела и как-то невольно заерзал на стуле. Мануэл Фулб шатнулся к прилавку, хотел взять стакан, не смог, провел рукой по вспотевшему лбу:

— Я... я... я...

Вокруг нас уже собрались любопытные, слышались обрывки фраз:

— Бедняга Манэ... Бедняжка его невеста... Бедняга Манэ Фулб...

Я схватил его за локоть и вывел на улицу.

Было уже темно, мы шли, спотыкаясь о выбоины. Вско-

чила испуганная нами белая козочка. Если Мануэл и хотел говорить, то не мог: у него зуб на зуб не попадал.

Я привел его к себе домой.

— Оставайся здесь на всю ночь, Мануэл. Я что-нибудь придумаю...

Но несчастный, вытаращив глаза, умолял меня тонким голоском, шедшим откуда-то из самой глубины его существа, где уже не было ни опьянения, ни португальско-индейской гордости:

— Не надо, сеу доктор... Это сам дьявол... Ничего святого для него нет, и управы на него нет...

— Эх, Мануэл! И не стыдно тебе говорить такое...

— Я... Мне?

— Сидеть сложа руки — позор. Надо защитить твою невесту Марию дас Дорес! Есть минуты, когда каждый обязан стать героем!..

— К черту!..

— А любовь, Мануэл? Она же твоя невеста! Эта история...

— Какая еще история! Вы что, издеваетесь?

— Нет, ведь...

— Реветь!

— Моя...

— Свинья!

— Довольно!

— Вольно!

— Мануэл, если ты не прекратишь пьяных выходок, я выпвырну тебя на улицу! А, ты пришел в себя, не правда ли? Так вот, давай подумаем... Почему бы тебе не попросить помощи у нью Пейшото?

— Упрямый он... Мне с ним не столковаться...

— Ладно, но уж если кровь Пейшото такая горячая, поди приготовь оружие, чтобы достойно встретить Таржино, когда он завтра пойдет на приступ.

— Значит, и вы мне больше не друг, сеу доктор? Смерти моей желаете? Любого другого я бы пути раздавил, но Таржино — отчаянный, он же убийца!

— Хорошо, Мануэл Фулб, раз силой его не возьмешь, тогда... Ты же даже цыган сумел обвести вокруг пальца, помоги мне придумать какую-нибудь уловку, чтобы погубить Таржино хитростью...

Мануэл Фулб осклабился — осклабил большие желтые, как у лошади, зубы, похожие на кукурузные зерна, и сказал:

— Не поможет... Времени нет, сеу доктор! До завтрашнего дня я ничего не придумаю... Мне и самые-то простые мысли теперь в голову не лезут...

Мне показалось, что перед лицом неизбежности самое лучшее — усилить анестезию, дать ему еще вина. И я дал.

Он выпил, рыгнул и просительно проговорил:

— Обещайте, что позаботитесь о моем Колибри...

— Эх, Мануэл! Кого же ты больше любишь: дас Дор или Колибри?

— Простите, сеу доктор, но о таких вещах не спрашивают. Одинаково люблю, но дас Дор мне дороже...

И он заснул.

Наутро я встал очень рано. Мануэл Фулб еще спал пьяным сном. Я решил принять кое-какие меры.

Выходя из дому, я встретил Висенте Сорренте Сапожника, тот предупредил меня — в его глазах был страх:

— Не делайте этого, доктор. Гоните Мануэла в шею. Таржино может подумать, будто вы с ним заодно...

Пока я шел до дома полковника Мелгеро, я выслушал то же самое еще раз пятнадцать. Жители Лажиньи высыпали на улицу, суетились, как муравьи перед грозой. За последние несколько месяцев Таржино не совершил ни одной зверской выходки, и все ждали:

— Сегодня... Сегодня не миновать!

Полковник Мелгеро был неплохим человеком, но его прозвали «Рохля-Мямлерио». Он выслушал меня, пожал плечами и равнодушно сказал:

— Если хотите, можете ликвидировать Таржино. Полиция вам спасибо скажет. Но человека на такое дело вы тут не найдете. Никто не отважится...

Тогда я пошел к викарию. Его преподобие возвел глаза к небу с видом обнаженной девственницы, брошенной на арену римского цирка, и пообещал молиться, я не стал его отговаривать, потому что, как говорят, деньги не помешают, ласка и молитва лишними не бывают.

Тут уж я начал опасаться за сохранность собственной шкуры, и вернулся домой в унынии, мечтая, чтобы этот злосчастный день благополучно закончился. Мануэл Фулб не решался и носа за дверь высунуть. И все многочисленное племя Вейга, узнавши каким-то образом об ультиматуме Таржино, набилось в мою квартиру.

Одна из женщин Вейга бросилась передо мной на колени, сложив руки:

— Спасите Манэзиньо, сеньор, он вас так уважает!..

И какой-то бородатый Вейга немного спокойнее пояснил:

— Мы пришли посоветовать Манэ, чтобы он не натворил глупостей... Лучше оставить все, как есть, и сидеть тихо... Девка ведь его любит... Потом женится, будто ничего такого и не было... Женятся же на вдовах!

Не ведали они, что Мануэл — самый настоящий Вейга и страстно желает, чтобы господь бог лишил его на сегодняшний день способности двигаться или чтобы земля разверзлась под ним и он провалился в бездну, желательно мягкую.

Во всей этой сутолоке я решительно не знал, что делать, а любопытные все прибывали, под предлогом медицинской помощи или дружеского визита, несмотря на ранний час. Шепотом, от одного к другому, будто по проводу, передавались последние новости:

...полицейский уполномоченный уехал еще затемно, по срочному делу: ловить конокрада в двух километрах от поселка... Мария дас Дорес заболела от страха, сидит в хижине с матерью, зовет жениха... Таржино еще не вышел...

— Может быть, забыл или раздумал?

— Ну, не надейтесь!

И никто не знал, когда Чудовище явится за Красавицей.

Итак, карты были розданы, и тут-то и началась самая главная часть нашей истории, потому что, как вы уже слышали, жил на свете Антони́ко Каменщик, он же Антони́ко Знахарь, колдун и шаман. И он владел мексиканским седлом, праздно стоявшим у стенки за неимением коня, и мечтал заполучить Колибри, который, несмотря на толстые губы, стоил тысячу триста рейсов и был гордостью друга моего Мануэла Фулó. И вот Антони́ко, колдун и знахарь, хоть и был он моим конкурентом, вошел ко мне в дом и отозвал Мануэла Фулó в угол — поговорить о секретном деле.

Я ничего из их разговора не слышал. То есть почти ничего; кажется, Мануэл отказывался, запинаясь и задыхаясь. Его собеседник настаивал и оживленно жестикулировал, горячо что-то доказывая.

Время шло. Собравшиеся галдели, потом разом смолкли. Положение было не из легких, ожидание становилось невыносимым.

Внезапно дверь комнаты, где велся секретный разговор, распахнулась и вышел Антони́ко Каменщик — вид у него был нахальный и таинственный — и велел подать

ему иголку с ниткой, глубокую тарелку, кашасу и жестянку с раскаленными угольями. Мануэл Фулó тоже вышел, он был желтее обычного и мрачно обратился к племени Вейга:

— Отдайте Тоникиньо Знахарю моего Колибри, пусть теперь он им владеет...

Я забеспокоился, некоторые женщины стали плакать — уж очень эти слова походили на завещание. Но оба хозяина Колибри снова закрылись в комнате, забрав глубокую тарелку, угли, иголку с ниткой, кашасу и что-то еще. Наступило как бы затишье перед бурей. Негромкий голос прочитал «Отче наш». С улицы донесся шум — зеваки бросились врассыпную. Кто-то, запыхавшись, ворвался в дом.

— Скорее! Заприте окна и двери. Идет Таржино!

Толпа дрогнула, отступила.

— Заходи внутрь, Тибитиу! — крикнули вновь прибившему.

— Вот он!

Тут снова открылась дверь соседней комнаты и появился Мануэл Фулó. Он был неузнаваем, тверд, и шагал, глядя прямо перед собой, словно лунатик. Мы посторонились, он вышел на улицу. Так баран идет на нож мясника. Я заметил странный блеск его глаз. И, когда он был уже за дверью, родоначальница рода Вейга опомнилась и заголодела:

— Смилуйся, Матерь Святая Богородица!

Вышел и Антони́ко Каменщик — самодовольный, сияющий, спросил — где Колибри? Но ему ответили тоже вопросом:

— Что вы сделали с нашим братом, сеу Тоникиньо?

— Заговорил от пули. Теперь пуля его не тронет!

— Господи Иисусе! Таржино убьет Манэзиньо... Он даже гарруши не захватил, бедняга!

— Держите его! Сеу Тоникиньо отнял у моего сыночка разум!

Но никто не решился выйти за дверь. Таржино уже появился в конце улицы. Он медленно и широко шагал. И очень удивился, увидав Мануэла Фулó. Только они вдвоем были на всей широкой и длинной улице. Мне в голову пришло сравнение с поездом, который несется на теленка, случайно оказавшегося на путях.

В десяти шагах от своего обидчика Мануэл Фулó остановился и неожиданно энергичным голосом выкрикнул оскорбление в адрес матери хабреца.

Таржино выхватил револьвер. Я отвернулся. Словесная перепалка продолжалась:

— Прочь, вошь паршивая! Дурак!..

— Стреляй, сукин сын! Безотцовщина! Я-то заговоренный, а твой час настал!..

Только теперь Мануэл вытащил из-за пояса ножичек — маленький, словно перочинный. И остановился.

Таржино тоже остановился, он не узнавал своего противника. Кажется, он колебался.

Я отошел от окна, я только слышал, как просвистели вдоль улицы пули, пять пуль, будто натянутые струны лопались.

Когда я снова выглянул, то увидел такую картину: Таржино стоит неподвижно, как манекен, а Мануэл Фулб насккивает на него и бьет ножом в грудь — очень точно и с какой-то поразительной грацией. Таржино повернулся на левой ноге, правой черкнул по воздуху и замертво грохнулся наземь. На его лице застыло выражение откровенного страха.

— Понял, черт, что значит — кровь Пейшото?!

Это было черной неблагодарностью в отношении верных Вейга, которые теперь толпились на улице. Нехорошо с его стороны было также всаживать нож в мертвое уже тело, теща ненасытную ярость. А он еще плевал и пинал покойника, весь измазался кровью. Впрочем, его можно было простить — не каждому удается грудью встретить убийцу, храбреца храбрецов на боевом пути и прикончить его холодным оружием.

Мануэл Фулб праздновал это событие целый месяц, даже свадьбу пришлось отложить — священник не желал венчать пьяного. Я был шафером.

Но лучше всего, что мой подопечный унаследовал титул первого храбреца, потому что вскоре в Лажинью прибыл отряд полиции и все головорезы, претендовавшие на это звание, исчезли кто куда. Но Мануэл Фулб был храбрецом смирным, домашним, так только — для поддержания традиции, местной славы. Лишь изредка, когда удавалось ему обмануть бдительность супруги, он выпивал полбутылки беленького, просил займы у Антонио Каменщика Колибри и наводил страх на поселок — скакал взад и вперед по Прямой улице, стрелял в воздух холостыми, а может и настоящими, и орал, пока, бывало, не заснет, обнявши мула за шею:

— Смотрите, люди, — кровь Пейшото играет!

Разговор быков

Иди, тяни, шагай,
А ну-ка, Бумбá, давай!
Молчишь? И молчи, да знай про себя,
Давай, и пусть треснет земля!

(Хор «Бык-Бумбá») ¹

Ну, хорошо, допустим, когда-то, давным-давно, быки разговаривали друг с другом и вели беседы с человеком, дело известное, в волшебных сказках об этом писано-переписано, кто станет спорить? Но чтобы в наши дни, сейчас, вот в это самое время, здесь или там, или где угодно, быки, как ни в чем не бывало, говорили себе, и говорили, и мы с вами, божьи создания, могли понять их речи...

— А я вам говорю, — они разговаривают! — утверждает Мануэл из Портейриньяс, сын старого Тимборны, птицелов и родоначальник целой кучи пузастых Тимборнов, ро-

¹ «Бык-Бумбá», или «Бык-Сурубй» — излюбленное жителями сертана развлечение, восходящее к глубокой старине. Это уличный фарс, в котором участвует много народу, один человек наряжается быком, остальные поют в его честь, подстрекая, подзадоривая возгласами, в том числе: «Э, Бумбá!», — то есть давай, не ударь в грязь лицом, покажи, на что ты способен, и тому подобное. Хор сопровождает оркестр из виолы (род гитары), аккордеона, барабана и бубна.

няющих штаны на ходу, — все словно на один возраст и на один объем, и все как один молодцы собою, в отца. Мануэл Тимборна известен тем, что не работает и никаким другим делом не занимается, а рассказывает истории, которые сам же и сочиняет, да еще о таких вещах, о каких добрые люди слыхом не слыхали, да и слышать не желают.

— Допустим... Может быть, в старину... «...visa sub obscurum noctis pecudesque locutae, Infandum!...»¹ Да... Выходит, и быки? И быки, значит, тоже?

— Вот, ей-богу! Да еще как! Быки рта не закрывают, если хотите знать... Тут была одна история, могу рассказать...

— Ну, рассказывать-то, вас на это взять, чего другого, а уж тут... Вы и распишете, и прибавите, за милую душу...

— Само собой! И что в этом плохого? Тем больше для меня чести, я так считаю.

Начинается эта история на перекрестке Ибиува, сразу после пещеры Мато-Куатро, там, где полями майса и хлопка в белых пушистых коробочках кончаются ухоженные земли сеньоров Каэтано и по обе стороны от дороги царствуют глушь, дичь и запустение; в этом самом месте, весенним утром, купаясь в пыли и солнце, играла ирара², никак не могла наиграться... Это была ее первая ванна, из четырех, а то и пяти, по утрам, непременно...

Как вдруг, — было уже часов десять утра, — от дороги слева донеслось: нейн-нейннейн-ренейннейн... — вечная песня воловьей упряжки.

В это время дикая собака вылизывала себе лапы. Остановилась, наострила усатую морду, верхние зубы обнажила и, не раскрывая пасти, заворчала своим затаенным, но вьедливым «нгр-нгр».

Но то, что ей послышалось, слышится громче, громче, и вот быки уже совсем рядом.

Последний раз нырнув в пыль и встряхнувшись, медовая лакомка легко, по-собачьи, завертелась волчком, стараясь поймать собственный хвост, — это значило, ей нужно было собраться с мыслями и принять решение. Видимо, она что-то надумала, потому что, приволакивая слишком тяже-

¹ «...и привидения... во мраке ночном; и животные возговорили, Дивно промолвить!...» (Вергилий. Георгики, кн. 1, стих. 475. «Сельские поэмы», «Academia», 1933. Перевод С. Шервинского).

² И р а р а — хищный зверек, вроде куницы. Ее еще называют дикой собакой и медовой лакомкой.

лый зад, решительно побежала направо. И совсем было приготовилась убраться в нору, как вдруг уселась, завела одну ногу к затылку и ожесточенно заскребла за ухом, стараясь достать подальше.

Гнусавые, скрипучие, пронзительные звуки повозки хлынули на дорогу.

Ирара быстро огляделась, соображая, куда спрятаться: земля вокруг вся сплошь заросла куруа, бальейрой, санге-де-кристо¹. В два с половиной прыжка и вполоборота она свернулась калачиком, выставив наружу черную спину, слишком яркую в своей черноте. Рыжеватые голова и холка тоже бросались в глаза; но словно для того, чтобы не выдать ирару, оранжевые крапинки цветов куруа слегка поблекли, нижние листья бальейры отсвечивали красным, и даже пыль поддержала игру, являясь сквозь заросли то темной, темно-коричневой, то охряной, то золотистой, то жухлой сепией, сиеной,— в тон и в лад листьям, цветам и ираре. Теперь высмотреть ираринью могло разве что зоркое око ястреба, и то с бреющего полета, или если бы ему пришлось в голову спикировать.

Еще лучше удалось скрыть запах, эту резкую вонь дикой собаки, все перебил сладкий хмельной аромат спелых яблок; он шел от плодов вьюнка, что рос как раз рядом.

Вот какова была эта ирара; может быть даже, она была гениальной: со всем тем, в глубине души, была она просто-напросто женщина, как все женщины, робкая и любопытная: «Мне только взглянуть одним глазком, и все, и я ухожу...»

Не успела она спрятаться, как на повороте, из-за леса, показался мальчик-проводник, Тианзиньо,— человечинка небольшого роста, с длинной палкой на плече, в соломенной шляпе, засученных штанах и широкой полосатой рубашке, распахнутой на груди и свисающей складками сзади.

Он казался грустным, но шел легко, быстро переступая сандалиями, потому что над самой его головой двигались толстогубые слюнявые морды двух быков направляющей пары. Это были Бускапé, темно- и светло-желтый, с тяжелой головой в складках подгрудка, и Наморадо, происхождения португалец, винно-каштановый, местами почти красный,— оба готовы, того гляди, забодать и растоптать любого.

¹ Куруа, бальейра, санге-де-кристо — названия дикорастущих кустарников в Бразилии.

За этой парой следовала упряжка, надежда и опора проводника: Капитан, белый в желтую крапинку, и, справа от него, Брабагато, — бело-черный, не в пятнах и не в крапинку, а так, — уголь в инее или иней в угле, и правом тоже сразу не угадаешь: не то чересчур смиренный, не то вовсе шальной, — ни туда, ни сюда, середина на половину. Оба старше, чем быки из головной упряжки.

На шаг позади — предхвостовая упряжка, краса и гордость всей восьмерки: белый с ног до головы, как индийский принц, Дансатор, мужественный и прекрасный, и за даму при нем — Брильянте, небольшой, гладкий, черно-блестящий. Эти тоже старше тех, кто перед ними.

И позади, — несущие дышло, послушные, огромные, — крупней уже не бывает, — шествовали степенно оранжевый Реалежо в бело-коричневых чулках, и Каниндé, толстощекий, рога полумесяцем, спина и живот белые, а бока пестрые.

Ломая землю железными ободами колес, выстывая и вывизывая свою вековую песню, дергаясь и кряхтя на ухабах, тащился вслед за быками допотопный рыдван. И рассматривая его из своего укрытия, крутила мордочкой туда и сюда ирара, такая серьезная, юная и изящная, что, будь она женщиной, ей очень пристало бы имя Ризолета.

Рядом со своим экипажем шагал Аженор Сороньо, погонщик, рыжий и ражий, весьма непригожий с лица, он прошел рядом с ирарой, и она содрогнулась, увидев так близко стальной наконечник его устрашающей палки. Ее счастье, что повозка скрипела и визжала как никогда. Дикая собака не умеет молчать, делай с ней, что хочешь, режь ее на куски, она и тут будет гундеть свое «нгр-нгр», но, странное дело, на этот раз она иногда — нет, не смолкала, но затихала: двуногий зверь с его палкой ее завораживал, особенно его альпаргаты из сыромятной кожи, — как они шлеп-шлеп-шлепали по дороге...

Странный караван удалялся. Ризолета прикинула, сколько у нее времени впереди. Взглянула вверх, направо, посмотрела вокруг, не покажется ли еще чего интересного, и, решившись, резво пустилась вслед за упряжкой; то жеманно вихлялась рядом, то, наскучив компанией, скрывалась в придорожных кустах, то забегала вперед и заигрывала с мальчишкой-проводником, но чаще всего бежала вровень с повозкой; она не могла понять, для чего нужны колеса, эти огромные, немислимые глаза, — неужели лишь

для того, чтобы выдавливать и разбрасывать дорожную грязь? Нет, нет, скорее всего это окна, в которые так интересно смотреть.

Но как бы там ни было, Ризолета имела возможность все до капельки рассмотреть и обдумать. И некоторое время спустя, когда она попала в руки Мануэла Тимборны,— он спал под жатоба, и ирара сама подбежала похвастаться и поболтать, но подобралась слишком близко, к синей ладанке на его груди,— и он уж не выпустил ее, пока не вытянул все подробности.

На этом участке дорога сделалась сносной, и караван брел успокоенно, безмятежно: Аженор Сороньо посасывал дешевую сигару; повозка, по старой привычке, все жаловалась на жизнь; пыль плясала в воздухе, под ногами быков, в спицах колес, увивалась вокруг «красы» и «статии» Аженора Сороньо; четыре пары быков, отмахиваясь хвостами от мух и согласно кивая головами, жевали и пережевывали траву, съеденную утром.

Только Тианзиньо шел грустный. Он вел направляющих, держась за двойной повод, пропущенный через кольца в ноздрях, прокладывая путь, ободрял быков.

И так они шли, и прошли километр, или более, без происшествий.

Тем временем начало припекать, и пекло все жарче и жарче, словно на дворе стоял не ранний май, а сентябрь, на небе — ни облачка, солнце распаренное, раскаленное, казалось, само уже было не радо и чуть ли не дымилось.

Даже Брильянте,— предхвостовая упряжка, правый край,— и того проняло, и он оживился. Спустив в брюхо последний глоток жеваной-пережеванной жвачки, он продул ноздри и тихо завел:

— Бык... Бык... Бык...

Ему не ответили: вся упряжка махала хвостами, жевала и перетираала траву, двигая челюстями вправо и влево.

Брильянте и сам спит на ходу, бормочет и видит несчастливые сны. Что там ни говори, а густая черная шерсть — не бог весть какой подарок,— в этой черной блестящей шкуре он словно полоумный франт, летом, в лихую жару, ни с того ни с сего напяливший фрак, в то время как добрые люди ходят в парусине или в полотне. Конечно, если не в хлеву, на открытом месте он старается держаться ближе к тени, под деревьями или кустами; между прочим, в этом тоже хорошего мало,— там тьма-тьмущая всякой

кусачей мелюзги, одних оводов не оберешься, так и вьются, так и липнут к мягкому и теплomu, чтобы сунуть туда свои личинки. Пастись тоже надо с оглядкой: Тибурон, его родной брат и старый товарищ по упряжке, полтора месяца тому назад убрался на тот свет, отравившись тимбó¹. И чудится, ото всех этих неприятностей Брильянте почернел, и теперь так и будет носить этот цвет, словно вечный траур по своей горестной жизни. А тут еще на каждом шагу мотай головой, отбивайся от всякой дряни: личинки, насекомые, колючки, летучие мыши, крохотные вредные паучки,— да мало ли — и все против него, тут не до хороших манер, честное слово.

Но деться некуда, такая уж, видно, ему судьба. Идешь? Иди! Везешь? Вези! И он идет, и везет, головой прямо в пекло, словно казненный ярмом; полуудавленный крученым горловым ремнем, глубоко, в складках подгрудка, режущим надвое шею; взятый как в колодки двумя фигурными деревяшками, что углами впиваются ему в зубы и щеки; грузно ударяя боками из стороны в сторону, тяжело дыша, раздуваясь и опадая в лад со своим костяком, огромными кузнечными мехами на четырех ногах; капающая с длинной блестящей морды слюною и потом. Идет, фыркая и отдуваясь.

— Мы — быки... Упряжные быки... Есть другие быки, они ходят в стадах, а когда наступают дожди, пасутся на зимних выгонах, палец о палец не ударяют, только живут и пасутся, а когда напасутся до отвалу, уходят, и на их место приходят другие, тощие... Это — не те быки...

— Они понятия не имеют, что такое бык,— поддакивает Брабагато, дернув левым ухом в сторону Капитана.— Да и люди тоже...

— Все равно, и над ними стоит человек-длинная-палка-с-осой на конце,— лениво поддакивает Дансатор, он плетется еле-еле, через силу.— Только что он ужалил меня...

— Человек — животное порченное, таких не должно быть. Не надо очень-то обращать на него внимание. Большею частью он стоит и чешет в затылке оттого, что чересчур много узнал. И потом, он слишком длинный, не умещается целиком в глазах.

— А я видел один раз, как человек-длинная-палка бежал от коровы... От коровы. Я сам видел.

¹ Т и м б ó — название некоторых видов диких ядовитых трав.

— Тихо, Бускапе! Спокойно, мой маленький, мой хороший! — кричит мальчик-проводник.

Бускапе не упрямится, Бускапе — бык китайской породы, пугливый и длинноногий, он идет широким шагом, то и дело наступая на пятки проводнику. Слава богу, что он комолый: с рогами, в передней упряжке он был бы опасен.

Но Аженор Сороньо заметил что-то неладное рядом.

— Не зевай, Тианзиньо! Я видел в кустах зверя с длинным хвостом. Не то волк, не то дикая собака... Эти ночные твари, кто их знает, что им надо сейчас, у дороги, только быков пугают!

Брабагато поворачивает морду к Капитану, ему захотелось лизнуть товарища между рогами:

— Человек не может быть сильнее быка... И не все быки подчиняются человеку...

— Я видел, как один большой бык поборол человека... У человека была его длинная палка, и он не захотел спастись... От него осталось мокрое место!.. Я видел! Это был Бык-великан-он-страшно-ревел-и-носил-на-спине-калабасу...¹

— Он был ничего себе, — мямлит Дансадор. С морды, так сказать, Дансадор — типичный зебу из Нелора: маленькая, как у яка, головка, глазки, глуповатая морда; но по какому-то случаю к нему попала добрая толика крови уроженца сертана, и вся эта смесь подарила ему шею, загривок и плечи, мощно отлитые из одного куска, словно вставшие дыбом, и тут уж он, — ни дать ни взять, — бизон, белый бизон.

Там вдали, где деревья, встречаясь ветвями, сплетают зеленую крышу и занавешивают дорогу от глаз прохожего, показались какие-то всадники. Приближаются. Чтобы дать им проехаться, Тианзиньо огибает рывтину и останавливает быков.

— Добрый день, сеу Аженор! Что везете?

— Сахар в плитках, да вот покойного... Отец моего проводника, — умер сегодня, чуть свет...

— Святая дева! Скажите, какая беда! — Мужчины снимают шляпы. — Говорят, он был вам другом... Отчего же он умер, сеу Аженор?

— Кто его знает... Какая-то старая болезнь... У него всегда было что-то не так...

— Мальчишку жалко! — говорит девушка, сидящая

¹ К а л а б а с а — сосуд из тыквы, в котором носят воду.

в женском седле. И от этих слов к Тианзинью, который совсем было отвлёкся, возвращается разом все его горе.

Брабагато пользуется остановкой, чтобы повалиться на землю. Он опускается, с тяжким трудом сгибая все четыре ноги, засовывая копыта куда-то себе под мышки, падает всей тяжестью на голени, бьет копытом, и укладывается в глубокой колее обочины; Капитан не возражает: наклонив голову, безучастно прижав уши, скосив глаза, он один сдерживает ярмо. Но Брабагато тут же переваливается на другое место,— а сначала выдергивает из-под себя хвост, который он, удовольствия ради или из хитрости, спрятал сначала себе под брюхо, а теперь полощет им по мухам, бурым роем облепившим ему спину и ляжки, две черно-белые горы.

Встречные прощаются. Девушка в женском седле напоследок кидает сердитый взгляд и шепчет что-то вроде: славно, мол, придумано, бросить покойного, словно брикет сахару, на самый верх.

— С богом, трогай! С богом!

— Пошли, ребята!

Тианзинью хлопочет молча, зато Соронью трясет палкой и орет вовсю, отводя душу, у него плохое настроение. Брабагато поднимается в два такта и в три укола наконецником: укол-подъем, укол-подъем, укол — тронулись. Другие берут с места. Повод натягивается от кольца к кольцу, от ноздри к ноздре. И все быки дружно бьют копытами, чтобы легче пошла повозка.

— Оунг! Моунг!..— храпя, тянет Канинде, подрагивая белым хребтом и натягивая впереди,— справа и слева,— свою пеструю шкуру: на каждом боку во всю длину — полоса черная, полоса ярко-коричневая, а по ним, пониже, к животу, и повыше, к спине,— белые брызги,— это ведь очень идет быку,— сам белый, как молоко, и будто кто-то нарочно, для красоты, тронул красным и черным. Нога за ногу он идет вперед и говорит, отдуваясь: «Свободные быки не умеют думать, как человек... Только мы, упряжные, умеем думать, как человек...»

Но Реалежо, осторожно поводя головой внутри деревянного воротника колодок,— они трут ему холку,— ворчит:

— Мы умеем думать, как человек, и мы умеем думать, как быки. Но лучше не думать, как человек...

— Из-за того, что мы живем рядом с человеком, мы должны работать... Как человек... Но зачем при этом думать?

— Смешно: мы научились подглядывать за людьми, за другими быками...

— Это еще что... Мы начинаем бояться... Страх... Страх и спешка... Страх и спешка со всех сторон, куда ни глянь... Спешка не из-за чего, просто так... Нет, плохо быть упряжным быком... Плохо жить рядом с человеком... Все плохое от человека: тоска, голод, жара,— как ни кинь, все плохо...

— Но думать о луге, о чистой воде, о том, как поспать в холодке,— хорошо. Нет, все-таки лучше думать, чем только есть и не думать совсем. А когда ночью вернешься к себе, на выгон, да если там найдется добрый пучочек роксомиудо,— чего еще надо?.. Или вот тоже катингейро-бранко¹, и как раз тебе по росту... Нет, хорошо уметь думать, но только о чем-нибудь хорошем.

— Вот-вот... О чем-нибудь хорошим... О чем-нибудь спокойном и красивом... Рассказать бы вам одну вещь... Я знал когда-то... Забыл...— Уши Брильянте никнут, он мотает головой.— Не могу вспомнить... Дело было давно... Столько всего жужжит в голове у нас, быков... Все равно что мошек над кустами... Рядом с людьми все перепуталось, забылось...

— Эй, вы, эй! Дьяволы! — кричит сеу Сороньо.

Это все Брабагато, с виду он не похож на упряжного,— слишком бык, его хоть на племя, хоть в герои торео; скорее всего, подхватил утром стебелек капим-росеты², теперь у него заболело в третьем или четвертом желудке, и он вздернул морду; от этого движения Капитан, его товарищ по упряжке,— огромная сытая туша, франкейро³, смешанный бог его знает с кем, не идет, а волочитесь, бодая землю,— повредил себе что-то.

— Моунг?! Моунг-умм! — И Капитан гремит бубенцом, косит глазом, и готов сам пырнуть рогом.

И тут увалень Дансатор, хриплым голосом индийского зебу, из глубины души грустно изрекает:

— Теперь уже не перестанем думать как человек... Мы все очеловечились...

Очень трудная эта пара, что идет вслед за проводником: Брабагато облегчен непутем, и весь его бычий пыл при нем; а Капитан — притвора, и невыносим, как корова в климаксе. Это одно, а потом, у обоих цветут рога,— им

¹ Катингейро-бранко — дерево из семейства лавровых.

² Капим — всякая кормовая трава из семейства злаковых.

³ Франкейро — порода быков, плотных, с большими рогами, выведенная в муниципальном округе Франка, штат Сан-Пауло.

больно, только притронулся кольцом,— капает кровь,— упряжь, через рога других пар, жестко держит им затылки. Они тянут головы в разные стороны, насколько позволяет ярмо, норовя спшибиться хотя бы задами. Потом Брабагато начинается пятиться, пока не спускает ярмо до рогов. Рога, к счастью, выдерживают. И погонщик тут как тут, только что навел порядок в задней упряжке, и идет оттуда с палкой наготове.

— Капитан!.. Брабагато!.. — И жало жалит бока, лопатки, спины, и быки приходят в себя, остывают, роняя с боков пену и кровь.

А дорога идет дальше. Дальше, дальше, в сонных тенях быков, глубже, глубже, в блеск и зной дня, которому нет конца.

— Выходит, мы все думаем, как твой человек?.. Эй, быки, ваша милость, что вы на это скажете? Вот вы, которого-хлебом-не-корми-дай-попасться-поближе-к-коровам?

— Я — бык Брабагато.

— А вы, любитель-во-время-привала-завалиться-по-дальше-от-глаз-сделать-вид-что-вас-нет-на-свете?

— Я — бык Наморадо.

— А вы бык-бедолага-темный-как-ночь-страдалец-от-солнца? Бык Брильянте? Бык Брильянте!.. Что сказал Брильянте?

«Я вспоминаю и не могу вспомнить... Нет, мы не станем думать, как человек... Мы погодим... Я даже не могу вспомнить, что было когда-то...»

— А что было?

«Думать о добром и красивом... Ох, и этого я уже не могу. Не понимаю: о чем рассказывает повозка, чего она так верещит... Если бы лошадь, лошадь бы поняла, лошадь всегда понимает повозку...»

Солнце все выше и выше. Утренняя розовая пыль лиловет, буреет, остывает золой. Они идут низиной, в низких кустах, в зарослях флечиньи¹ и капим-лансеты, вокруг — термитные холмики без числа...

Из-за поворота слышен голос еще одного погонщика. Поворачивают, — навстречу еще одна упряжка: шесть пар быков тащат тяжелую большую повозку, а за ней на цепи что-то круглое, огромное, длинное — ствол тамборила, диаметром в бог знает сколько там метров, добытый в самых дремучих лесных дебрях.

¹ Флечинья — растение из семейства злаковых.

Тианзиньо улыбается мальчику-проводнику, Сороньо раскланивается с погонщиками. Быки тоже разглядывают друг друга. Эти — тех, там больше незнакомых, но вон и старые приятели: Тиноран, Марешал, Кантагало, Мури-си. А те — этих, но те выбились из сил, груз тяжек, тянут, пригнув узкие морды к груди; повиснув на своих горловых ремнях; запряженные по два ярма в линию, по четыре быка в ряд, пара с парой, — круп в круп, рог в рог, лопатка в лопатку.

Проходят. Прошли. Скрылись из глаз. Повозка заскрипела дальше.

— Стой, окаянные!

Это погонщик, злой человек. День начался для него счастливо, вот как счастливо. Нет, он придирается и придирается, просто так, с жары.

— Ты, Тиан, черт тебя! Кто так затягивает колесо... По-твоему, прилично везти мертвое тело под этот собачий визг? Это не бревно, это твой отец, тебе понятно? Назад, назад, Канинде! Оа!.. О-а-а! Шевелись, дурачок несчастный, блаженненький, пирожок ни с чем!.. Беги, скорее смазывай прокладку, сейчас вспыхнет ось, и все вспыхнет, и мы загремим к чертовой матери, в тартарары!

Тианзиньо бежит со всех ног, душа в пятках, он боится этого человека, боится, вдруг тот ударит его своей палкой. Несправедливо с его стороны, низко. Сам же затягивал сегодня утром эту чеку; и при том злился на Тианзиньо, и говорил, что толку от него никакого, — ни повозку смазать, ни быков запрячь.

Ругаясь и чертыхаясь, Аженор Сороньо идет к заднику повозки, там подвешен рожок со смазкой. Он отдает его мальчику и заглядывает внутрь. Сзади повозка открыта: только веревки из лошадиного волоса, протянутые на разной высоте между слегами, чтобы поберечь груз.

И поверх сахарных плиток — покойный.

Толчками повозки его вытряхнуло из гроба, обило о плитки, на лицо страшно взглянуть. Платок, подвязанный под нижней челюстью, не помогает: изо рта течет что-то бурое, пачкает вокруг и воняет. Зато мухам раздолье — набились, липнут к вдвойне сладкому грузу.

Сороньо поскорее отводит взгляд и пристраивается с правого края повозки, на выступе, там, где тростниковая циновка, подальше от мрачного пассажира.

Но впереди, у быков, снова переполох.

— А, черт, что там опять? Капитан?.. Брабагато?..

Ничего, дрянь характер, вот и все. Какой-нибудь слепень мимоходом тыпнул Брабагато в ухо, тот стоял зажмурясь, и, не долго думая, взбесился на Капитана. Толкают друг друга. Снова. Упряжь трещит.

Сороньо пускает в ход палку, и тут же подбегает растерянный Тианзиньо: что делать — смазывать ось или успокаивать направляющих: услышав шум позади, они решили, что пора трогаться в путь.

— Н-но-о! — Сороньо шлепает палкой по бычьим лбам, быки сделали было два шага вперед, но тут же останавливаются как вкопанные. Тианзиньо снова бежит смазывать ось, прислонив свою палку к ярму направляющих, Бускапе и Наморадо принимают это как должное.

Аженор Сороньо, морщась и моргая, смотрит на солнце, на Тианзиньо:

— Печет и печет, чтоб ему... Кончишь ты когда-нибудь? Думаешь, нас так и будут ждать там, в деревне, на кладбище, под таким солнцем?

— Я уже, сеу Сороньо... Уже все...

— Уже, уже... Что «уже»? Вот моя доля, — дождь не дождь, солнце не солнце, работаешь как вол, а тут еще этот маменькин сынок... Ты ласковое теля, но ты не из моего теста, нет... На что мне такой проводник?.. Дайте мне самого паршивого мальчишку, последнюю рвань с улицы, пусть он не умеет говорить «пожалуйста», — ладно, но если я увижу, что он хочет работать, как я... Дотащимся до деревни ночью, мне что, отец не мой, упаси бог, не мой... Отец его собственный, а ему хоть бы хны... Нет, теперь ты у меня попляшешь. Кончилась сладкая жизнь... Хватит.

Плачь не плачь, надо идти на свое место. «Отец не мой, упаси бог, не мой... Отец его собственный...» Он сам это знает, зачем говорить? Это его, его собственный отец, там, мертвый, брошен, как брикет сахару, на самый верх... Теперь хоть не мучается... Слепой, парализованный. Таким только Тианзиньо и помнил отца: лежит на соломенном тюфяке, не двигается... Иногда он плачет, по ночам, когда думает, что его не слышат... Тианзиньо спал рядом, на полу, он слышал, но старался тут же заснуть, чтобы не слышать, а то и просто закрывал уши обеими руками... Негодяй! Он знал: нужно подойти, рассказать что-нибудь, утешить... Но это так тяжело... Ему было страшно, тоскливо, стыдно, стыдно того, что, — он и сам не знал, отчего это, — но ему хотелось забыть об отце, думать о другом. И оно, это же самое, заставляло его злиться на мать.

— Н-но!.. Эй!.. Упрямая тварь... Бускапе, дьявол!

...Да, мать он не любил... Она была молодая и красивая, а мама должна быть старенькая, серьезная, набожная, мама никогда не свяжется с чужим мужчиной, а она... Как мог он ее любить? Она позволяла, чтобы Аженор Сороньо, погонщик, командовал им, ругал, следил за каждым его шагом, колотил... Она велела подчиняться Сороньо, потому что тот кормил их всех. Но погонщику не нравился Тианзиньо. И так было даже лучше, потому что Тианзиньо тоже видеть его не мог!.. Рыжий!.. Обжора!.. Злой!.. Дьявол, вылитый дьявол! Сороньо жил на кухне... Отсюда до темного чуланчика, где лежал и стонал отец, рукой подать; но когда Сороньо входил в кухню, а за ним, как привязанная, мать, отец замолкал, делал вид, что ничего не слышит... Они шушукались, хихикали... Гадость какая!

Дорога гладко, без поворотов, бежит вперед. И далеко-далеко, на горизонте, встает что-то лиловое, это Морро Селадо, глубоко в своем сердце хранящий золото, закрытое каким-то безумцем.

Бедный, бедный отец!.. Тианзиньо сам приносил ему тыкву с фасолью, и ел вместе с ним, потому что у матери не хватало терпения кормить с ложечки паралитика... Она и ее Сороньо ели что-нибудь получше, повкусней... Наверное, скорее всего... Да это что, это ладно... А вот когда отец плакал, он ведь не мог говорить, только плакал и задыхался... Бог должен покарать за все это. Не может бог быть за них, нет, не может!..

— Господи! Гос-скрип-ос-скрип-воз-скрип-гос-по-воз-скрип!

Посреди дороги, у самых ног Тианзиньо, резвится парочка жоанов-де-барро¹, он и она. Разинув клювы и раздув зобы, они прыгают друг на друга, один топчет другого, оба нагло, визгливо орут на всю вселенную, и, натоптавшись вдоволь, так же хвастливо вопя, они уносятся прочь. Супруг и супруга.

— Н-но!.. Наморадо! — Тианзиньо оборачивается и вытягивает обоих направляющих по бокам и лбам, даже колет их, чтобы образумить. Виноват оранжевый Наморадо: ни с того ни с сего взял и скользнул рогом по боку Тианзиньо. И стоит, смиренно свесив уши, такой благонравный и оби-

¹ Жоан-де-барро — птица, которая водится только в Бразилии.

женный, будто это его самого толкнули. Но Бускапе опускает голову, — ему совестно за товарища.

Бык Брильянте, бык цвета воронова крыла, пригибает шею и узкую морду к земле. Черный, ловкий, с масляно блестящим, словно влажным мехом, он похож на диковинного водяного зверя, страшного зверя, от которого нет спасения. И бык Брильянте думает такими словами:

«Я иду и стараюсь вспомнить... Отчего это, — всякая мелочь так и лезет в голову, а то, что на самом деле важно, — никак?..»

Тианзиньо идет, то и дело оборачиваясь, он должен быть начеку, потому что быки волнуются и, того гляди, забелеются. Замечтайся, тут же очнешься от горячего сопенья в ушах и от слюны на затылке.

— Н-но-а, Наморадо!..

В том, что быки издерганы, виноват не кто иной, как погонщик, чего он к ним пристал, колет и колет, не переставая... Плохой человек... «Ты у меня попляшешь!.. Кончилась сладкая жизнь... Хватит». Зачем так говорить?.. Когда она была у него, сладкая жизнь? Сеу Сороньо то ругает ругательски, то ударит недоуздком, или колом, или палкой с железным концом... И ведь ни за что ни про что, да и когда ему провиниться? Дел по горло: косить, сгонять быков на пастбище, вести упряжку, да мало ли что... Ну, ладно, он подождет, придет день... Только бы вырасти, стать мужчиной, тогда он покажет сеу Сороньо... Он отплатит, ох, как отплатит, бог свидетель!

Поле маниоки. Кофейные кусты, густые, зеленые. Банановые рощи.

— Брр! Пуфф!.. — Вдруг бык Брильянте вытягивает голову, так что она вылезает из рамы ярма, деревянных колодок, ременных затяжек, как черепаха из панциря, когда ей хочется дождевой воды. И сопит, и гнусавит:

— Я вспомнил, вспомнил то самое! Я хотел рассказать об одном быке, который думал как человек, он был из таких: ест-а-сам-все-видит...

— Так это бык Родапиан...

— Да, это был бык Родапиан. И больше его нет. Когда он пришел, я не помню...

— Он пришел утром...

— Такой неказистый, цвета жидкого кофе, маленькие рожки... Такой же, как мы... Но во все вникал, всюду совал нос... И никогда не стоял на месте, вечно его носило туда-сюда...

— Я тоже его знал, этого Родапиана, вместе паслись...

Упряжка проходит мимо усадьбы сеу Жервазио. Собаки несутся вдоль дороги и облаивают быков. Аженор Сороньо ни с того ни с сего взялся кричать громче: «Канинде, Реалежо!.. Н-но, Брабагато! Давай!..» — и чаще поминать черта; без «черт бы вас...» разговаривать с быками он вообще не умеет.

Но в доме никого не видно, хотя там не заперто. Все, конечно, на тростнике, началось время рубки, теперь только поспевая отмерять и молотить без передышки.

— Вперед, Бускапе!.. По-о-шли!..

Отстали собаки, остался позади безлюдный дом, апельсиновые рощи сеу Жервазио. Тианзиньо начинает уставать. Жарынь!.. Пыль сушит горло. Святой Брас! Святой Брас!.. Неужели болит там, в груди?.. Боже мой, я не хочу, как Дидико из Эстремы, упасть замертво под ноги своим быкам...

Ему было десять лет, Дидико, меньше, чем Тианзиньо. Но работал он столько же. Такой же был жаркий день, пекло, такая же пыль под ногами... Он собирался вести упряжку один, — маленькая повозка, всего две пары быков и небольшой груз — корзины с хлопком. Перед тем, как выйти, он жаловался: «Что-то душит меня... Не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть... Болит где-то тут...» (Да, вот здесь, вот здесь, Дидико...)

Никто не придавал этому значения; подумали даже, что он притворяется, Дидико был плотным, кровь с молоком, с синими лукавыми глазами, вроде ангела с картинки.

Но возвратиться ему не удалось. И с повозкой его больше не видели. Его нашли далеко отсюда, в долине Абобораде-Агуа, холодного. Быки сразу же встали, чтобы не наступить на него, и стояли как вкопанные, им иногда правится замереть вот так, без движения. Ведущие успели сжевать и съесть всю его одежду...

— Святой Брас!..

Идут по кочкам, через поле капим-гуине. Над жесткой зелено-голубой травой то там, то здесь одинокое дерево: пау-досе, пау-терра, пау-санту¹, на ветке — огромной кофейной цецилкой, — неизменно, гнездо гуаксе².

И тут, когда вся упряжка прибавляет шаг, бык Брильянте вдруг просыпается и возвращается к разговору:

¹ Пау-досе, пау-терра, пау-санту — разные виды бразильских деревьев.

² Гуаксе — птица Бразилии.

— Бык Родапиан ходил со мной в одном ярме... Он пришел и сразу захотел все разглядеть, все выведать и все понять... Он был такой ученый и такой странный, что никто против него не мог и слова сказать... Я думаю, он слишком долго прожил близко к людям и далеко от нас, быков... Он не умел, как мы, идти с закрытыми глазами... Все смотрел, смотрел, как ему не опротивело... Один только раз он яснее ясного понял, что никто не будет делать, как он, всего один раз, и слишком поздно. Он любил длинно поговорить, и все о человеческом, все о таких штуках, какие быку сроду и в голову не придут... Вот говорит: «Вы не умеете схватить самое главное... Смотрите на меня, примечайте, что я делаю, о чем говорю, тогда, может быть, и научитесь понемногу...» Из этих его слов мы поняли, что он теперь перекинулся к людям и в голове у него стало так же, как у них, не все ладно...

— Н-но-о!

Быки и повозка остановились посередине плоской равнины. Теперь из-за Тианзиньо у него свалились штаны, совсем, до пят. Положив палку на землю, скорее, скорее подвязать их вокруг пояса, не так-то это просто, прямо беда, — он покраснел, он ведь остался в одной рубаше, и ноги голые, а это стыдно.

Небо ясно, воздух прозрачен, видно далеко, — дорога словно висит над землей, — дню и горизонту нет конца: поля, земли, луга, долины, деревья, змейки тропинок и большие пятна кустарника — бесконечная пестро-зеленая мозаика внутри гигантского ярко-синего глаза, в котором кусочек горного хребта, и на нем крохотная игрушка: макетик повозки, словно вырезанный из бумаги; рядом, словно оловянный солдатик с копьём, мальчик-с-пальчик, в руке — спичечка; впереди — упряжные быки, только что из хлева или — из нарядной магазинной коробки. Вдруг игрушечный Тианзиньо чудом вырастает в настоящего живого мальчика. Все в порядке. Штаны больше не упадут.

Пошел, пошел! До чего тяжела сегодня дорога в деревню! До чего же печальна... Там, наверху, отец едет к своей могиле... Он должен попасть в рай, сейчас же, немедленно, иначе и быть не может. Перед самой смертью, ночью, он просил Тианзиньо помолиться вместе. Тианзиньо, перебирая четки, клевал носом... Очень хотелось спать, только что он сходил пешком в Марсал Вело и обратно, с поручением сеу Сороньо... Прочли «Спаси, царица небесная...», отец благословил его, и он тут же свалился на соломенный тю-

фяк, зарылся в тряпье... Он ничего не слышал, хотя спал рядом с отцом; понял, что случилось, только увидев над собой мать в слезах, она его будила. Тогда Тианзиньо заплакал...

И мать плакала,— почему? Ей-то что? Она не любила отца. Пока обмывали тело, Тианзиньо подсматривал через щели в стене, но почти ничего не увидел. В кухню битком набился народ... И сеу Аженор со всеми был так любезен. Сам-то очень довольный, покручивал рыжие усы и вдруг делал мрачный вид, ненадолго... И даже, когда Тианзиньо, совсем отупевший с горя, присел на камень, заменявший ступеньку при входе в кухню, погонщик подошел утешить его, сказав, что теперь он, Аженор, будет о нем заботиться, будет ему все равно как отец...

Соседи предложили проводить на кладбище почившего в бозе. Но до кладбища добрых тридцать километров, к тому же, Аженор Сороньо все равно собирался в это утро отвезти сахар из Мажор Фрежес, и, отказавшись от услуги, он запряг четыре пары быков: на обратном пути повозка пойдет с мотками колючей проволоки доверху, груз ждал на станции, в том же местечке...

Настоящего гроба не нашлось, только долбленная из целого ствола колода,— не то лодка, не то носилки,— перевитая по краю лианами и веревками из эмбири¹. В повозке аккуратно выложили сахарные кирпичики, сверху положили покойного сеу Женуарио. Тианзиньо, готовый, ждал на своем месте, ему не терпелось поскорее в путь, все было слишком уж тяжело... Мать стояла в дверях и смотрела им вслед, плача и вскрикивая, женщины-соседки причитали ей в лад... Остальные соседи сделали знак, отводящий несчастье, и повернулись спиной к повозке, потому что смотреть на похороны — плохая примета.

Глухая дорога в тени деревьев, где так отраднo глядеть вверх: вековые деревья разного роста,— развесистые брауна, сгнившие жекитибá, зеленые пирамиды колер-де-вакейро, огромная петля анжико-вардадейро, сумрачные купы тимбауба, и стена асойта-кабало, совсем темная. Сильно пахнет ванилью, в тени прохладно, слышно, как поет журити, трелят бикуда и помба-минейро, а подалее, поглубже, в самом сердце зарослей,— печальный голос ньямбушороб.

¹ Э м б и р а — дерево, из волокна которого делают веревки, и сами веревки.

Хорошо, так хорошо, что Тианзиньо замедляет шаг. И все равно грустно. Не надо вспоминать об отце «потом», страшно подумать, как он едет там, один, на сахарных кирпичах... Представить его «раньше» — в кухне... Подумать о чем-нибудь еще... Говорить с быками: «Бускапе!.. Брабагато!.. Как зовут коров сеу Мажоро Жервазио?.. Эспадиля... Боливия... Азейтона... Мешерика-голландочка... Порселана-фарфорово-белая. Гиамина-черная, с белым пояском через живот...»

Да, а где его соломенная шляпа? Вот она, на месте... Ну ее, толку все равно никакого, что она на голове, что в руке. Не могу... Не хочу больше думать об отце «раньше», об отце «потом»... Не думать — тоже не могу... Как он сто-нал... Как мы молились... Может быть, помолиться сей-час?.. Да, да...

Он начинает молиться, вполголоса, как умеет, а тем временем дорога выходит на самое пекло, вокруг — не де-ревья, а умирающие тени деревьев; кривоствольные муриси; магабейры, просящие милостыню; барба-тимаос с морщи-нистой корой и ржавыми ветками; а то и одинокий арати-кум ленивый, которому удалось расцвести и потолстеть.

Хвост Брабагато, толстая капризная змея, извивается и хлещет кисточкой во все стороны, норовя задеть по рогам Брильянте, а тот и не слышит, прикрыл глаза, опустил голову, ушел в себя:

«День ото дня бык Родапиан говорил все непонятнее для нас, быков. Например: «Бык — животное. Мы все — быки. Значит, — мы животные». Обалдеть...

Когда не нужно было тащить повозку и мы паслись на лугу, на воле, бык Родапиан и вовсе заговаривался. Один раз сказал: «Сначала мы едим траву, а потом пьем воду... Вместо того, чтобы есть траву на одном месте, далеко от воды, а объев все вокруг, идти к воде, и снова обратно, — не лучше ли постепенно идти к воде и пастись, идти и пас-тись... Только наешься и захочешь пить, вода — вот она, ты уже пришел; и не устанешь, и съешь больше!» Он так и делал с тех пор. Но мы — нет, мы не стали. Потому что, когда трава у тебя под ногами или у самого рта, ты ее про-сто ешь, пока не съешь всю, и больше ничего...

Другой раз бык Родапиан сказал: «Когда бык Каринозо уперся у ямы с едой и не захотел есть, человек пришел, отвел его в хлев и насыпал ему в корыто много соли... Да-вайте и мы упремся все у ямы с едой, и человек отведет нас в хлев, и даст маису и соли в большом корыте...» — Он

так и сделал, и много раз ел соль, и ходил веселый... Мы — нет, мы не стали».

Снова скрипит повозка. Брильянте уснул. Тишина. Вся бычья компания идет прикрыв глаза. Что у них в голове? Мысли? Мечты? Глубже, гораздо глубже, глубже мысли, глубже мечты. И так, не спеша, все приходят к речному броду.

Зной тяжек, но здесь — вода, над водой — деревья, можно вздохнуть. Тианзиньо входит в реку по колена, — прохладно, щекотно. Опускает в воду ладони. Из соломенной шляпы не напьешься. Он зачерпывает воду горстью.

Ведущие быки дружно, ноздря в ноздю, опуская три арки своего ярма, ловят губами течение и, раскрывая нежные раковины ноздрей, медленно пьют, смакуя.

Бускапе, а за ним Наморадо, уже напились; стряхивают воду, не спеша облизывают губы и, оглядываясь на других, ждут. Кто видел от них зло? Это святые или, по крайней мере, праведники, — создания близкие богу и близкие человеку, милые сердцу товарищи, большие и добрые младшие братья!.. Тианзиньо гладит грудь Бускапе, ласково проводит пальцами по шее Наморадо, — тот и другой замерли.

Напились все; даже Реалежо больше не хочет, опустив морду, застыл над водой: водоросли там, на дне, стелются над камнями, какая-то новая трава, наверное, мягкая...

И снова Аженор Сороньо, со своим любимым припевом:

— Эй, лодырь царя небесного! Ты спятил, ты что — бык? Так и будешь торчать тут, словно подводная свая или мельничная подпорка!.. Пошли, Канинде!.. Дансатор, пошли!..

Когда колеса входят в воду, Аженор Сороньо уже успел забраться на дышло, которое движется вперед, как волно-рез. И хорошо сделал, потому что сразу после переправы пошло непроходимое болото: трясина, прикрытая цветущими звездами бем-касадо и длинными, как веретено, бутонами лилий.

— Обходи, обходи краем, тут засосет... Еще, еще, черт тебя!.. Кто тебе велел бежать, куда ты торопишься, — на тот свет, за отцом? Не торопись, не догонишь... Прости ты меня, господи, на грешном слове, с таким недотепой у кого хочешь терпение лопнет... Ах, моя рыбонька, как это ты угодил носом в грязь? — и Сороньо хохочет, довольный.

Тианзиньо слышит все это как сквозь стенку: «Не торопись, не догонишь...» Почему так случилось? Почему

умер отец, а не Аженор Погонщик? Как было бы хорошо!..

Звонко чмокая, бычьи ноги по щиколотку уходят в болото, оставляя точные формы копыт, а в самых топких местах — глубокие ямы, которые тут же заливают вода.

По пояс в грязи, Тианзиньо дрожит от гнева. Убить бы этого Сороньо... Вот он вырастет!.. Вот станет большим!.. Он посчитается с этой рыжей макакой... Пусть бы его ужалила змея... На лугу полным-полно змей... Или, даже лучше, у самого дома... Еще ведь может сожрать ягуар, ночью... Пятнистый ягуар, ягуарище... Ох, если бы!..

У быков свои заботы, свои разговоры. Они начинают прислушиваться к рассказу быка Брильянте.

— Дошло до того, что бык Родапиан мог объяснить все на свете. Он говорил: «Прежде, чем сделать что-нибудь, надо все хорошенько обдумать. Чтобы знать пастбище, надо смотреть, идешь — смотри, куда идешь. Я всегда смотрю, и потому знаю, где самая зеленая трава, где с утра до вечера не сохнет на стеблях роса, — ешь, сколько угодно, пить не захочешь. Знаю, где меньше mosquitos, где тень, где чище земля; я знаю человека и знаю, чего можно от него ожидать... Я во все вникаю и всегда знаю, что хорошо, а что плохо... У меня никогда не болит живот, потому что я заранее чую, если среди хорошей травы попадается зловредная навалья-де-мико. Вы не хотите делать, как я, потому что вы глупы, вы темные быки, вам в голову не приходит, зачем и для чего вы делаете то или это. Сколько раз я вам говорил, наверное, столько же, сколько ног, сколько рогов и сколько ушей у всех нас, вместе взятых, и даже еще чаще: «Думайте! Думайте лучше, о каждой вещи, каждое утро каждого дня...»

Мы ничего не ответили, потому что не умели говорить, как он, и еще потому, что каждое мгновение каждая вещь сама думала о нас...

А бык Родапиан тем временем жил по своим правилам, жил все лучше, и, смотрим, — он уже больше, толще и краше всех в стаде. И настал день, когда...

— Осторожно, Реалежо!.. Канинде, мой маленький, мой хороший!..

Начали спускаться по крутому склону, два великана хвостовой упряжки сдерживают всю тяжесть повозки, тормозят, упираясь в землю копытами, оставляя следы, — огромные кофейные зерна щелью вверх.

— Пошли!..

Повозка спускается ниже, вот уж уклон полегче, передние пошли веселей, и весь караван громыхает, звеня и гремя крючками, бляхами и всем железом, какое есть в четырех упряжках.

Едва вышли на ровное место, Канинде отпускает побычьи что-то неразборчивое, но презрительное: «хлоп» ушами, слабый «пых» сквозь ноздри и три октавы полновесного рева; Реалежо тоже выдувает какой-то иронический звук. И Бускапе, направляющий, обернув морду, комментирует:

— Да, да, дела лучше некуда... Прогулялись в зарослях бенго,— одно удовольствие... Кустики, холмики,— благодать... Травы,— сверх головы... А теперь я хочу есть. Осточертела повозка. В стойло! Побывать одному, без людей...

— Я считаю, что мы, быки,— начинает Дансадор, пуская слюну,— и собаки тоже,— и камни, и деревья,— мы все порознь, каждый сам по себе: тут мы, быки, а там — что-то чужое, тут у нас начало, там — конец... Люди — иначе... Человек умеет сливаться с тем, что вокруг, брать все это вместе, расти, менять форму и суть... Человек — колдун, и главное в нем — руки... Я знаю...

Но Брильянте строго скосил уши в сторону Дансадора.

— Настал день, мы заметили, что давно нет дождя... Очень давно. Раньше так не бывало. Даже сухой травы попадалось все меньше, мы ели кору деревьев, корни, щепочки, выкапывали корешки из-под земли, хоть что-нибудь. Плохо нам пришлось...

Тогда люди увели нас с объединенного пастбища прочь, далеко-далеко. Мы шли много дней. И наконец пришли... Это было странное пастбище, холодное, на самой вершине горы, но трава,— никогда в жизни не видали мы такой травы. Мы начали есть и уже не могли оторваться... Вдруг бык Родапиан...

Откуда-то взялась большая синяя бабочка; на миг припадая к кустам на обочине, она вилась и вилась вокруг каравана, то складываясь почти в ничто, то раскрываясь в правильный шелковый круг, синий и золотой.

— Водопой далеко,— сказал бык Родапиан.— Устанем, пока дойдем... Давайте думать... Когда я думаю, я всегда придумываю...

Мы не ответили. Это было очень похоже на быка Родапиана... Мне, например, никогда не приходит в голову, где водопой: ниже, дальше?..

— Брильянте, чертова корова!..

Это сеу Сороньо скачет, как бес, по постромкам, спрыгивает между упряжками, подкалывает то густой загривок Реалежо, то высокую холку Дансадора.

Тианзиньо опускает голову и крепче сжимает палку. Боже, хоть бы упал... Нет, он не упадет. Аженор Сороньо свое дело знает, он лучший погонщик на свете. Ему что ремень, что палка, поверх упряжки — он у себя дома, как обезьяна; подскочит к направляющим, поднимет их на дыбы, соскочит на землю, как цирковой наездник; и все больше злится на Тианзиньо, все больше задирает быков.

— Ты что, опять дурака валяешь? Я вижу, вижу...

Теперь надо двигаться осторожно, медленно, дорога пошла между скалой и глубоким обрывом. «Н-но-о, мой золотой, мой хороший, умница...» — Тианзиньо предупреждает своих быков, смотрит каждому в глаза, ему страшно, он готов со слезами просить их, ради всего святого, идти по возможности аккуратней: Бускапе — Наморадо; Капитан — Брабагато. А Брильянте:

— Но бык Родапиан обдумал все серьезно и сказал: «Там, где много деревьев и высокий кустарник, всегда есть вода. Наверху, почти на самой вершине, я видел деревья и большие кусты. Значит, там должна быть вода! — И он надулся и так важно произнес: — Я буду пастись там, на горе, где и вода, и трава, в зеленой свежей долине!..»

Я тоже взглянул вверх, на склон, — думай не думай, отсюда, где мы с ним стоим, туда быку все равно не добратся. Но бык Родапиан сказал, совсем по-человечьи: «Я не боюсь, знаю, что дойду: эти склоны тверды, потому что во время дождей тут, как со стены, лились потоки, они смыли всю мягкую землю... Ничего страшного, дорога плохая, зато надежная... Я пошел...»

Я ему не ответил, меня сморило от солнца. Бык Родапиан поднимался в гору; он сделал шаг и сразу вырос; сделал другой и вырос еще больше. Затем, поднимаясь, он стал уменьшаться, уменьшаться...

— Ну, а потом?

Потом я услышал шум: бык Родапиан, в туче пыли, катился оттуда, с вершины. Он упал в пропасть и тоскливо замычал, почуял, что ему уже не встать на ноги...

— И потом?

— Я не мог ему помочь, и никто не мог... Я позвал других, но они не пришли... Взглянул на небо, — летела какая-то черная птица... Взглянул вниз, — там было черным-чер-

но, и слетались еще, поодиночке и стаями... И я ушел оттуда подобру-поздорову, чтобы не видеть этих черных тварей, не видеть, как они облепили бедного Родапиана...

— Так и неизвестно, есть там вода, на вершине?

«Я рассказал все, теперь буду спать... Про воду не знаю».

Дорогу загородила разбитая повозка; чуть повыше, на склоне, отдельно от нее, отдыхали бычьи упряжки, в полном порядке.

— Ну-ка, Тианзиньо, придержи, там мы остановимся. Это повозка из Эстивы, это Жоан Бала... Э, в лепешку... Черт! Он сорвался с горы, пойдем взглянем... Да, ничего не скажешь, картинка... Фу ты! Ну, вот, ну что за хреновина,— все быки рыжие, масть в масть,— зачем? И цвет дурацкий!.. Ах, эта горочка, эта Морро-де-Сабан, не каждому по зубам, нет!.. Я всегда говорю: гроыхать на повозке, тыкать палкой в быков и орать благим матом, кто уютно может... А вот понимать быков, и чтобы они тебя понимали с полуслова, на спуске — придержать хвостовых, на подъеме — подхлестнуть направляющих, и подпереть их второй парой, поднять на дыбы передних, только как следует,— да что там,— держать всех: быков, повозку, да и проводника в придачу,— всех держать в руках,— пусть попробует, я посмотрю...

— Н-но-о, Дансатор!.. Но-о!.. Подожди тут, Тианзиньо, я пойду поговорю с Бала, вон он стоит и пялится, точно перед ним куча его собственного дерьма... Побитая собака, которая забыла, где у нее задница...

Аженор Сороньо за словом в карман сроду не лазил, против его хлесткой речи никто не мог устоять, при этом, разговаривая, он не забывал поглядывать то на дорогу, вперед-вправо-влево,— то на быков, но на этот раз он делает это подчеркнуто, напоказ: видеть чужую повозку, разбитую в щепочки, ему что медом по сердцу.

— А, сеу Жоан Бала!.. Что такое с вами стряслось, сеньор?

— Что стряслось? Стряслось то, что вы видите, сеу Аженор.

— Ай-яй-яй!.. Борт, дышло вдребезги, а где же... Ай-яй-яй... И с той стороны борт тоже, да и дно... Здесь убытку милрейсов на шестьсот пятьдесят, а то и вдвое, если починить хотя бы половину того, что разбито... А что было внутри?

— Слава богу, внутри всего и было два бочонка трост-

никовой водки, я ехал на станцию встречать семью хозяина!..

— Все всмятку, надо же! Да, да, такое с каждым может случиться, будь ты хоть семи пядей во лбу, и золотые руки... Смотрите-ка, осталось немножко водки, кстати, а?.. Но как же все это вышло, сеу Жоан Бала?

— Как вышло? Господи, как это выходит?! О, сеу Аженор, вы сами бывалый погонщик, вы все видите, все понимаете... Мне стыдиться нечего. Упряжка поднималась вверх... Все шло хорошо. Я сидел внутри вот на этом самом месте... Вдруг оказалось, мы уже ползем вниз: сначала какой-то треск, и тут я вижу, — лопнул ремень передней упряжки...

— О, черт!

— Скверно вышло, сеу Сороньо! Плохо, хуже некуда. Наша повозка катилась обратно, сама по себе, словно дьявол ее толкал, вот вам крест, а за ней съезжала хвостовая упряжка, потому что только она еще и держалась при нас, да и то на горле быков. Вернее сказать, это я на них пока и держался, а они сползали потихоньку со склона, цепляли траву копытами, тащили ее за собой...

— Господи, спаси и помилуй!

— Увидев это, я понял, что погиб, умру без молитвы и покаяния, и воззвал к богородице, потому что выпрыгнуть — теперь нечего было и думать... И вдруг что-то меня подтолкнуло, и я закричал: «Стоп, Камурса! Мелиндре, — ни с места!.. Ах, быки мои, ах, моя хвостовая упряжка, мои добрые, мои сильные, мои послушные...»

— Я их знаю... Быки что надо...

— А я что говорю! Вот как перед богом, — снимаю шляпу и низко кланяюсь моей хвостовой упряжке — они мои спасители! Только я рот раскрыл, а они уже уперлись и стоят как вкопанные, ни шагу дальше. Это было на крутом склоне, на самом раскатанном месте... Да что там, веса одной повозки хватило бы, чтобы скатиться вниз кубарем, и нельзя было изменить направление, потому что Мелиндре и Камурса хоть и упирались в землю копытами, но ведь тело же тянуло их вниз!.. Вы знаете быков, которые могут такое? Я — нет. Ведь что они делали: повозка катится, колеса крутятся, а они съезжают на одних копытах...

— А потом?

— Я ухватил момент и выпрыгнул... Еще чуть-чуть, и от меня осталось бы одно воспоминание: снова что-то

треснуло, дышла и все остальное — к черту, и вижу: мои последние быки уже сами по себе, и лезут в гору обратно, не лезут — бегут, — ополоумели! — и, одним махом, уже наверху, а повозка гремит задом по этим ухабушкам, прямехонько в пропасть... И все это во мгновение ока, до меня только после дошло, что такое было на моих глазах... Но хорошо вышло, а? Хорошо, лучше не бывает... Эту повозку дурацкую дьявол добил там, внизу, а бочонки с водкой послал еще дальше. Ах, быки мои благословенные, что бы было со мною без вас!.. Посмотрите только, как они там, наверху, ждут меня... Камурса и Мелиндре все знают, все понимают, все слышат, только сказать не могут... Да будь этот спуск в тысячу раз хуже, им покажи только палку, и они, — это же не быки, это мастера хвостовой упряжки! — они тут же садятся на хвост, ярмо вверх, и — все! Это быки, таких поискать! Других бы в такой переплет, вы представляете? А у меня все в порядке... Тут сбруя подвела: шлеи — одна гниль. Ремни да дышла, хоть бы тебе огрызок цепи для крепости... Не сегодня, так завтра, и вышло бы то же самое! Что я мог в таком положении, скажите, сеу Аженор?!

— Конечно, конечно, сеу Жоан Бала! Пусть спросят меня, я кому хочешь скажу то же самое... А теперь, уж вы меня простите, нам надо дальше, я везу покойника, там, в повозке, у нас еще похороны сегодня...

— Святая дева! Кто же это, сеу Аженор?.. А, сеу Желуарио, бедняга?! Конечно, идите с богом, приятель, мне пока ничего не нужно, все равно я послал своего мальчишку за народом в Монжоло, это недалеко... Пока суд да дело, я успею прочесть «Отче наш» и три раза «Аве Мария» за упокой души бедного сеу Желуарио... Человек должен утешать сам себя, как вы считаете, сеньор? Вот тут остатки той водки, не пропадать же ей. Сеньор не желает? Да, да, вредно для живота, да, не очень полезно, да и не говорите. До скорого, сеу Аженор!

Сеу Аженор возвращается, солнечно сияя с ног до головы. Закрывает задник повозки.

— Сукин сын! «Вышло» у него! Врет, как дрянной гитарист, у которого все гитара виновата. Погоди, Тиан, сейчас я покажу этому Жоану Бале, как надо подниматься на Морро-де-Сабан... Я встану на дышло, вот тут, внизу, пусть он посмотрит, что такое погонщик, настоящий погонщик не наложит в штаны, нет... Пошел, Брабагато... Намо-радо... Реалежо... Пошел!

Пошел Тианзиньо, пошли быки, пошла повозка и, взяв вверх по склону, недовольно закрихтела.

— Поше-ел! — Упряжки поднимаются, ярмо пляшет на бычьих загривках, Сороньо, стоя на дышле, балансирует палкой, как канатоходец шестом. — Тианзиньо, ты у меня молодец, поговори за меня с быками! Вперед, Дансатор, маленький, Брабагато, мой хороший!

— Н-но-о!

Крутой подъем, умаяв всех и покрыв славой Аженора Сороньо, кончился.

— Уф! Пфу! — отдувается Брильянте.

— Мму! Ммоунг! — ревет Брабагато.

— Ооу! Ооунг! — сопит Бускапе.

И все это время, пока повозка поспевает за тянущими вверх колесами, а колеса — за каждым поворотом дышла, метров триста пятьдесят подъема, все молчат, и только когда выбираются снова на красную землю равнины, Дансатор оглядывается, а Капитан задает вопрос:

— Ну, как там повозка?

— Повозка идет, как всегда, вслед за нами.

— А где человек-длинная-палка?

— Человек-длинная-палка-с-осой-на-конце пристроился на роге повозки.

— А человечий - теленок - который - идет - впереди-быков?

— Человечий-теленка-который-идет-впереди идет еле... У него в глазах вода...

Здесь на равнине дорога совсем из рук вон: расхлюстанная колесами, затопленная ливнем, посередине — высокий скользкий гребень, справа и слева — ручьи. Быки идут не спеша. Молча. Только звякнет бубенец, — это Брабагато тряхнул головой. От хвостовой упряжки к головной, перекрестной передачей, сообщают:

— Человек заснул там, на роге повозки... Длинная-палка-с-осой-на-конце тоже заснула... Поэтому она перестала жалить...

И тем же путем, только обратно: Наморадо — Капитан, Брабагато — Дансатор, Брильянте — Реалежо, — передается разговор двух направляющих:

— Человечий теленок идет все тише и тише... Он тоже заснул. Он спит на ходу, вроде нас. Вот-вот он уронит свою длинную палку, и она упадет, как обломок ярма... У него вытекло много воды из глаз... Очень много...

Сзади, от дышла, снова доходит:

— Человек съезжает с рога повозки... Вот-вот он упадет... Если он упадет, пропадет...

И снова, перекрестным путем, от направляющих к хвостовым, от морды к морде, перебегают:

— Человечий теленок спотыкается... Он тоже заснул... Вот-вот он упадет... Если он упадет, пропадет...

Тианзиньо идет как во сне... Не совсем, какая-то самая маленькая его часть не спит. Остальное — далеко. По ту сторону... И этой, самой маленькой капельке Тианзиньо, так легко, так отрадно... Она не помнит гнева... В ее зените солнце ласково, день свеж...

— Мму! — Бык Канинде, шевеля складками кожи на шее, произносит:

— Что говорит бык Дансадор?

— Мы, упряжные быки, должны слушаться человека, иногда...

— Человек не знает быков.

— Человечий теленок тоже не знает... Наши бычьи мысли велики и спокойны... В них все: и небо, и песня повозки... Человек же шагает около. Наша душа для него — потемки...

— Это как день и ночь... День тесен, он шумит и вытаптывает сам себя... Ночь же — безмерна...

— Человечий теленок все-таки знает немножечко больше... Он живет рядом с нами, и, кроме того, он еще не совсем человек... Бывает, не различишь, где он и где мы... Когда он дремлет, он думает совсем как быки... Вот он впереди, и вот он опять тут, рядом с нами... Он свой... Он не заблудится в наших потемках... Боюсь, он понимает, о чем мы говорим...

— Это как день и ночь... Ночь — безмерна...

— Смотрите! Слушайте! Слушай, бык Брабагато! Слушай, бык Дансадор!

— Что такое? Что случилось, бык Бускапе?

— Бык Капитан! Бык Капитан! Что сказал бык Капитан?

— Мму!.. Ммоунг!.. Бык... Человечий теленок... Я — бык Капитан!.. Ммоунг!.. Нет быка Капитана!.. Есть все быки вместе... Нет человеческого теленка... Все вместе... Все вместе... Все вместе — безмерно... Я — безмерен... Я большой и сильный... Сильнее сеу Аженора Сороньо!.. Я отомщу за своего отца... Мой отец был хороший. Он умер и лежит на повозке... Сеу Аженор Сороньо — большой рыжий дьявол... Он обижает всех мальчишек-проводников на

свете... Но я огромный... Ммоу! Ммоунг!.. Нет Тианзиньо! Есть я — тот-у-которого-кольцо-в-ноздрях... Нет, я человеческий теленок!.. Я — надо всеми быками и всеми людьми...

— Мму-уу! Мму-уу!.. Я сильный... Мы все сильные... Нет быков отдельно... Нет людей отдельно... Все вместе... Все вместе... Ночь безмерна... Нет упряжных быков... Нет такого быка — Наморадо!..

— Бык Брабагато! Бык Брабагато!.. Что они говорят? Они с ума своротили?

— Ебу!.. Не зовите, меня больше нет... Нет быка Брабагато... Всё вместе сильно... Огромно и сильно... Темно, огромно, блестяще... Темно-блестяще... Я сильнее сеу Аженора Сороньо!..

— Да что вы там? Вы все спятили!.. Я бык Дансатор... Бык Дансатор... Нет такого быка — Дансатора... Нет большой головы и бугров на боку... Я сильнее всех... Нет быков... Нет людей... Все вместе... Все сильны... Я очень сильный... Могу схватиться хоть с кем угодно... Схвачусь с сеу Аженором Сороньо... Схвачусь с сеу Сороньо, с человеком-палкой-погонялкой, с тем-кто-больно-бьет... Я пушу ему кровь... И буду еще сильнее... Я Тиан... Тианзиньо... Я убил сеу Аженора Сороньо... И еще убью! Он умер, этот дьявол-погонщик!.. Умер-убит... Я его искрошил на куски... Больше он не войдет в нашу каморку на кухне... Я не позволю!.. Я Тианзиньо... Если он захочет войти, я убью его снова... И еще тысячу раз! Если мать заплачет по нем, я ей не позволю... Я на нее закричу... Пусть плачет по отцу... Пусть плюнет на мертвого сеу Сороньо... Пусть станет со мной на колени, мы помолимся вместе за упокой души моего отца... В нашей каморке хозяин я — Тианзиньо!.. Я большой, у меня много земли, много повозок и много быков... Пусть попробует кто-нибудь заикнуться о сеу Сороньо! Я не позволю!.. Я сильнее всех... Никто не может приказывать мне... Я больше не маленький Тианзиньо, я большой Тианзон... Большой Тианзон... Оунг!.. Моунг! Мму!..

Толчок... Еще толчок... Повозка бьется, пересчитывая колесами все ямы и горочки. Но на этой окайненной дороге Тианзиньо не поскользнется, не упадет: та бессонная капелька бережет его. Кто спит без задних ног, блаженно развалившись на дышле, это сеу Аженор.

В хвосте гнусаво заворчал Реалежо. И все в один голос:

— При такой трясучке...

— Если разом рвануться вперед...
— Человек-длинная-палка упадет на землю...
— Он на самом краю...
— На самом, самом краешке...
— Если человеческий теленок, там, впереди, крикнет, мы дернем...

— И он упадет...
— Еще чуть-чуть... Еще чуть-чуть...
— И упадет. И упадет...
— Сейчас... Сейчас...
— Моунг!.. Моунг!..
— На землю... На землю...
— Наморадо, пошел! — кричит Тианзиньо и, взмахнув палкой, отскакивает в сторону. Все четыре упряжки дружно дергают вперед. Повозка, хрустнув всеми костями и взвизгнув осью, подпрыгивает.

— Дева Мария! О, о, быки!.. Господи, боже мой!

Аженор Сороньо, спавший спокойным сном, свалился под левое колесо, ему переехало шею, и никто этого не услышал, неизвестно даже, проснулся он или нет, выругался или проклял кого-нибудь, прежде чем умереть. Тем более от дышла до земли расстояние пустяковое; да и колесо, хорошо окованное колесо, вместе с железными гнутыми шинами, весит по меньшей мере килограммов семьдесят, да еще если оно из жакарé или пероба-да-миуда¹, да еще ось, да еще повозка...

— Моунг!.. Что слышно сзади?
— Все, что было сложено, рассыпалось...
— Все, что было сложено, рассыпалось.
— Мму-у?.. А что слышно впереди?
— Впереди ничего не слышно.

Рвать волосы. Плакать. Сойти с ума. «Боже мой! Как же это? Святая дева!..» Он сидит на краю ямы. Спустив ноги. «Я виноват во всем... Я спал на ходу... И вдруг закричал... Почему, сам не знаю... Что-то приснилось...» Быки смотрят. Смотрят и ждут. Спокойные. Добрые. Кроткие. Не знают, что делать дальше. «Пресвятая дева, прости меня!.. Мои золотые быки, простите меня!.. Бедный сеу Аженор! А вдруг еще жив?.. Дать обет. Всем святым. Молиться, скорее... Вон едут верхом. Двое мужчин». — Успокойся, сынок! Ни капли воды, надо бы дать мальчику. Во рту пересохло.

¹ Пероба-да-миуда — дерево с очень крепкой древесиной.

Помогите мне, ньо Алсидес! — «Взглянуть... Ох, как будто и не он!.. Голова совсем прочь. Лучше не смотреть... Плакать... Бедный, бедный сеу Аженор... Жестокий, но не такой уж плохой, нет... У него было доброе сердце. Я этого не хотел... Клянусь, господи!» — Осторожно, сеу Кирино! Упаси бог, ньо Алсидес! Смотрите, еще один покойник... — «Мой отец. Он не виноват. Как тоскливо. Как холодно. Солнце взошло. Надо им помочь. Ну, вот и все, я — ничего». У ньо Алсидеса срочное дело. За погонщика сеу Кирино. Верхом. Быки просятся в дорогу. «Пошли, Бускапе! Наморадо, по-о-ошли!»

И с этого момента, — тут как раз ирара Ризолета схватилась, что в десяти километрах и в двух часах бега отсюда у нее назначена важная встреча, — с этого самого момента дорога волшебным образом переменилась к лучшему. Быки по прохладе идут все быстрее, и Тианзиньо, — ну что за чудо-проводник, — бежит вприпрыжку. Можно подумать, именно этого, второго покойника, только и не хватало, чтобы все встало на свое место и пошло как по маслу. Повозка, и та перестала скрипеть на жизнь, и, — кто бы мог ожидать, — оказалось, ту же старую, надоевшую дорожную песню — «релейн... нейн» — можно петь иначе, — мягко, молодо и даже как будто приплясывая.

Час и черед Аугусто Матраги

Обеднел я, обеднел я,
уезжаю, уезжаю...

Я богата, я богата,
уезжаю навсегда!..

(Старинная песня)

Жаба скачет не красы ради,
а потому что приходится.

(Поговорка жителей сертанов)

Матрага — никакой он не Матрага, ничего похожего. Матрага — он Эстевес. Аугусто Эстевес, сын полковника Эстевеса, Большого Афонсо, у которого поместья в Пинда-ибасе и в Сако-да-Эмбира. Либо Нью Аугусто — как звали его в ту ночь на аукционе, который проходил на заднем дворе за церковью Богоматери Скорбящей, где только что отслужили девятины, а было это в местечке Коррêго-до-Муриси.

Крестный ход завершился, служба кончилась. И аукцион быстро начался и сошел на нет, не вызвав оживления, потому что добропорядочные люди уже ушли, почти все одновременно.

Но аукционист остался в своем ларьке, он ел миндальные орешки из кулька и хрипло откашливался, а вокруг теснилась толпа, пропахшая кашасой, как и положено перед концом праздника.

А возле самого ларька, прижатые к прилавочку и ярко освещенные полукругами света, что отбрасывали фонари, стояли две гуляющие девицы, и очень все это им нравилось, потому что было их только две, и, стало быть, они пользовались большим спросом, и все хотели их заполучить.

Красотой обе не отличались: Анжелика была негритянка и малость колченогая, вторая еще туда-сюда. Но к ней жался паренек-сертанежо с романтической физиономией и явно злился — у них была любовь, а потому, — по крайней мере на взгляд бедного влюбленного, — всему этому очумевшему сброду здесь нечего было делать. И парочка чувствовала себя все неприкаянней и неприкаянней, а собравшиеся вопили:

— Кому достанется Кариама? Эй, Тиан! Пусти Кариаму с аукциона!

— С аукциона ее! С аукциона!

Та из проституток, что была белая — и немедленно получила прозвище Кариамы¹ за тонкие ноги и длинную тонкую шею, — вроде испугалась. На лице влюбленного сертанежо кое-как держалась усталая полуулыбка. Аукционист просил собравшихся уговориться, но никто и слушать не хотел.

— Даю пять милрейсов!..

— Кариама! Кариама!

И тут вдруг люди расступились, и Нью Аугусто, высокий, широкогрудый, в траурном костюме, проследовал через толпу, наступая на чьи-то ноги и углом выставив локти, остановился прямо перед Кариамой и приподнял ей пальцем подбородок. Затем так громко, словно был не вечер, а ясный полдень, рывкнул, обращаясь к аукционисту Тиану:

— Пятьдесят милрейсов!

Подбоченился, не поворачиваясь лицом к собравшимся, замолк в ожидании аплодисментов.

— Нью Аугусто! Нью Аугусто!

Снова заговорил, еще громче:

¹ Кариама (или сериема бразильская) — птица из отряда журавлиных; шея длинная, ноги высокие, голенастые.

— Пятьдесят милрейсов, сказано! Пятьдесят — раз! Пятьдесят — два! Пятьдесят — два — пятьдесят — три!

Но тут в толпу втолкнули вторую — негритянку Анжелику, хохочущую, бесстыдную и жеманную, и она потонула в суতোлке, переходя из объятий в объятия и из рук в руки; ее хватали, щипали, тискали, а она кудахтала:

— Матерь божья! Ну и публика!

Только тут аукционист Тиан отважился подать голос:

— Посовеститесь, люди, ведь в честь святого аукцион!..

— Гав-гав!

— Плевать я хотел! Плевать я хотел на этого нехристя!

Идите чешите себе спину об стену!.. Церковь — это вам не шуточки, если что — наказание будет... Дорогу!.. А ну, раздайся, народ!.. Раздайся!..

Кое-кто хотел было погорланить еще, но сам Ньо Аугусто уgomонил страсти:

— Со святыми вещами шутики плохи, люди! Точно говорю. Посторонись, посторонись, пропусти Тиана.

Тут все удивились и пропустили аукциониста, и влюбленный сертанежо тоже хотел было уйти:

— Пошли отсюда, Томазия, покуда неразбериха...

И он понизил голос, и говорил просительно, потому что для него не была она Кариамой. Осторожненько взял ее под руку, и она с радостью пошла бы с ним. Но Ньо Аугусто отвесным ударом ладони разбил парочку:

— Никуда ты не пойдешь!

И четыре телохранителя подхватили сзади:

— Верно, что так! Верно, что так! Никуда не пойдешь!

— Пойдешь с Ньо Аугусто! Ньо Аугусто заберет девочку, — кричал народ, который всегда на стороне сильного. И чей-то звучный голос запел, просто ради удовольствия попеть:

Марикинья — словно дождик:

Своевольная, шальная.

Коль пойдет — пойдет по воле,

Но когда пойдет, не знаю.

И тут народ стал выкрикивать дружно и размеренно:

— Кариама для Ньо Аугусто! Кариама для Ньо Аугусто!

Паренек-сертанежо совсем пожелтел. Кариама было закусилась. Но Ньо Аугусто без церемоний отвесил типчику три затрещины:

— Вот тебе! Вот тебе! И вот!.. Желаешь еще?

Замельтешили физиономии.

- Что там? Что там?
- Дай глянуть!..
- Не пихайся, собачий сын!

И суматоха разделила весь люд на группы, поскольку большинство упустило вышеописанную сцену, сосредоточив все внимание на потасовке между стариком — «чтоб ты утоп, борода!» — и пономарем, которые повздорили в северо-западной оконечности толпы. А в южном секторе незадолго до этого разыгралась стычка между одним субъектом, у которого пряжка на ремне отстегнулась и брякала — бряк!.. бряк!.. — и типом, который все искал, куда бы ему поставить свою палку.

— Что там было, а? Что было?

А было то, что четверо молодцов Нью Аугусто схватили паренька-сертанежо, отколошматили и втолкнули в самую гущу толпы, а в толпе многие не прочь были добавить.

— Да здравствует Нью Аугусто!..

— А ты давай сюда, ко мне поближе! — И Нью Аугусто подхватил под руку девуцу, уже переставшую хныкать.

— Пошли быстро.

Парочка проследовала сквозь ряды собравшихся и сквозь их приветственный гул, и поскольку больше не было ни женщин, ни драк, часть толпы разошлась по домам, а другие затаили:

Эх, придвинулся ко мне куманек,
Эх, придвинься, куманек, потеснее!..

Нью Аугусто стиснул руку Кариамы с такой силой, словно не успел как следует отвести душу на ее поклоннике.

— Ну что, а? Сеньора фу-ты ну-ты хотела уйти с тем типом, а?

— Хотела, но теперь мне нравится вы... Того я почти что не знала...

Они пошли к дому. Но к дому, что в переулке Бештанчиков, где стоят только три здания, — в каждом играет граммофон, повернутый трубой к окну, — и куда порядочные люди наведываются, но не для прогулок.

Вышли они из церковных ворот, и Нью Аугусто остановился, снял шляпу и перекрестился на двери церкви. Но место это было ярко освещено фонариками и множеством масляных светильников, свисавших с бамбуковых арок. И Нью Аугусто поглядел на женщину:

— Что такое?! У тебя одна нога — кочерга, вторая — спичка, а сама ты — чумичка! Кожа да кости, вываренная

рыба без приправы... Не сласть, а страсть, чтоб мне пропасть, такое тучело!.. Проваливай, болотная курочка! Чтoб духу твоего здесь не было!

И, отпихнув девицу, которая разразилась самыми горькими в своей жизни слезами, Ньо Аугусто в одиночестве спустился вниз по склону — по этому склону приходилось спускаться почти бегом, потому что он был сплошь усеян щебнем и битым стеклом.

Внизу он наткнулся на одного своего поденщика, который как раз шел с поручением от доны Дионоры: пусть-де Ньо Аугусто вернется домой или, по крайней мере, заглянет туда — в свой дом, настоящий, что на Верхней улице, потому что перед дорогой еще много что нужно сделать и ей — жене, супруге, — надо бы спросить кое о чем, один-два вопроса.

Но Ньо Аугусто даже не дал послу договорить:

— Поворачивай назад, Ким, а поручение считай, что выполнил, да только наоборот: не пойду я туда!.. Ты приготовишь лошадей и завтра вместе с доной Дионорой и девочкой поедете в Мбрро Азул. Но прежде поднимись на взгорok и передай моим людям, что сегодня они мне не понадобятся.

И Ким, посыльный, побежал с поручением, а Ньо Аугусто зашагал по улице, поглядывая, нет ли где света из открытой двери, чтобы удивить собравшихся неожиданным своим появлением либо уходом.

Было это в конце октября, год выдался засушливый из засушливых. Вдали поскуливал пес, выводил слоги, сливавшиеся в одно и то же бессмысленное имя. А над местечком медлительно проплывала луна.

Дона Дионора, у которой были красивые волосы и серьезные глаза, выслушала ответ мужа и ничем не выдала своих дум перед бедным поденщиком Кимом. Но дум было много, и все шли вразброд и раскалывали голову, и она утомилась, а потому вскоре ей захотелось плакать. И даже Мимита, которой было только десять лет и которая уже лежала в постели, улыбнулась и проговорила:

— Маменька, я рада, что мы возвращаемся в Морро Азул.

И тут дона Дионора вытерла слезы и тоже улыбнулась. Возвратиться в поместье без мужа — этому можно было только радоваться. Его пренебрежение причиняло ей боль. Но все-таки хорошо было уехать из этих мест, где все суда-

чили о ее горестях и о том, как плохо обращается с нею муж, хоть она того не заслуживает.

Ей знакомы были дикие выходы Нью Аугусто, и она их побаивалась. Бессердечный, сумасбродный и ни в чем не знающий удержу, словно огромный дикий зверь. А дома всегда уходил в себя. Даже на девочку не обращал внимания. К ней, Дионоре, иногда испытывал влечение: к ее губам, телу. Только. А водится — вечно с бандитами, с гулящими девками, со всяким отребьем. В именьях — в Сакода-Эмбира, в Пиндаибасе или в поместье Морро Азул — у него были другие удовольствия, другие женщины, биллиард, охота. И никакого толку не было от молитв и обетов, с помощью которых она уповала вернуть его — хоть в какой-то мере — на путь истинный.

Таким был он с детских лет, когда ни в чем не знал отказа и все ему потакали, единственному сынку пустоголового папаши. И она, Дионора, была во всем виновата сама, потому что пошла за него замуж против воли и желания всей своей семьи.

Теперь, после смерти полковника Большого Афонсо, дела приняли совсем скверный оборот. Подумать страшно. Нью Аугусто становился все разгульнее, все бесшабашнее, совсем потерял узду. И в долгу, как в шелку; в смысле политики всегда на той стороне, что терпит поражение; кредита никакого, земли в запустении, поместья описаны в уплату за долги, все складывалось так, что становилось страшно за будущее: выхода нет, сплошная белая стена.

Дионора любила его три года, два отдала сомнениям; все остальные она его терпела. И вот теперь появился другой. Но стоило хоть чуть-чуть дать волю этим мыслям, и ей страшно становилось... За себя и за дочку. Страшно до дрожи.

Случись такое, согласись она уйти к другому, Нью Аугусто был бы вполне способен убить ее. На это дело он годился, еще как. Убивал не раздумывая, как крестьянин-сертанежо, которому заплатили, чтобы он отомстил за оскорбление, нанесенное заплатившему. Как знать, быть может, лучше было бы предаться на волю судьбы, вверив себя попечению божью, но ведь грех... Закрывать глаза.

А тот, другой, совсем иного склада! Любит ее, очень... Больше, чем говорит, больше, чем сознает — так, как должны любить люди. И полон огромной силы, которую дает безмолвная любовь, и полон терпения, но горячего, певучего — как он выпевает ее имя... Дионора... «Дионора, уедем

ко мне, и девочку возьми, никто вас у меня не отнимет!..»
Как хорошо... Точно сон наяву... Точно сон...

Она уснула.

И едва только рассвело, они пустились в путь — донна Дионора на коне с дамским седлом, а Мимита, хрупкая и болезненная, на передней луке седла у поденщика Кима.

Ночевали в Пау-Алто, в усадьбе дядюшки, человека нервного, который скреб ногтями стол и все бубнил:

— Я бы на его месте, я бы на его месте... Дочка — она ведь кровь твоя и плоть, дочка — она самое дорогое, что есть.

— Судьба у меня такая, дядюшка...

— Судьба никогда не выпадает одному из супругов, она обоим выпадает, всей семье... Судьба нарождается что ни утро, а к полудню глядишь — и состарилась...

— Я была виновата, дядюшка...

— Кто не виноват, кто ни разу не был виноват? А вина немалая, доченька... Мать Нью Аугусто скончалась, когда он был еще совсем маленький... Свекор твой был полоумный, какой из него глава семьи... Отца у Нью Аугусто считай, что не было... Дядя — настоящий преступник, повинный не в одном убийстве, скрывался в Сако-да-Эмбира... А воспитывала Нью Аугусто бабушка... Хотела сделать из него священника... Все молитвы да молитвы, сплошное ханжество и тоска...

Утром с восходом солнца они снова пустились в путь. И когда солнце полностью завладело миром, а пыль стала совсем сухой, в боку у Мимиты закололо, и она стонала и просила пить. И все спрашивала с невеселенькой улыбкой:

— Мама, почему отец нас не любит?

И Ким, посыльный, качал головой с превеликой и преглупой серьезностью в знак согласия со всеми и во всем.

Но когда они проезжали через каньон Бугре, там уже ждал сеу Овидио Моура, который, конечно, проведал, что они возвращаются в Морро Азул.

— Дионора, ты поедешь со мной... А не то я уеду отсюда один, и ты никогда больше меня не увидишь.

Но донна Дионора была так решительна, что он сам испугался.

— Нью Аугусто способен убить нас, сеу Овидио... Но я поеду с вами и останусь с вами, куда будет за нас господь...

Сеу Овидио снял девочку с седла Кима, который ничего не расслышал либо ничего не понял и пропустил тех троих

вперед, а сам отстал. Когда же подъехали они к ключу Мендóнсы, где дороги расходятся, и поденщик увидел, что они свернули направо, он прищипил коня и закричал, чтобы исправить их ошибку:

— Возвращайтесь назад, хозяйка, не той дорогой поехали!

Но сеу Овидио обернулся и сказал рассудительно:

— Возвращайся сам и скажи своему хозяину, что сеньора Дона Дионора не хочет больше с ним жить, что отныне и впредь она будет жить со мной к радости всех моих родичей и с благословенья божия!

Ким Посыльный в первый миг поднес было руку к своей соломенной шляпе, бормоча по привычке:

— А как же, сеу Овидио... Передам слово в слово...

Замолчал, стирая пот с волос и не зная, что делать. Но в конце концов его осенило, он привстал на стременах и крикнул:

— Подлый человек!.. Чтоб полюбились твои двери сове, вестнице горя!..

И справил нужду, и сплюнул. И понесся назад отчаянным галопом, взметая пыль столбом. Он ехал сообщить Нью Аугусто, что дом его рушится.

Когда приходит день и рушится дом — а день этот придет неизбежно, не обязательно с землетрясением — хозяин может быть дома или в другом месте. Лучше, чтобы он был в другом месте. Это единственное, что во власти любого — каждого. А если уж он дома, то лучше бы ему быть совсем одетым и поближе к двери на улицу. Но Нью Аугусто не повезло: он лежал в постели — худшее положение для того, кому предстоит услышать дурную весть.

И поденщик Ким знал это, а потому весь сжался от страха, когда вошел. Пыль покрывала его с головы до ног, даже в рот забила. Прокашлялся.

— Вставай и надевай одежду, хозяин мой Нью Аугусто, потому как приехал я к тебе с худыми вестями.

И задрожал еще пуще, потому что Нью Аугусто вскочил одним прыжком и оделся во мгновение ока. Засунул за пояс револьвер и тогда только процедил сквозь зубы:

— Выкладывай все!

Ким Посыльный кое-как выговорил немногие свои слова, а еще сумел добавить:

— Мог бы я воспротивиться, да дело такое — честь, право на кровь — только у господина. Я и подумал, а что как вы осердитесь.

— Правильно сделал, и дело с концом! Зови моих людей!

Вскоре, однако, Ким возвратился с новой неприятной вестью: головорезы придти отказались... Не хотят больше оставаться при Нью Аугусто... Майор Консилва нанял по-одиночке всю четверку себе в телохранители и заплатил хорошие деньги. Идти не желают... Самый заслуженный, главарь, даже велел передать, забыв про почтение:

— Скажи Нью Аугусто, что наше солнышко — звонкая монета!.. Пусть заплатит все, что причитается... Да пусть пошлет с таким нарочным, что рта не раскроет, мы не можем слушать его растабары, сеньор майор говорит: это ему не по вкусу.

— Свора псов!.. Ведь в отместку!.. Где они сейчас?

— Перебрались в поместье майора...

— Майор дерьмовый! В отместку ведь, потому что он был врагом моего отца!.. Еду туда!

— Не считите за дерзость, хозяин мой Нью Аугусто, но все у нас тут говорят, что ничего у вас больше не осталось, что потеряли вы все свои богатства и поместья и вот-вот совсем обеднеете... А майор и другие господа стакнулись и хотят захватить вас обманом. Они пустили слух — пусть простит сеньор мой язык, я ведь только то передаю, что нужно — они говорят, что сеньор всегда и на мужних жен зарился, и на честных девиц, и сеньор, мол, — все равно что змея ядовитая — кто увидит, должен прикончить, так положено... Я затем вам все это рассказываю — чтобы вы побереглись. Надо бы вам людей подобрать понадежнее, чтобы не пускаться в путь в одиночку... Я-то не сгложусь, трусоват я. От меня проку мало... Но если будет на то ваша воля, пойду с вами.

Но Нью Аугусто кусал себе губы, распалившись до предела и побагровев от ярости. Он вскочил на коня и пустил его галопом, по-королевски надменно откинувшись в седле, а Ким Посыльный пошел выпить глоток воды, чтобы утолить жажду. Так вот.

Так вот, любой другой сертанежо, если он не Аугусто Эстевес, из этих двух злоключений сделал бы вывод, что пришла пора невезенья, неудач, и на несколько конов вышел бы из игры, прервал бы свою обычную жизнь каникулами: путешествием, переездом или еще каким-нибудь малоинтересным делом, чтобы переждать, пока сбудется речение: «Иная невзгода — на полгода...», и т. д.

Но Нью Аугусто был воробей еще не стреляный, а тому,

кто вовремя не сошел с рельсов, свисток паровоза предвещает недоброе. Вдобавок, когда приходит пора платить по счетам, выкладываешься до конца. И потому Нью Аугусто решил, что благоразумие не ко времени.

В нем из-под ярости само собою прорезалось решение: сначала надо поквитаться с майором и головорезами, а уж потом съездить в Момбуку, прикончить Овидио и Дионору. А не то упустишь удачный момент, растратишь силу. И он поехал к майору.

Дождь еле покапал, только пыль развез. Дорога пошла прямо, по обочинам стояли люди, смотрели в оба. Нью Аугусто подъехал к майорскому дому.

Но даже спешиться не успел. Хозяин, стоявший на верхней ступеньке лестницы, сказал громко с подлой ухмылкой:

— Кончилось твое времечко, сукин сын Эстевес!..

Конь Нью Аугусто послушно подался вперед; подковы, звякнув, высекли искры из плит мостовой, и всадник, привстав на стременах, занес над головой плетку, метя старику в лицо. Но майор только моргнул и отстранился, потому что большего и не требовалось, а с обеих сторон дороги повыскакивали головорезы, только руки-ноги замелькали.

— С дороги, народ! Освободи место!

Над всадником уже заплесали дубинки, быстрые, словно рыбы, что мечутся в неводе. Били по голове, по плечам, по ногам. Нью Аугусто потерял равновесие и слетел с коня. Он стал было на колени, упираясь в землю руками, но это мало что ему дало, он смог только разглядеть страшные физиономии своих собственных громил и среди них — желтолицего паренька — сертанежо, влюбленного в гулящую девицу по прозвищу Кариама.

И от чувства безнадежности Нью Аугусто закрыл глаза: он знал, что сертанежо такого типа, с шевелюрой, начинающейся чуть не от бровей и захватившей весь лоб, — люди особо злопамятной породы, они способны хранить прошлое у себя дома, на холодке, возле горшка с похлебкой, и все время приносить с улицы мелкие обиды, чтобы подкладывать их в опару великой ненависти, пока не пробьет час мести.

Но тут прозвучал голос майора, издевательский, тягучий:

— Оттащить его подальше, за пределы моих угодий... Заклеймить каленым железом, потом забить.

Нью Аугусто выпрямился и вытянул правую руку, хватая горстью воздух:

— Ну-ка, поближе, палач!.. Только так, по-другому не одолеть вам Нью Аугусто Эстевеса!

И хотя бандиты держали его за руки и за ноги, он выворачивался из тисков, кричал и рычал и так бился, что одежда на нем разъезжалась по швам, а тело, казалось, вот-вот разорвется надвое до самого пупка. Ему удалось было высвободиться. Но тут еще двое обрушили на него дубинки. Нью Аугусто упал ничком, уткнувшись лицом в землю.

— Принеси воды холодной, дружище.

Паренек-сертанежо с заросшим лбом затынул, фальшивя:

Я как эму, птица-эму,
Перья есть, а не летаю...

Остальные присели на корточки.

Но когда Нью Аугусто вздрогнул и снова приподнял голову, майор, который стоял на веранде и наблюдал, щурясь и обмахиваясь шляпой, протянул нараспев:

— Что скажете, люди добрые, есть еще на свете такой Нью Аугусто Эстевес, что из Пиндаибаса?

И головорезы хором:

— Нет больше такого! Нет его на свете!..

Они потащили и поволокли Нью Аугусто тропинкой, что ведет к Приовражной ферме, и стала эта тропинка стезею мук и поношений.

И когда добрались они до Приовражной фермы, что отстоит от городка на расстоянии мили, Нью Аугусто уже почти не мог двигаться самостоятельно и был он полуголый, весь в ножевых ранах, синяках и кровоподтеках, и пыль вперемешку с кровью покрыла его толстой коростой. Бандиты швырнули его на землю, а он даже не шевельнулся.

— Вот здесь, ребята. А после сбросим вниз, и даже душа не спасется.

Бандиты, давно служившие у майора Консилвы, не спеша раскурили сигары, не выказывая особого интереса к предстоящей расправе. Но четверо бывших наемников Нью Аугусто проявили больше пыла, а ушколбый паренек-сертанежо, довольный и проворный, собирал хворост, чтобы разжечь костер.

И вот, когда все было готово, они раскалили клеймо с тавром, которым метили скот майора — треугольник, вписанный в окружность, — и прижали его к правой ягодице Нью Аугусто; кожа затрещала, задымилась, запахло

горелым. Но тут же все отпрянули в ужасе, потому что Нью Аугусто ожил и, отчаянно взревев, вырвался у них из рук.

— Держи!

Но он уже был на краю оврага и прынул в пустоту. Высота была немалая. Тело покатилося и исчезло вниз в зарослях.

— Как до него добраться, чтоб узнать умер он или нет?

Но один из бандитов постарше подал дельный совет:

— Поставь ему крест тут же, Орозио, чтобы ночью он не дергал тебя за ноги...

И они повернули назад под солнцем, которое поднималось все выше и пекло все сильнее.

Но негр, что поселился возле самого болота, когда прикинул, что бандиты уже далеко, вылез из своего укрытия в чаще бамбука и стал карабкаться вверх по склону оврага к зарослям, где лежало тело.

Добрался. Обнаружил, что в истерзанном теле белого человека еще теплится жизнь; позвал негритянку — она была женою негра, что поселился возле самого болота, — и они потащили Нью Аугусто в хижину, где жили вдвоем, а была эта хижина по виду чем-то вроде рыбацкой корзины вверх дном, глинобитная, под ворохом прогнившей соломы, скособоченная и неприметная среди деревьев, точно гнездо фламинго.

И негр отправился тесать доски для гроба, а негритянка в это время искала огарок освященной свечки, чтобы вложить ее в руку умирающего, когда настанет время сказать: «Повторяй со мною имя Иисусово, брат мой...»

Но тут к их удивлению случилось вот что: взгляд у Нью Аугусто стал зрячий, и он простонал:

— Прикончите меня из милосердия, во имя ран господа нашего...

А затем повел всякие неразумные речи, обращаясь к людям, которых здесь не было, потому что он горел в жару и, судя по всему, начал бредить.

— Прости меня, господи, — проворчала негритянка, — но этот человек был, верно, лиходей, а сейчас мается, как гремучая змея, когда ее палками в землю вколачивают: ведь вот выкладывает он все, что у него на душе, и все злится да грозитя убить либо кровь пустить... и зовет он господа бога в пору великой муки, а господь бог не шлет помощи, дыханья и то не дает, и никогда еще не видела я человека в таком отчаянном положении!

Но негр сказал только:

— Те, враги его, не придут за телом, потому что в овраг нет спуска кроме как в обход, а обход дальний. И к тому же во рву лежит палый телок, они глянут сверху и подумают, что грифы-урубú по той самой причине слетелись, по какой они думают.

Когда несколько дней спустя Нью Аугусто пришел в себя, он обнаружил, что лежит на застеленной тряпьем циновке в темном углу хижины с земляным полом, а ноги его вправлены в грубые бамбуковые лубки, потому что левая сломана в двух местах, а правая — в одном, но перелом открытый. Над ним летали мухи, они садились прямо на него, и все тело болело, потому что ребра тоже были сломаны и одна рука, а еще его мучали ушибы, и резаные раны, и ожог в том месте, где ему поставили клеймо, и у него было такое ощущение, что его несчастное тело стало огромным.

Но даже и так, при всех этих муках, он сказал себе, что уж лучше остаться в живых. Выпил жидкую кашицу из рисовой муки, и негритянка свернула для него сигарку из соломы. Никто так и не пришел его разыскивать. Он мог выздоравливать. Мог размышлять.

Но на склоне дня наступило время грусти; сквозь щели в стенах было слышно, как хрюкают свиньи и хлопают крыльями куры, устраиваясь на насесте, а негритянка мыла горшки и пела:

Умные деревья в Мату-Бэнту:

Спать ложатся наземь, точно люди...

А когда негритянка умолкала, слышались еще негромкие песенки лесной мелкоты и кваканье ранних жаб.

Перед закатом похолодало. Боли приутихли. И тут Нью Аугусто вспомнил о жене и о дочери. Ни ярости, ни муки не было, только воздуха не хватало отчаянно, до удушья. Он дышал с усилием и даже испугался, потому что был весь в смятении и не мог собраться с мыслями, а тело словно и не принадлежало ему. Тут наконец он смог заплакать и плакал долго, горькими слезами, без всякого стыда, как покинутый ребенок. И, сам того не ведая и не желая, позвал громко, с рыданиями:

— Мама... Мама...

Негр, который сидел на пороге хижины, прилаживая к леске свинцовое грузило, услышал и растерялся; он позвал негритянку, та прибежала живехонько и расчувствовалась:

— Не надо так, молодой сеньор, не убивайтесь. Молитесь, господь, он все исправит... У господина на все есть лекарство!

И негритянка засветила лампу и принесла эстамп с изображением Богоматери молящейся и четки.

Теперь, когда слезы утихли, сердцем Нью Аугусто завладела печаль. Тихая печаль, полная тоски по жене и по дочери и бесконечной боли за себя самого. Все потеряно! Прочее еще ладно... Но снова обрести семью, начать все сызнова — этому не бывать. Даже дочка... Навсегда... И у него было такое чувство, словно он оказался на дне пропасти, в другом далеком мире.

И впервые в жизни у него появилось желание излить душу, рассказать о своей беде, о горестях своей жизни. Но он прикусил себе язык и не стал откровенничать. И молиться не стал. А фитиль лампы подрагивал, огонек зажигал красивые отблески в масле, налитом в светильник, он рассказывал истории из времен детства Нью Аугусто, полузабытые истории, но все с красивым и хорошим концом. Нью Аугусто закрыл глаза. Руки, лежавшие одна поверх другой, были холодны. Усталость завладела им. Он уснул.

И он проболел на соломенном своем одре много месяцев, потому что кости срастались медленно, а в открытой ране завелись черви. Но негр с негритянкой очень о нем заботились, не остывая в своем рвении.

— Если бы, по крайней мере, я мог получить отпущение грехов!..

И тогда с превеликой осторожностью они привели однажды ночью священника, который его исповедал и проговорил с ним долгое время, и давал советы, от которых на глазах у Нью Аугусто выступали слезы.

— Но ведь я содеял столько злых дел, столько смертных грехов на мне — неужто господь сжадется надо мною?

— Сжадется, сын мой. Тех, кто покорен узде, господь не шпорит... и не даст он упустить стремя тому, кто раскался...

И падре пустился в длиннейшую проповедь, которая в конце концов повергла больного в неодолимую сонливость.

— Мне по душе ваша мысль перебраться в дальние места, сын мой. Вам не следует больше помышлять ни о жене, ни об отмщении. Предайтесь воле божьей и принесите покаяние. Жизнь ваша от самых ранних лет пошла по дурной колее, но вы не печальтесь, ни в коем случае, по-

тому что печаль — манок, чтобы приманивать дьявола, а царствие небесное — вещь действительно стоящая, и оно у вас в кармане, если будет на то милость господя, а господь никогда не скупится на милость для сокрушенного сердца!..

— Я верую и молю бога укрепить меня в вере, отец мой...

— Вы ведь никогда не работали, правда? Так вот, каждый божий день вы должны работать за троих и помогать другим, чем только сможете. Усмирите свой буйный порок: помните, что это всего лишь необъезженный жеребец и воля ваша сильнее, чем он... А к богу обращайтесь с такой молитвой: «Иисусе кроткий и смиренный сердцем, сделай так, чтобы мое сердце уподобилось твоему...»

И в дальнейшем разговоре священник проявил себя с наилучшей стороны, потому что и впрямь был славным человеком. На прощание он повторил:

— Молитесь и трудитесь, памятуя, что жизнь наша все равно что страда в знойный день: иной раз трудно вытерпеть, но все преходяще. И вам еще может выпасть на долю немало радости... Каждому назначен свой час и черед: вы дождетесь своего.

А выйдя из хижины, священник успел еще научить негритянку готовить серный порошок, чтобы лечить кур от типуна, а негру советовал белить лимонное дерево известковым раствором и сажать помидоры.

Одно дело — считать время днями, другое — месяцами, ведь вся жизнь проходила здесь, на полу хижины. Нью Аугусто ел, курил, размышлял и спал. И надеялся по мелочам: завтра этот бок будет болеть меньше, если будет на то воля божья... И ему снова вспомнились все прежние молитвы, которым выучился он в детстве у бабушки. Все прежние и много новых, даже самые нелепые, с перевранными и перепутанными словами, те, которые бубнила негритянка, промывая ему креолином рану на ноге, и те, которые она бормотала, благословляя чашку с водой, когда давала ему пить.

Только эти вещи его и занимали, потому что для него ярмарка отшумела, жизнь кончилась, и он уповал только на спасение души и на милосердие господя бога. Никогда больше не быть ему человеком! Тело было изувчено, а душа еще того более. И прошлые его злодеяния и бесчинства внушали ему такой ужас, что он не мог даже вспоминать о них; разве что за молитвой.

Он гнал прочь мрачные мысли, и по прошествии некоторого времени все стало приносить ему радость, не похожую на ту, что знал он прежде, и удивительно безмятежную. Он смирился и неуклонно продвигался вперед по стезе добродетели.

Когда он настолько поправился, что мог ходить, опираясь на костыли, которые сделал для него негр, у него появились новые планы, не такие кровожадные, как прежде; для начала он порешил перебраться подальше, в глухое местечко, затерянное в самом дальнем сертане, где было у него именье в десять алкейре, в котором он сроду не бывал и бывать не собирался, но которое составляло теперь всю его собственность. Перед отъездом у него была последняя беседа со священником, очень долгая и душеспасительная. И вместе с четоу чернокожих самаритян, которые так привыкли его выхаживать, что ни за что не могли с ним расстаться, он пустился в дорогу, откинув тревогу.

Выступили они ночью, потому что начало странствия было по сути настоящим бегством. И выйдя из хижины, Нью Аугусто стал на колени посередине дороги, раскинул руки крестом и поклялся:

— Я хочу попасть на небо и попаду так или иначе!.. И черед мой еще придет. На небо я хочу попасть, даже если придется мне перед тем отведать палки!..

И негр с негритянкой захлопали в ладоши, и маленький отряд взял курс на сертан.

Они двинулись на север, тем путем, которым следуют преступники, скрывающиеся от правосудия; спали днем и шли ночью, точно беглые рабы, петляющие между дозорами белых. Миновали Бакупарí, Бокейрán, Брóa, Вáку и Вакарíю, Пейше-Брáво и Тáшос, Таманоуá и Сёрру-Фíну, и бесчисленные поселки, тянувшиеся на многие мили вдоль подножия зеленых холмов и холмов, отливающих слюдяным блеском, меж луговин и лесных полос. И они обходили стороной поместья, и плантации, и фермы, и водяные мельницы «монжóлос», и загоны Фонсéки, и квадратный камень братьев Транкóзо; и даже большие старые дома, брошенные обитателями и такие же опустелые, как и службы при них. И спали они в зарослях кустарника, либо под тенистыми деревьями каатинги, либо в хижинах, принадлежащих всем путникам и стоящим на берегах лагун, где плавают утки, и лагун, заросших тростником. Они перебрались через реку Лягушачью и реку Жабью. И все шли да шли каменистыми и обрывистыми тропками,

что выются по синим и желтым взгорьям. Потом шли низинами, холмами, долинами. И вдоль рек, по прибрежным дорогам, которыми гонят стада и над которыми пролетают цапли,— но в обход тех мест, где брод и переправа.

И случилось так, что в селении, которое называется Томбадёр и куда лишь изредка — реже некуда — и то лишь сбившись с пути, попадают брукейро с табунами коней, либо отважные уроженцы штата Баия, перебирающиеся на юг,— появился в один прекрасный день странный человек, которого никто не мог понять.

Но он сразу пришелся по душе всем жителям поселка, потому что был полусвятой-полупомешанный, и они решили, что понять его всегда успеют.

Работал он так, словно только о деньгах и помышлял, но на самом деле медяка не зарабатывал и о доходах не заботился: одной мыслью жил — как бы помочь другим. Гнул спину и на своей земле, и на землях соседей и со всеми делился, давал безвозмездно и от души все, что мог. А просил только дела побольше да поменьше разговоров, а лучше бы и совсем без них.

Жил при нем негр с женой-негритянкой, они-то и управляли всем в доме, сами же никакой работы не справляли и жили припеваючи. А он, случалось, даже ночью трудился, если луна светила.

По воскресеньям отдыхал он по-своему: весь божий день бродил по лесу без усталости, и не было при нем ни ружья, ни какой-либо охотничьей снасти; а вечером читал молитвы со старухами богомолками. Но за милую обходил все места, где играли на виоле, гармонике либо другом музыкальном инструменте, от которого тоской заходится сердце.

Частенько он разговаривал сам с собой, и люди говорили, что это тоже признак помешательства; но они не знали, что он просто-напросто повторяет, когда находит нужным, заключительную фразу священника: «У каждого свой час и свой черед; вы должны дожидаться своего». Только это.

Так-то вот и прошло лет шесть, а то и шесть с половиной, таким именно манером, тут уж не убавишь, не прибавишь, потому что история эта — чистая выдумка, а не истинное происшествие, вот так, сеньоры.

Но тот, кому забрело бы в голову пожалеть в ту пору Нью Аугусто, здорово просчитался бы, поскольку Нью Аугусто не ведал искушений, ничего не желал, укрощал плоть тяжким трудом, а душу спасал молитвами, и все это

получалось само собой, как у термитов, когда возводят они среди трав свои красные термитники, либо как у желтогрудой птички т́ику-т́ику, когда без усталости таскает она пищу своему приемному сыну кукушонку, что разевает клюв в гнезде на ветке дынного дерева — еще давай!

Это последнее сравнение относится к жителям Томбадора, потому что люди повсюду придираются к тем, кто не хочет рассказывать о своей жизни, а местные жители ничего не знали о прошлом Нью Аугусто, не знали даже, что негр с негритянкой ему теперь за отца с матерью.

К тому же он больше не курил, не пил, не заглядывался на женскую пригожесть, не ввязывался в споры. Лишь об одном не мог он вспоминать — о своем позоре; но здесь, на краю света, в этой богом забытой дыре, каждый новый день помогал изгладить его из памяти.

Но поскольку мир тесен, а сертан — еще того тесней, случилось так, что занесло в эти края старого знакомого Нью Аугусто, аукционщика Тиана да Терезу: он разыскивал три сотни голов полудиких подтелков, которые отбились от стада в верховьях реки Урукуйа и разбежались по бесчисленным и бесконечным дорогам плоскогорья.

Тиан да Тереза разинул рот при виде Нью Аугусто. А так как был он неотесанным мужланом, сразу пустился выкладывать новости, о которых никто его не спрашивал: донна Дионора, супруга, по-прежнему состоит в сожительстве с сеу Овидио, живут они душа в душу, собираются даже повенчаться в церкви, думают, мужа уже нет на свете; а вот с дочкой приключилось неладное: выросла здоровенькая, загляденье, а не девушка, да вот сбилась с пути: соблазнил ее один коммивояжер и увез неведомо куда... Майор Консилва по-прежнему хозяйничает в Муриси и прибрал к рукам оба поместья Нью Аугусто... Но хуже всего обошелся он с Кимом, бывшим поденщиком Нью Аугусто, с беднягой Кимом Посыльным — «припоминаете?». Так вот, помер Ким, и не своей смертью, двадцать пуль в него всадили, а то и больше, и все из-за него, из-за Нью Аугусто: когда узнал Ким, что хозяин его убит по приказу майора, он не раздумывал: поклялся, что поκειται, поцеловал свое ружьишко и не стал тянуть да откладывать! Пошел в берлогу к матерому ягуару, чтобы плюнуть ему в морду, и был убит, а случилось это в столовой у майора, и перед тем успел он уложить двух головорезов, а одного ранил...

— Хватит, Тиан, молчи!.. Не хочу я больше знать ни

о чем! Только об одном тебя прошу — считай, что не видел меня, и никому про меня не рассказывай, ради господ бога, ради жены твоей, и детей, и всего, что тебе дорого!.. Не такая уж это будет ложь, потому что меня все равно что нет в живых... Нету больше никакого Нью Аугусто из Пиндаибаса, Тиан...

— Да я уж и сам вижу. Вижу...

И Тиан да Тереза вложил столько презрения и отвращения в прищур, и в голос, и в ухмылку, что Нью Аугусто понурил голову, и не помогла даже молитва насчет кроткого и смиренного сердца; пришлось ему зайти за купу бананов, стать там на колени и повторить свою клятву: «Попаду я на небо, даже если придется мне перед тем отведать палки!..»

Хорошо еще, что в этот день одному человеку по имени Ромуалдо, жившему на краю оврага, понадобилась помощь, чтобы вытащить кобылу, что завязла в болоте, и Нью Аугусто проработал до глубокой ночи при свете костра и с факелом в руке.

Но с того времени потерял он способность отгонять тоску. И вместе с тоской напало на него болезненное желание делать дурное, желание, не горячившее его плоти, чисто умственное: словно, начини он пить, курить, брось трудиться и молиться, к нему возвратилась бы его мужская сила, и бывшее его везенье, и хватка — умение жить так, как все живут.

Но застарелая стыдоба? И наказание? Говорил же ему священник:

— Вы всю свою жизнь совершали одни только тяжкие грехи, и бог послал вам эти страдания, чтобы представил себе грешник, что такое адский огонь!..

Да, стоило больше молиться, и больше работать, и поднапрячься, чтобы сподобиться царствия небесного. Но самым ужасным было то, что душой его завладело безразличие, отнимавшее у него всякую надежду попасть на небо.

— Обесчещенный, обесславленный, каленым железом клейменный, точно вол, да к тому же такой слабодушный, ничего мужского — как попаду я на небо, матушка Кирерия?

— Не говори сгоряча, сынок!.. Пережди: кашка горька, да подливка сладка, один холм обойдешь — ко второму выйдешь.

— Это верно... Каждому свой черед, и мой час еще наступит!..

В таких-то думках и маялся Ньо Аугусто, живя в глуши и одиночестве, среди босоногих сертанежо в одеждах из полосатого тика и перекрашенного сукна, и даже священника не было, не с кем поговорить. И вышло так из-за того, что стадо разбрелось по плоскогорью, а разбрелось оно потому, что дикого бычка укусила в ухо оса, и к этому обстоятельству прибавилось еще одно — существование в этом мире Тиана да Терезы. И все случилось именно так, потому что именно так должно было случиться, раз уж именно так и случилось.

Но только Ньо Аугусто все как есть рассказал чернокожим своим наставникам, выложил как на духу впервые в жизни. А в заключение дал себе волю: слишком уж он терпит по грехам своим, забыл про него господь! Жена живет с другим в счастье и радости... Дочка, такая молоденькая, уже пошла по рукам, несет ее по свету неведомо куда... И Ким, Ким Посыльный — слабосильный парнишечка, такой беспомощный, а погиб как мужчина, за своего хозяина, между тем как хозяин, — тряпка тряпкой, отсиживался в безопасном местечке, шкуру свою спасал, точно бабой заделался!..

— О прочем обо всем я уж сейчас и не говорю, матушка Китерия... Но как быть? Как мне встретиться с Кимом там, у господа, с каким лицом?! А я ведь любил поразмять кулаки, матушка Китерия, любил побуяннить! И в праздник Пречистой, помню, и на ярмарке в Тапере... Раз как-то против десятерых пошел, и все разбежались... Я самого Сержипана Конго обезоружил, матушка Китерия, и отделил на славу, а он спуску никому не давал, головорез был, каких немного!.. А то еще девушку из одного дома увез за неделю до свадьбы, со всей семьей ее схватился, с отцом, с братом, с дядей!..

— Ты к дьяволу спиной повернись, сынок... Сделай, как падре наказывал!

— Дьявол и есть, матушка Китерия... Я-то знаю... А может, это мне наказание, потому что вспоминается мне все это теперь, когда тело мое ни на что не годится, хотя не хоти, а не могу я ни с мужчиной схватиться, ни с женщиной потешиться...

— Читай «Верую»!

Но Ньо Аугусто, до этого сидевший на корточках, опустился на землю и продолжал:

— Бывают минуты, когда думается мне, что надо бы встряхнуться, хоть ради того же Кима, долг чести ему от-

дать, ведь за меня умер... Но страшно мне... Я уже знаю, что такое ад, матушка Китерия... Мог бы я пуститься на поиски дочки, вдруг худо ей, бедняжке, вдруг нужен я ей... Но я знаю, не моя это обязанность, не моя и все тут. Что должен я делать, так это расплачиваться за свои грехи, мучиться здесь в одиночку. Все эти годы я каялся, не сбрасывать же их со счетов! Вздумай я растратить на месть все свое покаяние, по обеим статьям остался бы в проигрыше... Горемыка я, матушка Китерия, но день мой еще наступит!.. Придет мой черед...

В таком вот настроении прожил Нью Аугусто долгое время, немало месяцев привыкал к новым мукам. Но по-прежнему отзывался на всякую просьбу об услуге, помогал хоронить покойников, навещал больных и ходил за ними и делал все с такой печальной добротой, что дальше некуда.

И в конце концов потихонечку, незаметно, стало вроде бы что-то к нему возвращаться, что-то подспудное зрело в глубине его души и рвалось наружу, и пришло оно исподволь, словно пора дождей, которая близилась тем временем: дни становились все жарче, все длиннее, и рыжекрылая птица — печник лепила новое гнездо из глины, и семена, что зимовали в пыли, дожидались в пыли своих таинственных преображений. Теперь Нью Аугусто много ел и легко засыпал. Работа веселила душу и была не в тягость. Ему не нужно было отгонять печаль. Он ни о чем не думал... Бабочки и крылатые термиты порхали вокруг керосиновой лампы... Вокруг полной луны стоял непременный ореол... И все твари распелись. Началось с жаб. «Жаба квакает в жару, будет дождик поутру», — говаривала матушка Китерия... В саду появились лягушки-свистуны, в дом за-скакивали квакши, прыгали на стены... А по двору сновали скорпионы и тарантулы, и за ними длинными деловитыми отрядами гонялись муравьи-зерноеды... С южной стороны на небе появились тучи побольше, потемнее. По ночам запевала птица «пéйше-фрýто». Лунный ореол стал сползать, пошел на убыль... К исходу знойного дня задувал холодный ветер... На берегу болота раскудаhtалась красноносая водяная курочка, требовала чер-пак, чер-пак, чер-пак, чтобы набрать воды... Хлынул дождь.

Все сразу переменялось, и Нью Аугусто заметил вдруг, что на душе у него легко, а тело здоровехонько. Он испытал было, а потом рассмеялся:

— Снимает господь груз у меня с плеч, матушка Китерия! Теперь я знаю, что вспомнил он обо мне!

— Хвала всевышнему, сынок!

Как-то утром, проснувшись, Нью Аугусто почувствовал, что так вот и пролежал бы весь день в постели, а в то же время и встать он совсем не прочь, а почему все это, и сам не знает. Напился он кофе и вышел в сад, благоуханный, полный птиц и весь зеленый, и пришло тут ему на ум: а почему бы не закурить?! Никакой это не грех... Нужно быть веселым, всегда веселым, а куренье — невинная услуга, от него на душе веселее...

И подумалось это само собой, потому что пальцы уже сворачивали сигарку с невероятной быстротой, словно не было всех этих долгих лет воздержания. Он глубоко затянулся, выпустил огромный клуб дыма и почувствовал, что тело его обмякло, ослабело до дрожи, но приятной, пробирающей до самого нутра, и такое ощущение, будто вот-вот превратишься в мелкий дождик.

Нет, покурить — не грех!.. И молитва давалась ему теперь куда легче, и куда легче было дожидаться без спешки часа освобождения.

Вот тогда-то, несколько дней спустя, и случилось неожиданно-негаданно одно событие, о котором до сих пор вспоминают в селеньице Томбадор.

Откуда-то с севера, с границы времен войны, появилось восемь верховых, все на ладных лошадках, в ладной одежке и собою ладные: сразу видно, что лихие ребята; сперва появился один, дозорный либо разведчик, он объехал все село от первого дома до последнего — там воды попросит, здесь ночлега, все высмотрел, все выведал; затем показали остальные, и при каждом целый арсенал: карабины, почти новые; одностволочки и двустволочки; револьверы лучших марок; ножи, кинжалы, стилеты с резными рукоятками; дубинки и сабли; и на каждом ладанки, свисающие гроздьями на грудь.

Банда проследовала разомкнутым строем, главарь ехал середине. И главарь этот — самый высокий из восьмерых и самый крепкий, в кожаной шляпе с голубым платком вокруг тульи, зубы белые, хищные, взгляд властный, кашель глухой, а улыбка красивая и кроткая, словно у девушки — был самым знаменитым человеком в обоих приречных сертанах: слава о нем гремела от Жекитиноньи до Сёрры-даз-Араpáс, от берегов Жикетай до устья Вёрде-Грáнде, от Рио-Гавиáна до Монтес-Кларос, от Кариньяны до Паракуту́; и был он грознее, чем Антонио До и чем Индалесио; из удальцов удалец, из храбрецов храбрец, всем

головорезам головорез, всем душегубам душегуб, гром среди ясного неба, отчаянная голова, неустрашимый, несокрушимый, неукротимый, сеу Жоанзиньо Так-Так.

Люди оцепенели от страха, боялись запираяться у себя дома и выходить на улицу; боялись разговаривать и молчать; дышать и то боялись. Но Нью Аугусто, который как раз пришел из лесу, откуда приволок вязанку дров для человека по имени Тобиас да Венда, когда узнал, в чем дело, сразу поспешил навстречу вновь прибывшим.

Завидя его, бандит Флозино Дьявол, верткий малый, неотлучно состоявший при главаре, сказал насмешливо:

— Что это за чучело несообразное там маячит — ни дать ни взять — привидение?!

Но сеу Жоанзиньо Так-Так пустил коня вперед на два шага и ответил:

— Не зубоскаль, приятель, мне нравится, как шагает этот человек.

И Флозино Дьявол удивился всерьез, потому что невозможно было себе представить, чтобы кто-то с первого же взгляда пришелся по душе самому сеу Жоанзиньо Так-Так.

Но Нью Аугусто подошел прямо к предводителю и, словно не видел всех прочих, спросил, бестрепетно на него глядя:

— С вашего позволения, сеньор, не вы ли будете сеу Жоанзиньо Так-Так?

— Он самый, к вашим услугам, сеньор.

— Тогда, коли не гнушаетесь вы жильем бедняка, приглашаю вас в свой убогий дом и за скудный свой стол на все то время, какое угодно вам здесь пробыть... И если подвесите вы свой гамак у меня под кровлей, доставите мне великую радость!

— Принимаю и благодарю за радушие, старина. Теперь надо бы узнать, кто еще в этом перетрусившем селеньице согласится приютить моих людей...

— Мне бы хотелось, чтобы все пожаловали ко мне на ранчо...

— А в тягость не будет?

— Не будет... Я от чистого сердца.

— Тогда поедем, и награди вас господа!

И сеу Жоанзиньо Так-Так, который краешком глаза следил за всем вокруг, ничего не упуская из виду, быстро повернулся к Эпифанию, поигрывавшему винчестером:

— Оставь оружие в покое, приятель, я уже говорил, что не люблю, когда шутки ради палят куда попало, чтобы по-

тешиться испугом жителей!.. Поехали! Показывайте нам путь, старина.

И тут негру с негритянкой пришлось постараться: опичивать кур, резать молочных поросят, собирать яйца и готовить сладкое — только успевай. А Нью Аугусто сперва подыскал себе помощников, чтобы ходить за лошадьми, а потом пошел по домам, разжиться припасами: алуа¹, плодами, домашними печеньями, душистым куреньем, кашасой в больших количествах и всем что повкуснее, для своих гостей. И гостям был по нраву этот человек, всячески старавшийся им угодить, оказывавший им столько внимания, почти что нежности, причину которой они не могли разгадать.

Они развесили в саду между деревьями гамаки из пальмовых волокон и отдыхали, разложив свой многочисленный арсенал так, чтобы все было под рукой. И тут сеу Жоанзиньо Так-Так рассказал Нью Аугусто: здесь они проездом, он с небольшой частью своего отряда направляется на юг, в поселок Такуáрас, у истоков реки Мандурí, по зову своего друга Николау Кардозо, которого несправедливо притесняет тамошний заправила, богатый помещик. И Флозино Дьявол добавил:

— Говорят, этот сеньор набрал себе в подкрепление три отряда молодчиков из Тапере, но стоит нам показаться, — все прочие живо присмирют... Придется им поджечь хвосты, дружище!.. Но нам-то даже не удастся поразмяться толком, потому что там, где появится сеу Жоанзиньо Так-Так, другим делать нечего...

Но сеу Жоанзиньо Так-Так прервал соратника:

— Обо мне распространяться незачем, приятель, все и так наслышаны.

Нью Аугусто переводил глаза с одного на другого, и до того они расширились и округлились, что весь белок был на виду. Сеу Жоанзиньо Так-Так посмеивался безмятежным смешком, и всё, окружив его, тоже послушно посмеивались.

— Мы сюда не собирались, я ведь даже не знал, что есть на свете такое местечко... У нас иная была дорога. Но на одном берегу реки лихорадка хозяйничает, а по другому черная оспа гуляет... Да еще был слух, что из Дьямантиньи двинулись войска, солдати полно... Вот мы и дали такого крюка.

¹ Алуá — напиток, который готовят из кукурузной или рисовой муки, заквашенной с сахаром в глиняных сосудах.

Негр с негритянкой накрыли стол посреди двора. Яств было как на пиру. И когда вся ватага расселась вокруг, прежде чем приступить к еде, хозяин осенил себя крестным знамением и прочел вслух молитву; и все прочие последовали этому примеру, что явно обрадовало Нью Аугусто.

— Вы, сеньор, как хозяин дома, садитесь подле меня, старина,— попросил сеу Жоанзиньо Так-Так.— Кто это вам так приглянулся? Ага, наш Тим?.. Он у нас армейская косточка... Нюхнул казармы...

Нью Аугусто налюбоваться не мог Тимом Востроглазом, что дезертировал один раз из армии да трижды из ополченских войск трех штатов, и по этой причине, сам того не замечая, не ходил, а маршировал и, когда обращался к кому-либо, вытягивался по стойке «смирно», как и положено.

— И давно при вас все эти brave ребята, сеу Жоанзиньо Так-Так?

Предводитель поправил завязки своей кожаной шляпы, прокашлялся и ответил:

— Кое-кто давно. Все люди порядочные... Деревенщины мне не надо! И таких, что стреляют из-за угла, не принимаю... Мои люди убивают только тех, кого я приговорю, а если я кого приговорю, то только по справедливости!

— Вот это лихо! — вскричал Нью Аугусто, встрепенувшись. Сеу Жоанзиньо Так-Так продолжал:

— Молодцы один к одному, ученые и муштрованные... Но мне с ними со всеми возни хватает. Этот уроженец Баии, любит покомандовать... Тот из Сеары, торопится прежде времени... Непростые ребята... Или взять парней из штата Гойас: не любят трогаться с места... А уроженцы Минас-Жерайс те вечно беснуются некстати, а если затеют драку, не остановишь... Но таких молодцов, как у меня, поискать!

— А вы сами разве не из Минас-Жерайс родом, сеу Жоанзиньо Так-Так?

— Да вроде бы оттуда... С побережья реки... Сам не знаю, откуда я родом! Да, пока не забылось, старина, не истолкуйте худо мою просьбу: угощение у вас отменное, пальчики оближешь, но желудок у меня плохо варит, больше не принимает... Если не сочтете за труд, хотел бы я, чтобы вы распорядились приготовить для меня горячую жакубу¹, да чтобы сахар был потемнее, маниока смолота по-

¹ Ж а к у б а — напиток, приготовляющийся из воды, маниоковой муки и неочищенного тростникового сахара или меда, иногда с добавлением кашасы.

тоньше, и несколько листочков померанца добавить... Как, можно это?

— Сейчас, сейчас... Пойду погляжу...

— Помогите вам господь, старина.

Тем временем остальные уплетали за обе щеки с превеликой охотой и удовольствием. И когда Нью Аугусто принес жакубу, к нему обратился Зеферино, который каждый слог повторял по несколько раз, с усилием, и как упрямый зайка на каждом слоге закидывал голову назад:

— Од-дно м-меня уд-дивляет, сень-сеньор мой: т-такой обед, столько то-тонких к-кушаний, а д-двух, самых главных, н-не вид-дно!

— Чего же не хватает, дружище?

— С-соуса из с-сам-мам-байи и с-супа из к-канжи-киньи!

Нью Аугусто улыбнулся:

— Могу поручиться, что, когда дойдет до потасовки, ты спустишь курок без заминки!

— Без всякой! — поддержал сеу Жоанзиньо Так-Так. — Этот метис — малый не промах, дело свое знает и еще как!..

А Нью Аугусто, ненасытный, не желая ничего упускать, уже ощупывал мышцы Эпифанио, огромного мулата с могучими бицепсами, с мускулистой грудью, заросшей курчавыми волосами. Потом повернулся к Журуминьо, хрупкому кабокло¹, чья живость сказывалась в малейшем движении, а проворство — даже в том, как он орудовал вилкой, которая у него в руке мелькала, точно швейная игла.

— А ты, куманек, — сорвиголова, сразу видно — любого голыми руками возьмешь!

И Журуминьо, польщенный:

— Возьму голыми руками хоть дикобраза, хоть ящерицу-татарану², хоть двадцатирукого человека, в каждой руке по серпу и всеми отбивается!.. Спать ложусь на острый ножик, засыпаю меж козьих рожек, а проснусь — гляжу: у себя в гамаке лежу!.. Наш командир пускай подтвердит... А вы вот на что полюбуйтесь...

И он показал ладонь правой руки, испещренную шрамами от кинжалов, которые он перехватывал за острие, обезоруживая нападающего противника.

¹ Ка б о к л о — метис от брака индианки и белого.

² Т а т а р а н а — ящерица, прикосновение к которой причиняет болезненный ожог.

Ньо Аугусто от возбуждения привскочил:

— Ого! Вот это да!.. На вас бросаются, а вы издали, из карабинов... А тот верзила и еще этот куманек с серьезным лицом, те с боков... А этот приятель-сорвиголова — первым в самую гущу, и тут уж не до правил вежливости!.. А там — гром среди ясного неба, и дубинки давай плясать и скакать, а карабины с револьверами — палить, а немые — голосить, а те — кто против — наутек и лапки вверх!..

Но тут в груди у Ньо Аугусто защемило, и он замолчал, смутился; потом, вздохнув, спросил:

— Еще курятины кусочек, дружище?

— Некуда.

— А тебе, хват?

— Благодарим... Сыт под завязку... Вот-вот лопну!

Тем временем сеу Жоанзиньо Так-Так, запрокинув голову, не сводил глаз с Ньо Аугусто. И Ньо Аугусто, разлив кашасу, тоже отхлебнул два глотка и попросил разрешения посмотреть многозарядный винчестер поближе.

— Ничего, если потрачу несколько пуль, дружище? Ружьецо-то с дальним боем...

— Можете расстрелять все восемь. Попробуйте сбить птичку с ветки вон того питангового дерева...

— Зачем трогать божью тварь. Посмотрю, сумею ли срезать пулей сук... Если промажу, не судите строго, я давно уж не нажимал на спуск...

Выстрелил.

— Меткая рука, старина. С первого раза промазал, со второго попал... Железо доброе, только заржавело!

Но тут Ньо Аугусто снова осенил себя крестным знаменем и впал в уныние, от которого уже не мог отделаться. Тем не менее он по-прежнему заботливо ухаживал за гостями, и поскольку вся орава расположилась на ночлег в гамаках тут же, под открытым небом, вокруг костра, который разожгли посередине двора, он улегся спать только поздно ночью, когда некому больше было рассказывать истории про стычки, нападения и кровопролитные побоища.

На другой день рано утром отряд собрался в путь. Жоанзиньо Так-Так долго благодарил за прием и напоследок сказал:

— Вы, старина, на других не похожи, но я все время к вам приглядываюсь и теперь могу сказать — наверняка и без ошибки, — что вы, сеньор, человек хороший, такой уж вы есть. Наши ангелы-хранители сошлись характером, и для меня это важный знак. Так что если нужна вам по-

мощь, если хотите подать кому-нибудь такую весточку, от которой не поздоровится... Если есть у вас враг в этих краях, живет себе не тужит, вы только назовите имя и место. Нету? Ну ладно. Вознагради вас господь за вашу доброту.

— Езжайте с богом! До встречи, честная компания. До встречи, сеу Жоанзиньо Так-Так!

Но предводитель, уже вскочив на коня, снова подозвал Ньо Аугусто и сказал ему:

— Старина, вы любите драку и знаете толк в этом деле. Сразу видно, что не всю жизнь жили вы, сеньор, в этом захолустье, травку пололи да дровишки кололи. Я не хочу выведывать, что у вас было в прошлом, нету ли за вами преступления, из-за которого вы и скрываетесь. Но если вы пойдете ко мне, вас ждет удача, сеньор! Хотите прикнуть к моим людям? Хотите пойти с нами?

— Не могу! Не прельщайте меня, не могу я, сеу Жоанзиньо Так-Так...

— Ну, старина, дело ваше.

— Но вовеки не забыть мне вашего великодушия, мой друг, мой сородич, сеу Жоанзиньо Так-Так!

Тут Журуминьо, который нарочно отстал от других, склонился с седла к Ньо Аугусто и попросил его шепотом, чтобы никто не услышал:

— Друг, помолись за одну мою сестричку, тяжело она хворает, лежит в параличе там, в местечке Урубү...

И банда выехала на дорогу, а Тим Востроглаз затянул лихую песню времен революции:

Не шваброй, не метлою
Мы дома пол метем:
Метем его картечью
Да пушечным ядром.

Ньо Аугусто не сводил с них глаз, пока они не скрылись из виду. А затем дал себе волю и крепко задумался. Вот у них жизнь что надо, им незачем думать о спасении души, и они могут ходить по земле высоко подняв голову... Один только он, Ньо Аугусто, обещен навсегда, потому что если у него на родине кто-нибудь еще вспомнит его имя, то лишь затем, чтобы облить грязью...

Приглашение сеу Жоанзиньо Так-Так было поистине, как большая рюмка кашасы! Эх, до чего же разбирала охота согласиться и поехать с ними...

А его предложение? Довольно было словцо сказать! Довольно было только шевельнуть губами — и сеу Жоанзиньо Так-Так, и Тим Востроглаз, и Журуминьо, и Эпифанио —

и все! — рассчитались бы сполна с майором Консилвой, и с Овидио, и с женой — со всеми, кто был причастен словом или делом к его беде. Эх, прежнее житье, пальба и гульба!.. Эх, стук подков!..

И Нью Аугусто сплюнул и засмеялся, стиснув зубы.

Но что ни говори, а тут бы он и погубил свою душу, и бог покарал бы его еще суровей...

Теперь только он почувствовал, как прикипел душой к своему покаянию, и понял, что если уж решил прожить по вере и спасти свою душу из пасти дьяволовой — это все равно что угодить в трясину: нет ходу ни назад, ни вперед, ни в стороны, и увязает все глубже.

Он прибег к самому сильному аргументу:

— Теперь, когда я взялся за дело и уже прошел такой длинный путь, никто не заставит меня свернуть в сторону либо пойти вспять!

И перед сном в нарушение всех правил он глотнул кашасы, и правильно сделал, потому что сон пришел сразу, и такой был чудесный сон: приснился ему бог, и был он удалец, из всех удалцов самый бравый, точь-в-точь похож на сеу Жоанзиньо Так-Так, и бог велел ему вязаться в драку, просто чтобы испытать силу, а сам оставался на небе, но за всем приглядывал и за успех ручался.

Таким-то образом и улеглись тревоги.

Зима выдалась ненастная, но Нью Аугусто это мало трогало; он целыми днями трудился под дождем, расчищая участок, в чем не было ни малейшей необходимости. Затем вбил себе в голову, что должен вырубить заросли, тянувшиеся до самой водомоины: деревья анжико в броне отвердевшей коры и деревья жакаранда, старые, росшие здесь с неведомых времен. Тут уж пришлось ему помахать топором, врубался да побрякивал. А негр с негритянкой, очень одобрявшие это занятие, время от времени приносили ему кашасу, чтобы он не подхватил простуды; и поскольку, пока они к нему добирались, их тоже мочило дождем, они тоже принимали меры предосторожности, соответственно, против этой самой простуды.

И еще разные произошли изменения, а главным из них было то, что теперь Нью Аугусто тосковал по женщинам. И жизненная сила бурлила в нем, прилиwała мощными волнами в бодрящем напряжении, и было это словно возврат и воскрешение. Вот теперь покаяние воистину приносило радость, потому что было подстрекающее искушение, и был след, оставленный на завоеванной земле, и была

опасность, и все, что нужно человеку. Он больше не думал о смерти и о том, попадет ли он на небо; и даже воспоминание о той беде и всех превратностях судьбы отстало от него, как отстает от человека голод после сытного обеда. Достаточно было помолиться и потрудиться как следует — и дьявол, бродивший поблизости, получал взбучку и поджимал хвост, на радость Нью Аугусто. И только по привычке он повторял еще иногда:

— У каждого свой час, и мой черед еще настанет!

Настолько по привычке, что он даже не старался, чтобы слова эти были сказаны как раз в тот час, наступающий трижды в сутки, когда ангелы слушают и говорят аминь...

Но вот наконец кончились дожди, и однажды утром, выйдя из дому, Нью Аугусто увидел, что мир преобразился до неузнаваемости: солнце, точь-в-точь похожее на ком серы, желтеющей из глубины горшка, карабкалось вверх по небу, голубому, как безбрежные воды, и отбрасывало во все стороны снопы света, а внизу буйствовала зелень — самое прекрасное утро, какое только он видел.

Он работал на берегу оросительного канала.

Вдруг утреннее небо загомонило: стаей пролетали зеленые попугайчики-майтаки, звенели, словно бубенцы, цокали, словно пробивая клювом стекла, заливались шумным хохотом. Еще стая. Следом другая. И еще одна, пониже, эти попугаи были светлее и еще болтливее, даже не могли подчинить разноречивых голосов дисциплине хора.

Затем появились сине-зеленые, у этих голоса были потише и строй поровнее.

— Вот это да! И мараканы!¹

И снова зеленые майтаки. И опять гнусавые мараканы. Конца им не было. Почти без перерывов: одна стая, хлопая крыльями и щебеча, пронеслась над головой, а другая уже возникала на севере черной точечкой, в то время как первая — зеленое зернышко — исчезала в южном направлении.

— Прах побери, и думать не думал, что бывает их столько!

За ними появились розовоклювые попугайчики, они издавали пронзительные крики, похожие на звук тимпана, и летели эскадрилья за эскадрилей. Время от времени пролетали даже попугаи ара, они летели супружескими парами, ревниво перебраниваясь и ссорясь. Все очень спе-

¹ М а р а к а н ы — разновидность зеленых амазонских попугаев.

шили; единственные, кто на миг прервал путешествие, были веселые туины¹, крохотные туины с желтыми головками, ничего не принимающие всерьез; они облачком опустились на деревья и передохнули, сидя парочками и не прекращая стрекота: рррл-рррил! рррл-рррил!

Но болтливые зеленые попугайчики-майтаки летели беспрерывно. Одна стая громко и весело кричала другой, головной: «Погоди! Погоди!..» Крик дрожал и замирал в воздухе, поджидая стаю, летевшую следом.

— Пресвятая дева! Совсем ополоумели, думают, кукуруза уже поспела... Но разве без майтак утро может быть по-настоящему красивым?!

Солнце поднималось все выше над зеленой сутолокой перелетных птиц. За изгородью промелькнула девушка. Красивая! Все женщины были красивые. Все ангелы небесные, наверное, были женщинами.

И Нью Аугусто затянул старую-престарую песню, которую поют сертанежо в изгнании:

Увидеть бы смуглянку из сертана,
Что вышла за водою утром рано...

Он долго пел. Покуда не улетели все крылатые гости.

— Больше не видно... Эх, попугай, непоседливое племя!.. Наверное, уже далеко отсюда... Далеко, где?

Как гром гремит, как молнии сверкают,
Когда сертан мой грозы навещают...

Далеко, где?

Влюбиться бы в малышку северянку,
Из Минас остроглазую смуглянку...

Но ведь Нью Аугусто и был в сертане на севере штата Минас-Жерайс. Где же тогда — далеко?

Когда он отложил мотыгу и не спеша подошел к кухонной двери, он сам еще ведать не ведал, что собирается делать. Но прошло несколько минут, — и никакими мольбами не могли уговорить его остаться дома его черная мать Китерия и черный отец его Серапион.

— Прощайте, родные, здесь мне больше незачем оставаться, потому что скоро наступит мой черед, и мне надо идти за ним в другие края!

— Дождись конца ливней, сынок! Дождись, пока распогодится...

¹ Туины — разновидность мелких попугаев.

— Не могу, матушка Китерия. Когда подает голос сердце, время не терпит! А если я не вернусь, все мое останется вам.

Родолфо Меренсио предложил ему ослика.

— Ни к чему! Спасибо за доброе намерение, но мне он без надобности, потому что собираюсь я идти пешком домой...

Но потом все-таки принял предложение, потому что матушка Китерия напомнила ему, что осел — животное почти что священное, не зря про него так часто поминается в жизнеописании Иисуса Христа.

И все очень жалели, что он уезжает. Но он ни за что не хотел оставаться, а когда наконец оказался один, поглядел вперед и запел песенку, которой выучился у молодых из шайки сеу Жоанзиньо Так-Так:

Не щелоком, не мылом
Стираем мы белье,
У нас за щелок — порох,
За скалочку — ружье!

Ничего худого в этой песне не было, просто петь — не грех. Дороги тоже пели. И он видел много красивого, все было красиво, потому что таковы уж дороги в сертане.

Он делал остановки, чтобы заглянуть в нору броненосца, вырытую в овраге; чтобы очистить от кожуры дикий ананас, смугло-золотой, пахнущий стойлом; чтобы высосать мед из удлиненной ячейки сот пчелы «бора́»; чтобы помолиться около цветущего дерева ипé и около торжественного дерева копайба, которые еще хранили знаки длани господней, совсем свежие. А однажды ему пришлось спешно податься на взгорок, и долго смотрел он оттуда сверху на дорогу, раздольную, как река, и грохочущую под копытами стада быков в две тысячи голов, которое мчалось в сторону Итакамбиры под конвоем конных пастухов в кожаной одежде: пикет из пяти человек во главе колонны, семь-восемь душ с каждого фланга, а позади целый эскадрон смуглокожих кавалеристов, распевающих песни дальних сертанов.

Однажды пустил он ослика следом за ревматическим урубу¹, который, прихрамывая, прыгал по дороге и все никак не мог взлететь. И пил он прямо из горсти холодную воду каскадов, что зовутся в народе «невестина фата» и низвергаются, звеня беспечными и обильными струями.

¹ У р у б у — разновидность южноамериканского грифа.

Впервые в жизни пришел в восторг от закатного пейзажа, увидев три кокосовые пальмы, вздымающиеся над линией гор и четко вычерченные на оранжевом фоне, по которому во множестве полыхали вечерние облака. И он видел, как с дерева мулунгу, усыпанного большими красными цветами, вспорхнула красная танáгра¹, оперенье которой было еще ярче, чем эти цветы, и она опустилась на ветку дерева барбатиман, уже отцветшего, и Нью Аугусто почувствовал, как обрадовалось дерево от того, что на ветке у него расцвел цветок, не уступающий цветам мулунгу.

Он побывал в краях, жители которых разводят деревья мангабейра, богатые млечным соком, и ночевал у них в хижинах с кровлей и стенами из пальмовых листьев. Затем выехал на речное побережье, жители которого угощали его маникоковой кашей с рыбой и красным перцем. Оттуда двинулся дальше.

Однажды под вечер вдали от всякого жилья ему встретился черно-пегий козел, а следом за козлом, держась за веревку, тащился слепец, сухопарый, полупомешанный. Козел остановился, и слепец завел вразтяжку, заунывно:

Я диковин видел много:
Пес писал, а кот читал,
Шерсть в клубок сверчок мотал,
Славила мартышка бога,
Страус в кегельки играл.
Мне б еще увидеть, как
Солнышко дрожит от стужи,
По небу летает рак,
Дождик хлещет вверх из лужи,
А луна жует табак.

— Ай да песня! А я тут как тут!.. — захолопал в ладоши Нью Аугусто.

Слепец уже протягивал ему котомку:

— В свою суму от всякого денежки приму...

Но пока Нью Аугусто рылся в кармане в поисках медяка, слепой передумал:

— Нет ли у тебя при себе чего съестного, брат? Деньги мне не так требуются, здесь ведь на поселок никак не набрести, ферма захудалая, и то в редкость...

И он объяснил: был у него мальчонка-поводырь, но улепетнул; и прихватил бы с собою козла, да козел заблеял, тут он и подоспел с дубинкой. Теперь скотинка эта двухцветная и выбирает дорогу... Все-то он понимает, все!..

¹ Танáгра — птица из отряда воробьиных.

Поводыря лучше не сыскать... Верный товарищ, надежней человека, даже родственника надежней...

Слепец стал прощаться. Он был вполне доволен жизнью и теперь направлялся в Баю, обратно в Катите, потому что родом был из тех краев.

— А я в ту сторону иду, откуда ты пришел... Но не в этом дело, и передай мой привет всем своим землякам, всем этим добрым людям, которых не довелось мне узнать!

И тут осел тронулся с места, а Нью Аугусто запел, чтобы послушали заросли низкорослого кустарника и отозвались эхом:

В какую ни влюбишься — все на радость...

До чего же хорошо бродить по свету на воле без всяких забот и в ладу с господом!

И когда осел останавливался как вкопанный — потому что, как вся его порода, был преупрямый и столь же порывистый, сколь длинноухий, — Нью Аугусто сидел себе смирно в седле и читал молитвы, дожидаясь, пока ослу заблагодарсудится снова пуститься в путь. И на перекрестках выбор дороги он тоже предоставлял разумению благословенного ослика, который поводил ушами и гулко ревел. И достаточно было, чтобы с поля донесся писк опечаленной куропатки, а из зарослей послышались унылые жалобы птицы-тукана, чтобы длинноухий изменил маршрут, подался вправо или рванулся влево; а если у него под носом перелетал дорогу ястреб, он замирал на неопределенное время в крайней нерешительности.

Но если сложить все мили по прямой и вычесть все извивы, получалось, что они неуклонно двигались на юг, в том же направлении, что зеленые попугайчики, майтаки-путешественники. Теперь люди встречались чаще: в этих местах было больше ферм, домов, селений, поместий; затем поселки зачастили, словно вырастая из земли. И тут они с ослом вдруг оказались на небольшом расстоянии от поселка Муриси.

— А мне все равно! Куда ослик повезет, туда и поедем, потому что ведет нас господь бог!..

Таким-то образом и появились они оба в поселке Рала-Коко, жители которого в это время были в страхе и волнении.

Но когда Нью Аугусто услышал ответ: «Сюда пришел отряд сеу Жоанзиньо Так-Так, который направляется в Баю», — он не мог сдержать радости:

— Вот это да! Птичка пропела, мне удача приспела!.. А где же они?

Оказалось, что они стоят на постое в самом центре поселка, в помещицьем доме, где сеу Жоанзиньо Так-Так принял Нью Аугусто с великим радушием.

Нью Аугусто пошутил словами песенки:

— Бродит бык по пастбищу, тычется и топчется — значит, травка кончилась или скоро кончится...

— Вот именно, старина... Выручил я моего друга Николау Кардозо, славного малого... А теперь иду на соединение с остальными моими людьми, потому что дошла до меня весть, что власти разбушевались, двинули войска, и я направляюсь не мешкая в Пилон Аркадо, друг у меня там, Франклин де Албукерке, как бы не понадобилась ему моя помощь!..

Он смотрел на Нью Аугусто веселыми глазами, и вид у него был самый дружелюбный. Но на лбу залегла морщина.

— Видите, старина? Мир-то тесен... Мне приятно вас встретить. Вот теперь вы у меня в гостях... Закусите со мной. Присаживайтесь, старина, присаживайтесь!.. Приготовь-ка кофе для моего родича, Флозино!

— Мне бы не хотелось вас задерживать... Времени у вас в обрез...

— Пустяки, старина! Мы скоро выступаем, но надо еще расплатиться по одному счету, чтобы не остаться в должниках... Потом расскажу. Да вы сами скоро увидите... Ешьте на здоровье, старина.

Нью Аугусто уплетал кукурузный хлеб и косился просодушно, не несут ли кофе.

— Есть настой мате горячий, старина...

— И его выпью, друг. Оголодал, как гуртовщик на перегоне... А что Журуминьо поделывает?

— А, вы запомнили имя; стало быть, полюбился вам наш малец... Нет его в живых, бедняги, а был он у меня из самых лучших...

— Что вы говорите...

Сеу Жоанзиньо Так-Так помрачнел лицом.

— Из-за угла подстрелили... Убийца сбежал, скрывается где-то... Но семья за все заплатит сполна!

Сеу Жоанзиньо Так-Так, сидя на краю стола, поигрывал тремя амулетами, висевшими у него на груди, тихонько постукивал пяткой о пятку. Нью Аугусто перестал ковырять пальцем в зубах, сказал сочувственно:

— Бедный Журуминьо, такой проворный, такой пригожий... Помолюсь-ка я за его душу...

Сеу Жоанзиньо Так-Так соскочил со стола, безмолвно заходил взад-вперед по комнате. Ньо Аугусто сидел, понурившись, на старом седле, и вид у него был отсутствующий.

— Послушайте, старина...

Сеу Жоанзиньо Так-Так остановился перед Ньо Аугусто и продолжал:

— Вы пришли к мне по душе с первой же минуты, когда подошли ко мне на улице того глухого угла... Я уже сказал вам тогда, у вас дома: вы ничего не рассказывали мне о своей жизни, но я знаю, что наше ремесло вам знакомо. Послушайте, я это чую на расстоянии, с закрытыми глазами, вам меня не провести: могу поклясться, что человек вы бесстрашный и на все готовы, как никто. И если захотите...

— Я бедный грешник, сеу Жоанзиньо Так-Так...

— Оставьте! Вас губит эта мания — все молиться да молиться... Вы же не монах и не священник, разве неправда? Церковное нытье любого храбреца с толку собьет, если он не одумается... Глупости это все!

— Ударьте себя по губам, сеу Жоанзиньо Так-Так, мой друг, как бы не наказал вас бог!

— Не обижайтесь, старина, позвольте мне сказать: я был бы доволен, если бы вы отправились с нами на север... Я уже говорил вам и снова говорю: никогда никого я так не упрашивал, и вы не раскаетесь! Глядите: вон лежит оружие Журуминьо, просит нового хозяина...

— Дайте-ка поглядеть...

Ньо Аугусто схватил винчестер тем движением, каким кот прижал бы лапой птичку. Погладил ствол и приклад. И пальцы его дрожали, потому что из всех искушений это было самое сильное.

Вступить в банду сеу Жоанзиньо Так-Так! Но губы шевелились — может быть, он читал сквозь зубы «Верую» — и, наконец, он несколько раз отрицательно покачал головой:

— Не могу, друг мой сеу Жоанзиньо Так-Так! Столько лет прошло... От всей души благодарствую, но не могу, не говорите мне больше про это...

И он улыбался главарю удалцов, и внутри у него тоже была улыбка, та самая улыбка, которой улыбается сертанежо, когда удастся ему перехитрить кого-то в каком-нибудь деле.

— Все верно, силком принудить я вас не могу... Но досадно...

Тут в дверь забарабанили что было мочи.

— Кто там?

— Да тот дряхлый старик, командир.

— Пускай войдет. Войди, старик.

Старичок трясся и плакал, а поглядев на присутствующих, совсем растерялся. Кое-как совладал с собою и повалился на колени перед сеу Жоанзиньо Так-Так.

— Ох, сеньор мой, вы ведь всеми распоряжаетесь. Ох, сеу Жоанзиньо Так-Так, смилуйтесь! Смилуйтесь над моей мелкотой, над моей ребятней. Не разбивайте сердце бедному отцу...

— Встань, старик.

— У вас власть, сеньор, вы вольны заставить других лить слезы... Но пречистая дева вознаградит вас, если не растопчете вы муравья ползущего... Сжальтесь над нами над всеми, сеу Жоанзиньо Так-Так!

— Встань, старик! Кто сжалился над Журуминьо, которого подстрелили из-за угла?

— Ох, сеу Жоанзиньо Так-Так, тогда заклинаю вас, ради любви к сеньоре вашей матушке, что родила вас на свет и вскормила, заклинаю вас, прикажите убить меня одного, старика, ни на что не годного... Но пощадите горемычных моих сыновей и дочерей, сидят они дома и мучатся, с ума от страха сходят, они ведь неповинны в том, что брат их содеял... Молю вас кровью Иисусовой, слезами девы Марии!..

И старик, не вставая с колен, закрыл лицо руками и стоял так, весь сжавшись, рыдая и тяжело дыша.

Сеу Жоанзиньо Так-Так откашлялся и сказал:

— Пойти вам навстречу не могу, а от вас ничего мне не надо, старик. Такое правило... Иначе, кто же будет слушаться человека, который не мстит за своих людей, убитых из-за угла?.. Такое правило... Могу еще отменить налет, бывают случаи, но простить никак не могу... Один из двух пареньков, сыновей ваших, умрет от кинжала либо от пули, вы можете выбрать, которому из них заплатить за преступление брата. А девочки... Мне их не нужно, меня-то женщина не пройма: девчоночки достанутся моим людям...

— Пощади нас всех, сеу Жоанзиньо Так-Так... Заклинаю телом Христовым в страстную пятницу!

— Молчи, старик. Идем выполнять нашу обязанность...

Но тут старик, не вставая с колен, выпрямился и подался всем телом вперед, как разъяренный уж, и казалось, лицо его вот-вот будет вровень с лицом сеу Жоанзиньо Так-Так. Окаменев, вытянув шею, скрипя зубами и брызгая слюной, он взревел:

— Раз так, Сатана, призываю господню силу на подмогу моей немощи, да одолеет она крепость твоей проклятой силы!..

Наступило молчание. И тут:

— Не делайте этого, мой друг сеу Жоанзиньо Так-Так, ведь несчастный старик просит именем господа нашего и девы Марии! А то, что хотите вы сотворить у него в доме, и бог не велит, и дьявол не творит!

Сказал эти слова Ньо Аугусто; и левая рука его поглаживала лезвие длинного и узкого ножа Журуминьо, а правая лежала небрежно на прикладе карабина. Сказал он их спокойным тоном, но дышать стал так часто и шумно, что тело его вздымалось над седлом и снова опускалось. Глаза раздались в ширину, весь он раздался, точно бык, который решил, что слишком много мельтешит вокруг загонщиков, и надумал обеспечить себе одиночество.

— Вы шутки шутите, старина?

— Не шучу. Прошу, как друг, но разговор идет всерьез, мой друг, мой сородич, сеу Жоанзиньо Так-Так.

— Так вот, такой дерзкой просьбы никогда до сего дня не слышал я и не выполнял!

Старик отполз проворно на четвереньках в сторону и прислонился к стене. В прогретом воздухе летала муха.

— Ну, тогда...— и Ньо Аугусто рассмеялся, словно человек, собирающийся рассказать препотешную историю,— тогда, мой друг сеу Жоанзиньо Так-Так, дело нехитрое... Но придется прежде перешагнуть через мой труп...

Жоанзиньо Так-Так привязался к Ньо Аугусто, внушавшему ему глубокую симпатию, а у него на людей был тонкий нюх, и он умел предвидеть изменение погоды и интуитивно чувствовал важные события. Но Теофило Ягуар был не из тех, кто долго раздумывает, и он налетел на Ньо Аугусто, и тут раздалось:

— А ну! Воимяотцаисынаисвятого духа — минь! Выходи, сброд поганый, настал мой черед!..

И дом наполнился треском, словно кастрюля, в которой жарятся кукурузные зерна, и стало темно от дыма, и бандиты металась и орала, как дикие коты, а Ньо Аугусто

вопил, как связанный дьявол, и бесновался, как десять дьяволов, вырвавшихся на волю.

— Славная штука — светопреставление!..

И он выкрикнул все непристойные слова и все ругательства, которым выучился за бурную свою жизнь и которых не произносил уже много лет. А голос сеу Жоанзиньо Так-Так тоже гремел во всю мочь:

— Прочь отсюда, Ягуар! Беги, Эпифанио! Дайте нам померяться силой!

Ложь карабина под самым ухом... Еще прыжок... Еще выстрел...

Три бандита бежали, потому что остальные трое были убиты, а может, при смерти, а может, прикинулись мертвыми.

И тут народ заполнил всю улицу, чтобы ничего не упустить из зрелища. Потому что пули уже были израсходованы, а сеу Жоанзиньо Так-Так и Человек на Осле вылетели из дому, оба окровавленные и в свисающей клочьями одежде. И они насккивали друг на друга и отпрыгивали в сторону с улыбкой на губах и с ножом в руке.

— Сдавайтесь, старина, не хочу я вас убивать...

— Брось нож, восхвали бога и беги, сеу Жоанзиньо Так-Так!

— Старина! Теперь ты скажешь, сколько в тебе футов от пяток до локтей!..

— Покайся в грехах, а не то прямо в ад угодишь, мой сородич сеу Жоанзиньо Так-Так!..

— Ох, я убит...

Лезвие Ньо Аугусто вспороло ему живот до самого желудка, и куча кровавых змей вывалилась наружу, и сеу Жоанзиньо Так-Так рухнул на колени, поддерживая свои внутренности обеими руками.

Тут люди захотели помочь Ньо Аугусто, у которого кровь лилась отовсюду, даже изо рта и из носа, и он, наверное, весил немало, столько в нем было дробы и пуль. Но глаза его горели огнем, как у дикой кошки, и выпрямившееся тело не гнулось к земле.

— Погодите, люди, помогите прежде моему сородичу, он раньше умрет... А тогда и я смогу прилечь...

— Я кончаюсь, старина... Умираю, но умираю от руки храбреца и искусника, какому не знал я равных... Я всегда говорил, что вы хороший человек, старина... Только так и дозволено умирать таким людям, как я... Хочу отойти в дружбе с вами...

— По рукам, мой родич сеу Жоанзиньо Так-Так. Но теперь покайтесь в грехах и умрите христианином, чтобы могли мы пойти одной дорогой...

Но когда сеу Жоанзиньо Так-Так делал вдох, клубок внутренностей вздымался и опадал. Он начал стонать. Тело дергалось в предсмертных корчах. Своим упорным желанием еще что-то сказать он ускорил конец. И отошел.

Кто-то заорал: «Ага, сеу Жоанзиньо Так-Так уже откинул копыта! Пришел ему каюк!» И тогда ноги Нью Аугусто подогнулись, и он позволил поддержать себя.

— Только не в дом, люди. Хочу умереть на свету и на вольном воздухе, глядя на небо... Хочу, чтобы кто-нибудь из вас позвал священника... Попросите, пусть благословит меня в путь, а то еще заблужусь.

И он рассмеялся.

А люди тем временем говорили: «Сам господь послал этого человека на осле, чтобы спас он нас и наших детей!..» И толпа захотела было разнести в клочья труп сеу Жоанзиньо Так-Так, и все пели песенку, которую кто-то только что сложил:

Ты меня не убьешь, ты меня не убьешь.
Сеу Жоанзиньо Так-Так!
Ты сам угодил сегодня под нож,
Сеу Жоанзиньо Так-Так!

Нью Аугусто прикрикнул властно:

— Прекратите это вытье, свора нехристей! И похороните тело, как положено, с великим почетом и в освященной земле, потому что это тело родича моего сеу Жоанзиньо Так-Так!

А плачущий старик восклицал:

— Приведите моих детей, пусть благодарят его, пусть ноги ему целуют!.. Святой он, не дайте ему так умереть... И зачем только изобрели огнестрельное оружие, господи боже?!

Но лицо Нью Аугусто просветлело, и он проговорил:

— Спросите, есть ли здесь кто-нибудь, кто слышал имя Нью Аугусто Эстевеса из Пиндаибаса!

— Пресвятая дева! Я сразу понял, что только вы и могли это быть, кузен мой Нью Аугусто...

То был Жоан Ломба, давний знакомец и дальний родич.

Нью Аугусто засмеялся:

— Ну как, а, Жоан?!

— Да уж...

Тогда Аугусто Матрага прикрыл глаза, окровавленные губы сложились в радостную улыбку, и все лицо его излучало пронизательную умиротворенность.

Но вот глаза снова открылись, ища Жоана Ломбу, и он сказал, теперь шепотом, еле слышно:

— Передай моей дочке, что я ее благословляю... где бы она ни была... А Дионоре... Дионоре скажи, что все в порядке!

И он умер.

Прохорис мяно

Скажу сразу: нет. Люди нашего круга, слава богу, выше низких притязаний, меркантильности, мы Дендрадесы Перейры Серапиозэнсы, и этим все сказано, у нас в роду не было неудачников или бедняков, мы виноград отменной лозы. И мы приехали сюда, в этот старинный городок в горах, кто на поезде, кто на машине не для того, чтобы устраивать плебейскую толкотню вокруг завещания, имущества, а потому, что здесь, на церковной площади, в своем доме, своем родовом замке, точнее, на одной его половине, в свой срок, готовился отойти в лучший мир наш суровый, наш негибимый, наш удивительный Вовó Барон, патриарх всего нашего семейства. А это не укладывалось у нас в головы. Мы приехали не для того, чтобы просить его, так сказать, замолвить за нас словечко на небесах, но чтобы воздать ему последнее земное воздаяние. На всякий случай. А там... Будь что будет.

И опять скажу: нет. Вам не покажут сногшибательно-го бурлеска на тему «ай-да-семейка!». В подобных обстоятельствах люди, кто бы они ни были, не склонны трясти водевильными юбками, я не брошу и куска вашему любопытству, выдрав из семейной истории что-нибудь посмешней. Семья — это всегда согласие, соглашение, сделка, если угодно, и приплясывания по поводу моей собственной

семья не ждите, нет. Пусть приплясывают кто угодно, только не я. Я в любом случае согласен со своими, безусловно, одобряю все, что они сделают или скажут, и, само собой, солидарен с дядей Несторионестором, главным героем этой моей истории, дурацкой и даже пошлой истории, черт бы ее побрал. Солидарен и предан ему душой, и на то у меня есть личные причины: чрезвычайно важное событие, происшедшее в моем сердце, о чем речь впереди, но от чего меня заранее бросает в жар. Примите, пожалуйста, всерьез мою родовую приверженность, вы можете мне не поверить. Я бы этому не удивился: больше всего людям дороги собственные предрассудки,—они выдумывают самих себя и мир вокруг. Им подавай луну с неба, а то, что под носом, они не видят и не понимают. Ну вот спросите их: о чем поет петух? Жизнь ужасна. И смерть не лучше.

Затворник нераскаянный и неуступчивый, Вово Барон всегда как бы отсутствовал, но заставлял говорить о себе, мозолил глаза, как высокая башня, бил в нос, как блевотина на тротуаре. Верховное существо, присвоившее себе всю полноту первородства, непробиваемый от корней до вершины, он всего лишь терпел нас, своих родственников, своих потомков, иногда допуская до себя, то торжественно, с высоты своего величия, то с насмешкой. Подойти же к нему просто так, как человек к человеку, грозило бедой. Из близких родных была у него только внучка, прекрасная, как сама любовь; но о существовании этого очаровательного каприза наследственности вы ни за что бы не догадались, глядя ему в лицо, застывшее в укусной гримасе. Он был он. Остальное же, то, что вне его,—был хаос первозданный, который он всячески отталкивал от себя; он и сам не знал, чего в глубине души боялся, боялся до такой степени, что все, что приходило из этого «вне», вставало ему как кость поперек горла. Поэзия, если и коснулась его робким побегом, тут же отпала, отсохла, как пуповина у младенца. В нем самом, в его личности, заключались все начала и все концы. Он сам был временем и, разумеется, пространством.

Вово Барон не мог похвастаться интересной биографией. Лучшие годы жизни он провел в своем доме, на этой самой площади, с церковью прямо перед окнами, как я говорю. Сначала, располагая удобствами всех господских покоев своей резиденции, которой не грех при случае и блеснуть: родовое гнездо, часть его самого; позднее,—упершись на месте, как старая мебель, сеньор с ног до головы, крепкий

орешек,— лишь на одной его половине, в свое время вы узнаете, по какой причине. Там-то, на своей половине, в обществе трех, а может быть, шести служанок, не будем их называть, и одного неподдающегося описанию слуги, по имени Бугубу,— мулата-квартирона, лакея и мойщика ночных горшков, которого все вокруг звали Крысоблох, запомните, это важно,— там-то Вово Барон и жил с незапамятных времен. Вернее, там-то он созерцал и созидал свое «я», выдерживал, как коллекционное вино, становясь постепенно таким, каким хотел стать,— человеком здравого смысла, в духе времени и умеющим подчинить себе время, делаясь только крепче от долгого брожения, набирая, как говорится, букет. А может быть, наоборот,— время, давая ему перебродить, незаметно превращало его из живой фигуры в карточную. Его и его привратника, хранителя ночных горшков, Крысоблоха, или Бугубу. И тогда лучше сказать: в короля и валета,— вот так! — в короля и валета, сданных и отыгранных, одной масти и из одной колоды.

«Из одной комедии!...», презираемой дядей моим Несторнесторио. Может быть, он и меня презирал, не знаю, глубины его души были непроницаемы. Но как бы то ни было, Крысоблох приветствовал дядю Несторнесторио с особенно глубоким почтением. Крысоблох и сам был непроницаем: не корчил рож, не улыбался, не жестикулировал. Он, Крысоблох, умел вывернуть наизнанку все представления о высоте положения и дистанции. Совершенно не заботясь при этом о представлениях Вово Барона, а как бог на душу положит. Вово Барон, допустим, не имел этих представлений и не мог сказать, кто из нас кто и кто за кем следует. Похоже, он делал это с умыслом, нарочно перепутав всех и вся, точно так же, как в свое время овдовел,— нарочно, с умыслом или, как хотите,— задолго до того, как остался вдовцом на самом деле. Взбрело в голову и сделал,— в этом есть что-то изящное, а может быть, и единственно верное. А может быть, такой вот,— погруженный в себя, словно заговорщик, неподдающийся, словно старинный сундук, непробиваемый, словно горный хрусталь,— Вово Барон на самом-то деле был всего лишь безобразным искривлением нашей семейной лозы, выродившейся до последней степени уродства?

Вово Барон, кстати, был вовсе не барон, полного права на этот титул он так и не мог доказать. Хотя и домогался его, осаждая по всем правилам длительной осады. Лучшие часы дня он проводил, сидя в кабинете, на прочном, твер-

дом кресле, один подлокотник которого мог опускаться, если нужно было что-нибудь написать или положить; внизу выдвигалась скамеечка для ног, из того же темного дерева. Он мог подолгу сидеть в этом кресле. Стакан воды, серебряная ложечка и коробочка с содой, по одну сторону, по другую — портфель, в котором хранились квитанции об уплате подоходного налога; на полу, вокруг, куча старых журналов, — человек действия, только замученный мигренью. Точно также сидел когда-то его прадед Дендрадес Серапиознс, — нюхательный табак в перстах, платок наготове и оглушительное чихание на весь дом, — деля жизнь между недомоганиями и чтением календаря, зимою — закутав ноги английским пледом, непременно. И точно, точно также в свое время сидел его прапрадед Серапион Перейра де Андраде, родоначальник всех нас, министр императора, имея на скамеечке, под рукой, все, чего душа желает, и не зная, чего еще пожелать или, по крайней мере, чем занять свое внимание; томление это неизменно разрешалось зевком. Все они тем не менее думали о людях зло, были болезненно мнительны, и казалось, спали на ходу. Кресло же было огромным, это было кресло для приемов, всем креслам кресло; оно стояло перед письменным столом, у самого окна, в которое без особого труда можно было видеть все, что происходит на площади и у церкви, и к которому Вово Барон чаще всего сидел спиной.

Из этого дома на площади он иногда отправлялся на несколько дней или недель в свою богатую усадьбу, он все порывался дать ей достойное имя, — вроде усадьба Михаила Архангела, или Дивная заря, или Усадьба свободы, но это ему почему-то не удавалось, — верхом на пегой лошади, высокой и высокомерной, пускающей газы из-под хвоста и пыль в глаза своей блистательной упряжкой, в сопровождении двух длинноногих пеших парней, — они несли чемоланы сеньора и распахивали ворота перед лошадью сеньора; об этих длинноногих, вооруженных до зубов, поговаривали, что они наемные убийцы сеньора. Кроме того, иногда он являлся в церковь, к мессе, в домашнем халате поверх казакина, в шлепанцах, а дома большей частью предпочитал высокие сапоги или остроносые восточные туфли, а то и неуклюжие ботинки со скрипом, смотря по настроению, а также — синий, зеленый или красный колет в обтяжку и шляпу. И все же ему оказывали уважение, падре уступал ему дорогу, от него терпели эти его выходы. Он не подавал руки соседям, на улице никого не достаив-

вал слова. В один прекрасный день окна обширной половины дома, которую занимал он, оказались закрашены в темный, как деготь, цвет; это был его приказ, выраженный со свойственной ему краткостью: «Я так хочу...»; немного погодя я объясню, в чем тут дело. Пошли разговоры, не богохульство ли это; ничуть, непомерное самолюбие, оно и раскачивало маятник его воображения. Перед Вово Бароном мы всегда трепетали. Теперь же это было ни к чему, вот именно, — ни к чему. Догадывался ли он, что теперь — «ни к чему»? Он подошел к последнему рубежу, дальше была смерть или то, что мы называем смертью. Он был накануне, вот-вот. К этому «вот-вот», безо всякой охоты, повторяю, с нашей стороны и собрались все мы, свои.

Да, все отпрыски по линии Вово Олгарии и по линии Вово Барона, какие имелись в наличии, за исключением разве что моего дяди Озорио Нелсонино Эрвала, записного поставщика самых новых и самых возвышенных меланхолий, успевшего к этому времени отдать богу душу. Итак, в наличии имелись: Байярд Меттерних Аристотел, бездельник, сидящий без денег, мой отец; Пелопидас Эпаминондас, промышленник, мой дядя; Несторнесторио, судья, мой дядя; Ной Архимед Энейас, Неаркинейас, сокращенно — Нее, — депутат, мой дядя. Затем тети: Амелия Исабел Карлотта, старая дева и дурочка; Клотилда де Ваукс Пентесиля, вдова адмирала Контрапас; Корнелия Витория Эрменгарда и при ней супруг Жан Гастон, неизвестно, кто он; Тереза Леопольдина Кристина, которую в свое время увез и тайно с ней обвенчался ее теперешний муж — Цицерон М. Мамоэнс, по прозвищу «Кутила».

Они появлялись один за другим, каждый скорбно нахмутив брови. Прилично случаю. Дядя Несторионестор, — для его-то нахмуренных бровей были свои, особые причины, и в свой срок они выйдут наружу, — скорбящий вдвойне. Ах, я не то говорю: я говорю — вдвойне, потому что он появился не один, вместе с ним вошла его дочь, Александрина, Дрина — для своих и для моей души в первую очередь и в высшем смысле. Потому что кроме «них», были еще и «мы» — я и Дрина, молодые побеги родового дерева. Сначала, если позволите, я расскажу о себе.

Так случилось, что я любил мою двоюродную сестру Дрину. Может быть, во мне говорила наследственность: всех Перейр Серапионсов и Дендрадесов вообще неотразимо тянуло друг к другу, все, согласно семейным преданиям, влюблялись только в своих, ухаживали только за

своими, женились только на своих. Наверное, сначала, у истоков рода, это было чем-то вроде защитного инстинкта, — не подпускать к достоянию и крови клана чужих. А потом, со временем, двоюродные сердца сами собою влеклись к сентиментальному родовому обычаю. Что ж... Не будь бабочки, за кем бы охотилась ящерица? Ну, так вот, значит, и мы, Дрина и я, любили друг друга, или, лучше сказать, так вот, значит, любил ее я. Как бы там ни было, но я-то любил! Молча, про себя, до поры, до времени; у меня хватало мужества или достоинства — ждать. И я мог ждать и надеяться сколько угодно. Она, посмотреть на нее, — такая покорная, чистая, такая набожная! Мадонна Мурильо! И все-таки... Чудилось мне в этом ее «не тронь меня» что-то от дикого зверька, который не идет, не идет в руки — и вдруг пылко уступит, — черточка, унаследованная от Перейр де Андраде из сертана, откуда родом ее мать, моя тетя Денизария. Дрина должна была полюбить меня! Она была мне предназначена! Если она пока ничем не обнаружила свою любовь, она могла поступать так из гордости, ведь могла? Одна только малость, самая малая малость, смущала меня, — Дрина приходилась внучкой Вово Барону и, более того, родной дочерью дяде Несторионестору, — господи, Дрина, перевернувшая мне душу, — что это мне сулило?

И вот невероятная для меня удача: в силу чрезвычайных семейных обстоятельств мы находились теперь так близко друг к другу и к тому же — благоприятное знамение — у ног, можно сказать, судьбы. Едва приехав из Рио, я узнал, что Дрина уже тут, с дядей Несторнесторио, тетю Денизарию они оставили пока в Сан-Пауло. В слезах Дрина казалась еще более юной, ее глаза, как небо сквозь дождь, сияли зеленой радугой, лицо горело тем нежным легким румянцем, каким могут похвастать лишь владелицы имений в провинции да разве англичанки. Пусть простит меня Вово Барон, и без того оплаканный и засоболезнованный сверх меры, но я любил, любил, любил ее, всю, с головы до пят, до самых кончиков мизинцев, и этот час принадлежал нам. Судьба была за нас. О боже, сделай так, чтобы эта смерть принесла мне счастье.

В том-то и была соль создавшегося положения. С одной стороны — бедняга Вово Барон, болтавшийся между небом и землей, маялся, стараясь и в собственном умирании остаться главным действующим лицом, похожий одновременно на быка и на живой скелет, из которого душа долж-

на, того гляди, вывалиться сама собой, с другой стороны — я, его внук, с манерами принца и с королевской грамотой в кармане, подтверждающей неотъемлемое право на эти манеры, — лицемер, только что не шантажист, явился сюда, чтобы воспользоваться этой смертью, урвать кое-что для себя, — о, то есть, конечно, для своей любви, столь прекрасной. Когда все это честно, до конца, выскажешь, выходит, что на самом деле ты просто негодай, и остается только самому себе дать по физиономии. А между тем это не так, я не циник, не злодей, не чурбан бесчувственный. И если сейчас выставляю себя перед вами столь низким, то, ей-богу, что-то я преувеличиваю, хочется в чем-то перед кем-то каяться, проявить смирение, коленопреклоненно, как в третьем акте драмы. Ох, эта страсть рассуждать. Рассуждаешь, рассуждаешь, а потом все находят, что ты человек без сердца.

Мне припомнилась Вово Олегария, утренняя заря давно сошедших снегов. В эти дни она для меня воскресала, словно возвращаясь откуда-то, вновь молодой, еще более очаровательной, чуть-чуть похожей на свою, ни на кого не похожую внучку, несравненную мою Дрину. И никакое высокомерие или сдвинутые брови не могли помешать тому, чтобы последние минуты жизни Вово Барона послужили искренней любви двух молодых людей: Тем более что он сам был философом в душе, отчасти. Смерть — это то, что должно быть, чего не может не быть. Человеку нужно умереть, чтобы убедиться в своей неправоте. И вот — Вово Олегария была отомщена.

Крысоблох, слуга, истуканом стоял в дверях, там, внутри, но все-таки поперек дороги. Меня он как бы и не заметил. Но я-то, я уж никак не мог не заметить его. Что я знаю, что понимаю? Этот предмет, стоявший передо мной навтыяжку, можно было бы описать так: теннисные туфли; толстые ноги — одна короче другой — колесом вперед; вместо ливреи узкие штаны и белая куртка на пуговицах, блистающая чистотой и застегнутая до подбородка, словно он служил братом милосердия; нечесанные курчавые волосы с проседью — не то гриб, не то кудрявый мох; мулат, не слишком темный, не слишком светлый. И больше ничего достойного внимания, кроме косых глаз на безбородом голубоватом лице, — ни нахлопки на носу, ни клоунского румянца, ни белил, ни муки. Его глаза иногда с большим трудом опускались — не смиренно отнюдь, лицо, высокомерно перекошенное, словно навсегда застыло в маску и ни

за что на свете, казалось, не желало оживиться никаким выражением. Таким оно казалось, а что было за этим — бог весть. Но так или иначе, вытянутый в струнку Крысоблох-Бугубу, на пороге двери, в своем утреннем или, если хотите, вечернем величии, казался — опять-таки! — ничем и никем, соломенным чучелом, символом неизвестно чего, объемом, наполненным пустотой, куском осла в дыре пространства, изнанкой без лица. Он стоял стойко, как солдат на часах; пристойно и устойчиво, как метрлотель; стоял, обратясь в столп, как пешеход, которому посреди улицы вступило в позвоночный столб; стоял в столбняке, как арестант после амнистии; хорошо, что он не видел, как стоит настоящая статуя! Он-то, конечно, воображал, что молодец молодцом; кусок идиота, честное слово. Цветом физиономии он как раз подходил к полуфасаду этого дома — к той его половине, которая, курам на смех, была отделена от другой, — и к окнам, так устрашающе засмоленным. Какие бесполезные тайны этого богатого бесплодностью брака — Вово Барона, отходящего, и Вово Олега-рии, давно отошедшей, — хранил он про себя? Что я знаю, что понимаю? Долгие века цивилизации, тысячелетия человеческого существования, железное громахание истории, логарифмы и звезды, птичий гам на заре, солнечные восходы, ракушки на морском берегу, Дрина, прелесть моя, — все необъятное таинство жизни может иной раз сплестись, как в кокон, ведь и в таком вот оловянном Крысоблохе, или Бугубу. Он наконец отступил, чтобы дать мне пройти. Он не мог поздороваться со мною, не мог удариться в разглагольствования о том, сколько ночных горшков вылил и вымыл не далее как сегодня утром. Он, Крысоблох, был псм.

Смешно? Не знаю. Я, собственно, не настаивал, чтобы он со мной здоровался. К дому приближался дядя Несторионестор, его кашель и его шаги я услышал еще издали: на церковной площади, стывущей от холода, не было ни живой души. Только он, дядя Несторионестор, — внушительный, прямой как палка, в жестком цилиндре и крахмаленом воротничке, с высоко поднятой головой, сжимавший трость как древко знамени нашего рода. Я запнулся, замешался, попятился, смутился и, наконец, раскланялся с ним, добросовестно стараясь угадать, сердится он на меня или нет, потому что я шел из гостиницы, где торчал, надеясь встретиться с Дриной с глазу на глаз. Гневно сопя, он простествовал мимо, едва удостоив меня взглядом. Едва

подарив тремя словами, стерев с лица земли. Он возвращался, исполнив чрезвычайно трудную, а принимая во внимание его высокую благопристойность, и вовсе невероятную миссию: только что он, лично, собственной своей персоной, осмотрел и изучил оба действующих городских кладбища.

Вслед за ним, по пятам, шла еще одна фигура, как все, безутешно сдвинув брови, только в другом роде, совсем в другом. «Что есть, то есть. Так уж оно есть. Жизнь, конечно, иногда грустна. Хотите сигарету? Да, я говорю, жизнь...» — так обратился ко мне, весь дыша ароматическими маслами и приятностью, Цицерон М. Мамоэнс, «Кутила», также мой дядя. Жизнь, о которой хлопотал дядя Кутила, — в чем она вообще заключается? Как ухватить ее между двумя мнимыми крайностями — рождением и смертью, этими двумя кривыми, которые тем не менее никогда не пересекаются? Сам дядя Кутила, казалось, еще не оправился от того, чем ему только что пришлось заниматься. В качестве верного стража и оруженосца он сопровождал дядю Несторионестора в его рейде по городским кладбищам, потому что тот, в сознании своего величия, никогда бы не снизошел произвести в одиночку вышеуказанный смотр этих столь непохожих одно на другое елисейских полей и не решился бы облюбовать бедное, грязное и заброшенное на краю пустыря — Кимбондо.

Мы уже перешагнули порог, но дядя Несторионестор все еще вертелся во все стороны, потом попятился шага на три. По его носу было видно: что-то ему мешало или чего-то не доставало. И наконец, — так вот что его мучило, — испепелил Крысоблоха взглядом, с отвращением потрясая тростью в его сторону. Эх, к дядиному профилю да еще бы и усы! Этот Крысоблох, неизвестно зачем (или: зачем — неизвестно, можно и так), воткнутый в дверь, торчал на пороге у всех на дороге, и это была непристойность, это был срам, и он, дядя Несторионестор, не мог этого потерпеть. Между тем мы все бестолково топтались у дверей, не зная, что делать; дядя Кутила искал, куда бы сунуть свою потухшую сигарету, и, отчаявшись, сунул ее мне. И тогда я, — ради Дрины, только ради нее, клянусь, ради нашей любви, — приказал Крысоблоху немедленно скрыться, исчезнуть, испариться — хоть к черту — с этого порога! Крысоблох прекрасно все понял — он был нем, но не глух — и еще больше задеревенел, в упор нас не видя. Даже ресницами, кажется, не моргал. Если попытаться перевести

в слова это его невидение, оно могло бы прозвучать так: «Ваши милости, господа прохвосты...» — но эти слова, если они таковыми и родились, так и не произнеслись, застряв у него в горле. Затем он сделал поворот по-солдатски «кругом»: мне приказали, я пошел, а там как хотите,— и, загромыхав чем-то, ввалился в вестибюль, таким образом возвестив о нашем приходе. Дядя Несторионестор чуть-чуть помедлил — для пущей важности, я думаю. А затем он, за ним дядя Кутила и я переступили, слава тебе, господи, порог нашей величавой родовой резиденции, то есть одной ее половины,— не забудьте, не забудьте,— порог, ни разу не оскверненный дерзостью или неотмщенной обидой.

Отсюда, из зала, открытые двери вели в столовую и в гостиную, и вдобавок, ввиду того, что должно было вот-вот свершиться, отворили еще одну дверь,— в коридор, оттуда, из самой глубины, из комнаты хозяина дома, доносилось до нас дыхание льва и запах его логова, хотя лев давно уже не рычал. Как много он значил для самого себя, наш Вово Барон! Мы, свои люди, собравшиеся тут, могли бы рассказать об этом. Мы дружно сидели рядышком по стенке, в шезлонгах и на стульях с высокими спинками, выдержанных в темных тонах, чинно разделившись на две группы: мужчины — отдельно, женщины — отдельно, отдавая дань мудрому провинциальному обычаю, ну и обстоятельствам, разумеется.

Это было что-то вроде общего молчания участников заседания перед началом. Где-то тут должен был быть и мой отец, дядя Нее, дядя Пелопидас, двоюродные братья Женьюберто, Жакес и Жука, и другие, блаженные в неизвестности; а также тетя Амелия, тетя Клотилда, тетя Тереза, тетя Марикокас, жена дяди Неаркинейаса, тетя Синьязинья из Франции, сомнительная родственница, тетя Мармарины, жена дяди Пелопидаса, двоюродная бабушка Панежирика, двоюродные сестры Рененем, Вератрис, Рита Руте, Мариэльза и прочие, а также моя мать, для других — тетя Констанса Гонсала. Дрина еще не появилась, и я этим был почти доволен, это значило, что она вот-вот появится и радость моя еще впереди. Так вот, загодя наше семейство в полном составе устраивало что-то вроде репетиции бдения у тела покойного, чтобы достойно подыграть в час смерти. Может быть, присутствовал и кто-нибудь со стороны, не знаю, не имеет значения. В эти минуты весь мир воплощали в себе Перейры Дендрадесы и Серапиозэнсы.

Делать было решительно нечего. Чем убить время? Вни-

мательно изучать пальцы рук, носки ботинок, быть может, молиться, пощелкивая четками, некоторые женщины предпочли на худой конец рассматривать воздух или зал во всю длину, двери, в тяжелых пышных портьерах, и окна без занавесок; через равные промежутки — бронзовые бра, более похожие на люстры, в виде веток кофейного дерева; хрустальные девичьи фигурки, в каждой фигурке — серебряный подсвечник со свечой; редкостные плевательницы — фарфоровые с цветочками, старинной парижской работы, — об их чистоте тоже должен был заботиться Крысоблох, хотя мы, рабы более современных привычек, в них никогда не плевали; подушечки, вышитые крестом: галантная сцена — девушка перебирает струны мандолины, а влюбленный молодой человек, склонясь, слушает; или наоборот; или какая-нибудь еще сентиментальная белиберда, от которой сводит скулы. Дрина, господи, где же ты?

И наконец, разглядев зал и все, что в нем находилось, все останавливали взгляды на двух овальных мраморных столиках, как два островка-близнеца смотревших друг на друга оттуда и отсюда. И тут, и там, на мраморе, замкнувшись в симметрии и отгородясь ото всего остального, стояли серебряные шкатулки и декоративные минералы, кварцы — с лиловыми прожилками аметиста или с зелеными прожилками турмалина. В темном зеве коридора возникала двоюродная бабушка Полисена, навстречу ей поднималась тетя Клотилда. У ложа умирающего дежурили по одному, самое большее — по два человека. Смена караула собственной его величества, хотя и скромной, гвардии. Остальные вновь обращали взоры к двум мраморным столикам, и так час за часом, минута за минутой. Все хоть не так уж сильно, но искренне были удручены. И если бы не клевали носом, то, прислушавшись к самим себе, могли бы признаться, что душу их что-то пощипывало, там, в самой-самой глубине.

Стоячие часы, уверенные в своем совершенстве, на виду у всех бесстыдно блестели нутром, безукоризненно отмеряя легучим звуком — тик-так, — не время отнюдь, — симметрию. «У него еще кома...» — это тетя Тереза отрешенным тоном докладывает дяде Кутиле, который припелся к ней нерешительной, покорной овечкой. Барон, с эпилогом, уже подписанным врачами, «ныне отпущенный» от лекарств, кровопусканий, клизм, сидячих и ножных ванн, подготовленный к последнему причастию, — едва хватило времени исповедаться и собороваться — оторванный ото

всего, за исключением самого себя, уже по ту сторону, уже во владениях своей неприступной души, погруженный в предсмертное забытие, уходил от нас, и тем самым делался нам как будто ближе. Нам, таким разным, стоящим по эту сторону, заблаговременно поспешившим прибыть к его телу.

Войдя, дядя Несторионестор не удостоил никого и ничего вниманием, а смазал взглядом все и вся вокруг, не утруждая глаз. Поклонился. Но увидев, что перед ним альтернатива — сесть среди мужчин или сесть среди женщин, ловко вышел из положения, оставшись стоять до тех пор, пока не увидел незанятое большое кресло Вово Барона. Тогда, еще более выпрямив стан, он, как ни в чем ни бывало, подошел к креслу. Но прежде чем сесть, он какое-то мгновение корректно, но придирчиво осматривал сиденье; он вообще был брезглив, все, что не было им самим, казалось ему нечистым, тем более этот зал, где лиловый цвет обивки какого-нибудь кресла незаметно переходил в плесень, а серая тень вполне могла сойти за пыль. Дядя Несторионестор, тертый калач, человек касты, стоял над креслом, не снимая шляпы, с тростью в руке; кого это могло удивить здесь, в этих стенах, помнивших тень Вово Барона не иначе, как в кожаном средневековом подшлемнике и со скипетром в руке? Не обнаружив ничего подозрительного, он сжал губы, как бы предупреждая, что разговаривать не намерен, и сел, скрестив ноги, наглухо замкнувшись в четырехугольник кресла.

Остальные сделали вид, что ничего не заметили, хотя и обменялись взглядами: они предпочитали, что бы ни случилось, в любом случае поддерживать между своими равные отношения, и достигли в этом такого искусства, что просто казались заговорщиками, связанными общей тайной. Принесли кофе и поднос с чашечками. (Или: чашечки на подносе. Говорят и так, и эдак.) Тут только дядя Несторионестор снял шляпу и, по-прежнему ни на кого не обращая внимания, словно это только что, ни с того ни с сего, взбрело ему в голову, оставил ее вместе с тростью на письменном столе, расположив то и другое подчеркнуто элегантно, подобно некой виньетке, которой для полной законченности не хватало разве что пары перчаток. Вы обращали внимание, как идеально последовательны, верны себе вещи? Люди — не то, людям всегда хочется сделать наперекор тому, как должно быть. Дядя Несторионестор противопоставлял себя другим, и я знаю почему. Да потому

же, почему он был вынужден взять в виде ударной силы еще одного моего дядю, Кутилу, исследовать два городских некрополя, — одно для покойников из общества, нормальных, порядочных людей, — кладбище Нашей Сеньоры де Реквием, и другое — из бедных бедное кладбище Кимбондо! Установилось накаленное молчание.

Я хотел было сесть в качалку темного дерева, — я говорил уже: вся мебель в этом доме была темной, в милом старинном духе, — моя качалка, кажется, красного дерева, с соломенным плетением на сиденье и на спинке, но не сел. Вспомнилось, как мне рассказывали, что в былые времена вот тут, на этом самом месте, стояли два совершенно одинаковых кресла-качалки, стояли друг подле друга, как вопрос и ответ: одно — для Вово Барона, другое — для Вово Олега-рии, кресло-хозяин и кресло-хозяйка. Потом, спустя какое-то время после того, как произошло то, что произошло, одно из них исчезло. Может быть, его унесли на другую половину дома?

Да и сам зал, как ни тщился он казаться по-прежнему просторным, как ни ухитрялся, непостижимым образом, несмотря на свои пятнадцать — шестнадцать метров, производить прежнее, внушительное впечатление, — на самом деле был всего-навсего лишь половиной прежнего. И мы все, сидевшие в этом полузальце, скользя глазами по изящным обоям в голубую и белую мелкую полоску и по вызолоченным филанкам тончайшей работы, все время натыкались на стороне против качалки на грубую, белую, безнадёжную стенку. Ту самую стену, воздвигнутую велением Вово Барона, холодную, непоправимо отсекавшую — от палисадника до самых глубин внутреннего сада — Вово Барона от Вово Олега-рии. По его сторону осталась богатая спальня, обшитая панелями черного дерева, по ее — кухня в изразцах. И вдруг отсутствие Дрины, ее чуждость, хоть и временная, этому дому, мебели, людям, вызвало у меня смутное желание отделить ее от них совсем, не так, как отделились друг от друга Вово Барон и Вово Олега-рия, а иначе, неважно как, но отделить. От нашей семьи и от наших. От меня самого, задним числом, если на то пошло! Я, кажется, собираюсь пробить лбом стенку Вово Барона?

Молодой Вово Барон, человек в расцвете сил, женился на прелестной Вово Олега-рии. И сразу же обнаружилось несоответствие их душ. Вово Барон, слепо, можно сказать, беспощадно влюбленный в самого себя, был великолепен

и превосходен. Мог ли он потерпеть, чтобы кто-то чужой, презренный осмелился ему возражать или тем более противостоять? Вово Барон, хотя и любил Вово Олега́рию, но на свой лад, в соответствии с собственным представлением о себе: повелевая восхищаться им, обожать его, дышать на него. И вот в один прекрасный день он, Вово Барон, дворянин во дворянах, сам себе голова и сам себе честь, потребовал разрыва с Вово Олега́рией и отторжения их друг от друга, раз навсегда и — безвозвратно. Они расстались безо всякой причины и даже без видимого к тому повода, ибо то, что у них сходило за повод, недостойно было считаться поводом. Они разделились стеной. Ощетинились, каждый на своей половине. Посетила ли их когда-нибудь печаль, блеснула ли мысль об ошибке, трагичности этого раздела? Жизнь обманывает, даже когда уличает во лжи. Шло время, оба они потихоньку, незаметно друг для друга, старились. А время шло, бежало вперед, как ручей, никому не дающийся в руки. Вот хотя бы сейчас: разве этот дом, да и весь белый свет, не обманывал нас? Разве не обманывали слепые от старости зеркала? Вот рамы — еще дело другое. А зеркала скрывали истину словно прикрыв ресницами. Мы не узнавали в них себя и друг друга: кто там из нас кто — не понять, не разобрать... Я все еще стоял, посасывая окурки сигары. Дрина, о моя, о наша любовь, — только ради нее я мог что-то мочь, хотел чего-то хотеть, — во имя нее я должен был переродиться, очиститься, стать совсем иным человеком. Разве не ради этого существует на свете любовь?.. И так далее, в таком вот роде мысли мои прыгали довольно долго. Но тут наконец дядя Кутила занял кресло-качалку Вово Барона, и этот простой факт остановил их. И мне захотелось смириться, тут же, сразу.

Молчание дяди Несторионестора так накалило других, что они не выдержали, и разговор наконец разразился. Хотя первое слово произнес именно он: «Я пригласил на всякий случай доктора Жоувелью, вот-вот он будет здесь», — изрек, «dixit». Как отрубил. Мы изумились. Все это было совершенно ни к месту и вообще ни с чем не соотносимо. Доктор Жоувелья, знаменитость, главный врач большого района, жил совсем в другом городе, далеко отсюда. «Я телеграфировал монсеньору Шисесу, он тоже должен прибыть...» — помолчав, добавил дядя, на этот раз, по крайней мере, кстати. Ибо монсеньор, пресветлое украшение клира, несравненный и почитаемый всеми оратор, образец всех возможных добродетелей, для пышных похорон

был как раз то, что надо, — главный викарий епископства, не меньше.

Это было далеко не все. Дядя Несторионестор, оказывается, пока лишь испытывал, зондировал, прощупывал аудиторию. Для этого-то он и произносил свои напыщенные нелепости. Но самую суть дела, чтобы окончательно прикончить нас, он приберег к концу... «Все знают, полагаю, что я сам лично был там, в этом ужасном, в этом мерзком месте, где закапывают нищих, подзаборников, всякий сброд... И как вы думаете, что я там увидел? Свалку, обыкновенную свалку, черт-те что, — траву, дохлятину, гнилые кости, чуть ли не со времен колонии... Кости наших рабов, а!.. — И он обвел нас всех одного за другим глазами. — Между тем если бы вы знали, что у них там на фронтоне написано огромными плебейскими буквами? — Он остановился, как часы перед боем. — Вот пожалуйста: «Вернись во прах, несчастный, в грязь, из которой бог тебя создал!» Он не удержался от вызывающего жеста. И встал. Встал прямо, на негнувшихся ногах, словно тщаь поднять всех нас, весь наш клан, на новую, доселе недоступную нам нравственную высоту. Женская половина общества заволновалась, послышались шумные восклицания, протесты, нервные вскрики одной тети, другой, третьей, неразборчивые, потому что раздавались одновременно: «... .. тогда...» — «... .. ну да...» — «... .. никогда!»

Спору бы не было конца и дискуссия зашла бы в тупик, если бы не дядя Кутила. Он как заведенный, до обалдения, твердил то же, что сказал дядя Несторионестор, рука об руку (и нога об ногу), с которым он обошел столько могил. Никто с ним не соглашался, но и не опровергал его. Никто не отвечал ему ни слова. Что оставалось делать? Подойти к одной из редкостных плевательниц Вово Барона и сплюнуть в нее потухший окурок сигареты.

И тут мой отец, самый старший из всех, движением руки восстановил тишину. Пришла пора объявить во всеуслышанье то, что было сформулировано давно, и обратить против дяди Несторионестора его же собственное оружие: рвение формалиста высшего класса, преклонение перед всем, что законно, тонкую разборчивость в нормах поведения, склонность к поучениям по каждому поводу. Отец выпрямился и не столько рассерженно или гневно, сколько со свойственным ему добродушием и даже мальчишески лукаво провозгласил: «Его воля им уже выражена: он распорядился своим телом в завещании, запечатлев свое реше-

ние с предельной ясностью, будучи в здравом уме и твердой памяти, на отдельной бумаге, с полным соблюдением всех формальностей. Согласно его собственному распоряжению, наш выдающийся предок, как любой смертный, будет упокоен на кладбище для бедных, там, где найдется место... Так о чем же нам говорить?» Законно-законченно, юридически безупречно высказался педант, мой отец. И попал в цель. В самое яблочко.

Дядя Несторионестор, который в это время уже сидел, снова поднялся и вытянулся, словно шпагу проглотил. Да, ему попали в самое больное место его непробиваемой души. Зачем-то растопырил пальцы. Неужели он собирался мыть руки? Но то, что за тем последовало, было не ответом, а возражением. Он надел шляпу, схватил трость и затряс ею, как копьем. «Однако!» — вскричал он, только чтобы выразить неуважение к этому недостойному спору. И снова запер лицо на семь морщин.

В этой истории все с самого начала сложилось шиворот-навыворот и вверх тормашками. Известно, что наш непреклонный, наш бесстрашный и наш злопамятный (или: беспамятный и злострашный — то и другое как раз в пору) Вово Барон был одержим навязчивой идеей — и после кончины никак не соприкоснуться с Вово Олегарией ни легким своим прахом, ни запятой в эпитафии. А следовательно, прежде всего, он должен лежать отдельно от нее. Ни за что на свете он не согласился бы, чтобы его похоронили на почтенном и благопристойном кладбище Нашей Сеньоры де Реквием, с входом, осененным латинским изречением: «Блаженны усопшие, упокоенные во владении его...», потому что там, под изящным надгробьем, изыскающим печаль и любовь, покоилась Вово Олегария. И Вово Барон правдами и неправдами, на вящее удивление всей округи, сделал все, чтобы после смерти принадлежать Кимбондо — этому богом забытому пустырю, братской могиле всякой сволочи, еле присыпанной землей, где сроду не выдвали чего-нибудь похожего на памятник; разве у самых ворот несколько жалких надгробий, из этих, понимаете ли, — наскребут из последнего и поставят камень, и вот они уже равны богу. А камень-то — дунь на него, упадет набок, земля его выталкивает, наша добрая земля, ободравшаяся человечины. Это было из рук вон, это было черт знает что!

Сам Вово Барон ни разу и ногой не ступил на кладбище Нашей Сеньоры де Реквием после того, как там похоронили

Вово Олегарию; она болела, умирала, отошла в лучший мир, была погребена, месяц по ней служили поминальную службу, а он все это время демонстративно отсиживался в своей богатой усадьбе. Немного погодя он выбрал и купил для себя на самом краю кладбища Кимбондо большой участок земли. Туда должны были в конце концов привезти его, громоздкого и неподдающегося, как железо, и воздвигнуть над ним потрясающий, роскошный, вызывающе роскошный памятник, — назло всем и вся. Против такого самоопределения, безропотно принятого всеми, восстал лишь дядя Нес-торионестор, он был единственный, кто оказал сопротивление, кто придал этому значение, кто не смог с этим смириться. Он молчал, беззвучно открывая и закрывая рот, может быть, желая показать, что более говорить не в силах. А может быть, ему с его места раньше, чем нам, удалось заметить то, что произошло в следующую минуту. По коридору быстро прошелестела очередная тетя из караула его величества. «Он приходит в себя...» — сообщила она. Для нас, фарисеев, это был гром среди ясного неба, и мы растерялись. То есть это была объективная реальность, подавившая нас своей тяжестью и неотразимостью, это был смех и слезы, все вместе. Он приходит в себя, за-чем? Назло нам? Мы кинулись к нему, кто-то побежал разыскивать врача, кто-то послал еще раз за падре.

Нет, это не было логовище льва, это была, конечно, комната, правда, очень большая. И все же на самом ее пороге мы несколько запнулись, потому что, — как бы это сказать, — оттуда как раз в это время выходил Крысоблох. Он нес полный ночной горшок, чрезвычайно почтительно держа его одной рукой за ручку, а другой придерживая сбоку. Мы дали ему пройти; жалость брала смотреть, как он, кривоногий и кривой на оба глаза, косясь высокомерно направо и налево, словно осиянный свыше, препровождал эту превосходную вещь, являя ее миру, чуть ли не прижимая к груди, как некий славный трофей. Горшок проследовал мимо нас, медленно поворачиваясь, поблескивая при каждом повороте, яркий, ни на что не похожий, — шедевр мастеров Лиможа или Дельфт, с луной на крышке, что уже совсем ставило в тупик. Крысоблох мерной поступью удалялся по коридору, но шаги его еще раздавались. Что он был, собственно, такое? Шутка природы? Неизбежно торжествующий парадокс? И вот мы все толпой вошли в спальню, и свободно там поместились. Это была огромная комната, обставленная тяжелой, громоздкой мебелью.

Вово Барон в самом деле чудом пришел в себя и уже поскрипывал на этом свете, смотрел вокруг, хмурил брови. Смертные тени схлынули с его лица, он осунулся, полезли в глаза кости: подбородок, скулы, лоб, надбровные дуги. И борода, которой у него давно не замечали, тоже словно всплыла на поверхность. Лежа на подушках и тревожно потягиваясь старчески непослушным телом, он пытался уже чего-то желать и что-то мочь и притом непостижимо увеличивался и увеличивался в объеме, как бы стараясь во что бы то ни стало утвердиться всем своим земным весом, сколько бы его ни было. Его постель, бог знает почему, до сих пор была широкой двуспальной, двуспальной, но не супружеской отнюдь, и Вово Барон хранил ее чистоту. На этом бескрайнем ложе он показался мне не человеком, а поэтической метафорой, созданием преувеличенного воображения, редкостным нездешним зверем. Не скрывая удовлетворения, он по-хозяйски разглядывал нас, представших пред его светлые очи, — весь свой двор, всю свою дворню. Он приветствовал нас величественно и насмешливо, словно поигрывая за спиной плеткой. «Ну, как поживаете? Как здоровье дам? Все хорошо?» — прошамкал он беззубым ртом, но все же достаточно внятно; речь, ну, просто, вполне здравомыслящего человека, в пору хоть ассирийским царям, которые в древности, если верить текстам, нацарапанным на достославных глиняных табличках, обращались к своим сыновьям, генералам и чиновникам.

Из тех, кто стоял у постели Вово Барона, разве что один мой отец и сказал ему что-то вроде «добро пожаловать» или «доброго здоровья». Но Вово Барона вдруг взорвало, на голове вздулись вены. Глаза загорелись, можно сказать, задымались. «Совокупляйтесь!» — изрыгнул он; не слишком грубо по форме, зато весьма ядовито по сути, переведа, так сказать, это словечко на язык салона. Вово Барон чувствовал, знал, что уходит, погружается в то непостижимое ничто, где разрешается квадратура круга, и потому он мог — он так считал — позволить себе изрыгнуть что-нибудь эдакое, отдающее навозцем и послеобеденной отрыжкой.

«Ах ты, черт меня!.. Ах ты, черт, черт, черт!..» — И, всколыхнув брюхо, он сел на кровати, окончательно придя в себя. Теперь он желал, чтобы принесли шляпу, привели в порядок костюм и положили ему под руку, — сиречь — под лапу! «Так вы, значит, ждете, когда я умру? Ну, так я не умру!..» Теперь, в шляпе, он вполне мог сойти за живого, хоть и странного «хомо сапиэнса». «Пусть позо-

вут врачей!.. Одного, двух, сколько нужно!.. Пусть они найдут средства, самые новые, уколы, мало ли что... Пусть мне сделают ножную ванну... Что-нибудь...» Он требовал, чтобы какая-нибудь из тетей немедленно натянула на него колет, или нет, это был фрак, ужасающего вида; и даже не фрак — редингот. И только тогда, умиротворенный, он рассмеялся и пустился злорадствовать: «Я думаю, сотен шесть идиотов судачат сейчас на мой счет!..»

Он не давал дотронуться до себя, ревниво охраняя свое тело, подточенное годами, такое беззащитное, такое уязвимое перед целым светом. Бредил он или нет? Об этом уместно было бы спросить его и раньше. Вся его жизнь была похожа на бред, и сам он был в некоем смысле образом из чьего-то бреда, стоило взглянуть на него. И вот теперь все это угасало на наших глазах. Может быть, его ослабевший дух еще пожирала метастаза неизлечимой гордости? Он и сам не мог бы нам ответить. Он, как петух, знать не знал, почему поет и зачем; поет, пока в суп не попадет. А куда денешься?!

Снова появился Крысоблох, кося вправо и влево глазами. Он нес ночной горшок: «доктора»; нес торжественно и столкнулся в дверях с падре, который пришел на срочный зов, а теперь старался улизнуть. Вово Барон пытался остановить их обоих: «Подождите! Может быть, я еще не умру! Пусть бог решит!..» Он был согласен на любую отсрочку. Но Крысоблох, не обращая внимания на эти слова, продолжал делать то, что должен был делать, как верный слуга, и подставил под него горшок. Самому современному выражению общественных отношений — приказанию, он противопоставил самое древнее — ритуал, и оказался сильнее. Все наши смотрели на Крысоблоха и его горшок с завистью, клянусь вам. Ибо что такое был для него в этот миг Вово Барон? Пигмей, не более. Ах, эти наши, наши, наши! Я вспомнил о дяде Несторионесторе и оглянулся: он был здесь, а рядом с ним, по-детски прильнув к его руке, стояла Дрина.

Она меня не видела. Не желала видеть. Отрекалась от меня. Осторожно выбираясь из толпы, я допятился до двери. При всех она не подарила меня ни одним ласковым взглядом. Для этого она была слишком Перейра, бутон-недотрога на диком кусте Перейра де Андрадесов из сертана, наших новоиспеченных родственников, которых мы в насмешку называли Под-Перейрами; правда, они делали свое дело, поставляя нам голоса на выборах, займы, дружескую

поддержку и изящных невест с приданым, обладательниц зеленых глаз, высоких стройных фигур и несравненной прелести затылков. Не спуская с нее глаз, я потихоньку вышел. Мне хотелось, чтобы ей самой захотелось, загорелось, не утерпелось сбежать от других ко мне, ко мне одному, к моей нежности и принести свою. Я не очень-то на это рассчитывал. Если бы мне удалось, — всем пылом, всем огнем, всем желанием, всей жаждой моей души, — выманить ее оттуда!

Наконец пыл мой утих, я обрел некоторое равновесие и, оглядевшись, со смущением обнаружил, что нахожусь совсем в другом конце дома, далеко от комнаты Вово Барона. Куда это я попал? Рояль, зачем он тут, все равно некому играть? Картины из крашенных птичьих перьев, букеты, гирлянды, — маленькие домашние радости давно прошедших дней; все это — и консоли, и стеклянные шкафы стиля «дюнкерк», уставленные старинными шкатулками, серебряными статуэтками, вазами из опала, и две софы, и фигурки из соломы — милые, но слишком ничтожные для залы, претендовавшей называться дворцовой, — все вокруг говорило мне о Вово Олегарии, все было исполнено ее очарования. Если бы Дрина пришла, если бы она была рядом, если бы я был уверен в себе, если бы она, если бы мы оба... Мы неизбежно заговорили бы о Вово Олегарии, и воспоминание о ней перенесло бы нас совсем в иную обстановку, во времена лиры и цитры; и все помнящее время подарило бы нам ее такой, какой она была когда-то, или даже лучше.

Но большой портрет Вово Барона, со своего высокого наблюдательного поста на стене, вдруг обнаружил мое присутствие и метнул в меня взгляд. Взгляд глаз твердых, как пара крутых яиц. И не метнул, а спустил с цепи, как дьявола, долго сидевшего без дела, как разгневанного домового, выплеснув в этом взгляде всего себя, свое высокородное дворянство, и бог знает что еще. Мне стало страшно, хотя я тоже обладал бумагами, удостоверявшими мое благородное происхождение и, следовательно, мою безусловную храбрость, и уже готов был закричать. Но рассмеялся, не очень искренне. Улыбнулся. Этот одинокий портрет маслом был только половинкой. Я знал, что раньше, много лет назад рядом с ним висел еще один, в пару ему, портрет Вово Олегарии.

И вот они, Вово Барон и Вово Олегария, прежде чем разойтись окончательно, пока они хоть в какой-то степени могли жить рядом в этом доме, еще не поделенном на две

половины, много лет терпели друг друга, как того хотел он, хотя Вово Барон то и дело находил повод лезть на стенку — из-за пустяка, ерунды, неважно из-за чего. За все это время он не сказал даже слова Вово Олегарии, ее как бы не существовало для него. Это была война, не видимая другим, война в лайковых перчатках. А если случалось что-то непредвиденное, что-то чрезвычайно важное и поговорить надо было во что бы то ни стало, он прибегал к несколько сложному, но корректному способу, им самим изобретенному, некоему нелепому выверту. Видя Вово Олегарию проходящей через залу или специально вызвав ее через прислугу, он останавливался против своего портрета и громко, с расстановкой произносил что-нибудь подобное: «Документ об аренде нужно подписать в том месте, где я поставил крест, а затем положить в ящик письменного стола...» Или: «Сеньора такая-то или такая-то не может быть принята в нашем доме...» И только. Бывало, все же ей удавалось ответить ему, полушутя, полусерьезно, в том же духе. Встав так же, как ее великолепный супруг, только против своего собственного портрета, она почтительнейшим образом отвечала ему в его же стиле.

Вово Олегария стреляла репликой в портрет Вово Барона, он принимал эту реплику, отраженной от своего портрета, и выстреливал ответом в портрет Вово Олегарии... Так они и лицедействовали. Они привыкли к этой игре. Более того, изобретательная и лукавая, отлично владеющая иронией, Вово Олегария издевалась самым блистательным образом. Она склонялась в глубоком поклоне, титуловала его — «Барон...» — указывая на его портрет пальцем с бриллиантовым перстнем в то время, как ее левый глаз, обращенный к нему, живому, опровергал все, что она говорила. Чтобы вести подобную игру, надо быть эквилибристом; но женщины созданы, чтобы ходить по канату, они из всех положений выходят с блеском: умеют попасть в тон разговора, кстати улыбнуться, уколоть в самое больное место, и все с чрезвычайным изяществом. И это, я думаю, бесило Вово Барона еще больше; чтобы не выказать бешенства, он стискивал зубы, и глаза его вспыхивали волчьим огнем. Гнев Вово Барона не задевал Вово Олегарию, а отскакивал от нее и рикошетом тихо и просто попадал в него же самого; он орудовал дубиной, а она — тонкой тростью. Говорят, что однажды, когда у нее был лорингит и Вово Олегария не сумела объясниться с портретом жестами, она написала своими бархатными ручками, на клочке розовой

падушенной бумаги: «Барон, очень сожалею, но я потеряла голос, хриплю. Не тревожьтесь: монограмма на постельном белье для усадьбы будет вышита как подобает...» — и вставила ее в рамочку.

У Вово Олегарии были прекрасные синие глаза, тонкая талия, длинные ноги, самая изящная в мире щиколотка, несравненной прелести рот и неизъяснимый дар быть самой собой, скрывавший, несомненно, и иные доступные не всем прелести. По всей вероятности, Вово Барон страдал, любя и не понимая свою жену. Даже сейчас, в старости, как это случается со многими. Бог тому судья. Его портрет, такой одинокий в этом зале, разбередил мне душу, висит один-единешенек там, на стене, а жизнь обтекает его, как фонарь на углу.

Да, смирение — единственно истинное состояние души. Иначе хоть сойди с ума! Я побродил по зале, по коридору, по комнате; сердце мое хоть не кот, но мурлыкало: вдруг неожиданно-негаданно войдет она, Дрина, инфанта, виновница стольких мук, чуть-чуть лгущая, как всякая надежда. Но смирение это — отказ от себя прежде и обретение себя вновь; смирение — ласковый дождь, в иной светлый миг смыывающий с нас грязь и гной. Дядя Несторионестор, мой осмотнительный дядя Несторнесторио. Мысль о том, что он тут, неподалеку, не оставляла, давила меня. Он, как дымоход, тянул только в одну сторону, в свою, а Дрину мне хотелось бы отломить, как ветку от нашего генеалогического дерева.

Очень хотелось бы верить хоть в одно из таинств мира, в то, что наша кровь и наш разум должны быть само собой совершенней, чем кровь и разум наших предков, вот ведь они, эти предки, произвели же на свет мою, пока что недосягаемую Дрину, венец творения — для меня... Стало быть... Стало быть — что? На чем мы остановились? Ах, да... плоско философствуем. И что же, к чему мы пришли? Да так, ни к чему.

А время, к которому мы так привыкли, что даже не замечаем его, как и ложь, — все бежало, текло куда-то. Дрина не пришла и не придет, и напрасно я глупо и тупо жду ее, безразличный ко всему на свете. Не зная даже, любит ли она меня, или хотя бы полюбит ли завтра. «Ну, почему, почему лисе так мил зеленый виноград, Дрина?..» — взволнованно обратился я к ее портрету, которого не было и быть не могло на этой чертовой стене. «Смерть может нагрянуть в любой момент, нельзя, чтобы она застала нас в пижа-

ме...» — вот что я должен был иметь в виду наряду с прочим. Мы отлично знали, чего ждем. Смерти Вово Барона, чего же еще? Окна моей комнаты выходили во внутренний садик, принадлежащий половине Вово Барона, сад был запущен. Так же, наверное, как заглож и сад Вово Олегарии, по ту сторону высокой стены, запертый навсегда, недоступный ни единой человеческой душе, с поблекшими розами в увядших цветниках, — с тех пор как она ушла. Но по эту сторону, по крайней мере, росли деревья, и в воздухе, юном, как сестра Дрина, перепархивали птицы, под ногами копошились букашки, бабочки облепили кусты. А чуть подальше смиренно стлалась трава и недоверчивые куры расклевывали ветхозаветную землю. И вот там-то, по живому зеленому ковру, шел, — ей-богу, нет, в самом деле, — прямой как палка, Крысоблох.

О нем судили по первому впечатлению и ошибались. Несчастный идиот, ниже самого последнего слуги, немой как мост, более того — как каменная кладка, выеденное яйцо, пустое место, нуль, по уши увязнувший в содержимом своих горшков, он, казалось, должен был завидовать всем и каждому, оплакивать свой жалкий жребий и желать только одного — исчезнуть с лица земли, и как можно скорее! А если уж жить, то жить, презирая и проклиная себя по всякому поводу каждую минуту. Так думали все. И ошибались. Он-то считал себя великим человеком.

Взяв на свое попечение столько плевательниц и столько ночных горшков, поневоле возмнишь себя персоной, а свое дурацкое ремесло — почтенным занятием. И все-таки можно ли уважать себя, опорожня и моя эту отвратительную посуду? Очевидно, можно, если делаешь это столько лет подряд, практически всю жизнь, как Крысоблох. Чего, чего, а этой работы у него всегда было по горло: в доме Вово Барона гостило пропасть народу, а по ночам в горном городишке холод собачий, и туалетные комнаты бог знает где, где-то в конце коридора, и спали тут подолгу, со вкусом. Их, этих, так называемых, ночных ваз, спрятанных в ночных столиках или сунутых под кровать, всегда не хватало. Каких тут только не было и каждый в соответствии с важностью апартаментов: простые, из агата, большие, из тяжелой белой керамики чужеземной выделки, фаянсовые, матовые, гладкие, под мрамор «бисквит». Альковы особенно роскошные удостаивались ночных горшков из фарфора или опала изысканнейших цветов и оттенков, являвшихся частью туалетных гарнитуров, украшавших ванные комна-

ты: таз, кувшин, мыльница, футляр для щетки, баночка для крема, пудреница, стакан и — под стать ко всему — ночной горшок в том же стиле, из того же материала. В том, что нам нужен ночной горшок, есть что-то унижительное, и мы делаем вид, что к нам лично он не имеет отношения. Но в свой неотвратимый час — что не так уж редок — мы, делать нечего, призываем его и, с большим или меньшим удобством, подставляем его под струю.

Рано поутру Крысоблох-Бугубу, этот посланец утренней зари, уже обходил спальни, собирая ночные горшки. Он выносил их по одному и делал это важно, с гордостью, словно сопровождал нечто достойное всяческого почитания. Мыл он их в саду, в каменной мойке. Крысоблох-Бугубу был, если можно так сказать, убежденный, верный себе немой: он не гримасничал, не делал вид, что собирается заговорить, он пренебрегал обычными ужимками глухонемых. Это, кстати, давало повод некоторым подозревать, что он немой только прикидывается из хитрости, а говорит, когда это ему удобно. Подозревали и другое — скрытую болезнь, что-нибудь такое, что, нарушая нормальный ход его внутреннего механизма, давило на него, сковывало его бескрылый дух. Крысоблох-Бугубу уважал себя. Он сам вознес себя на некую высоту, и там утвердился, оградясь самомнением и высокомерием, и взирал оттуда на всех нас, христиан. Сейчас же он шел к мойке, где его поджидали готовые к процедуре мытья горшки. В том числе и мой, прибывший в свой черед из моих благородных апартаментов. Очень милый горшочек, розового цвета, весь в прелестных ангелочках, держащих в руках букеты розовых цветов с изящными прожилками, более выпуклых и ярких, чем фон. Он был объемистый, словно семейная супница с тяжелой крышкой на кольце. Теперь Крысоблох был в шляпе, — в июне в горах не очень жарко, — да, да, на нем было что-то вроде истрепанной шляпы или старого колпака; без шляпы, как известно, человек не человек. К этому моменту мое страстное нетерпение увидеть Дрину несколько поухло. Мне вдруг захотелось просто так, из любопытства, пойти туда, к Крысоблоху и его горшкам. Спуститься в сад.

Но это мне не удалось. Внезапно всех нас призвали к порогу спальни Вово Барона, и я подумал, — пробил час, он отходит.

«Там и так слишком много народу, если это агония... Сигару?» — сообщил дядя Кутила, явно симпатизировавший мне здесь, среди собравшихся. Однако об агонии пока

и речи не было; но дяде Кутиле еще никогда не удавалось угадать, что случится в следующую минуту. А Вово Барон сзывал нас, своих подданных, чтобы убедиться, что мы все те же, преданные ему вассалы. Только что исповедавшись, с легкой душою, он счел нужным — он, царь царей, — дать нам, возможно, последнюю, прощальную аудиенцию. Он был еще в здравом уме и твердой памяти, что-то в нем еще горело, и он это «что-то» мог выразить достаточно внятно, так что он пока не отходил; правда, под глазами чернели круги, глаза западали, нос заострялся, бледный, восковой, почти прозрачный. Но час отхода еще не пробил, а пробил час воздаяния почестей, традиционно подобающих в таких случаях столь высоким персонам. Скромно, позади всех нас, но впереди врачей, неусыпно караулил падре, заранее припася освященную свечу, которая приличествует отходящим в иной мир; пока ее прятали, тоже из приличия. Я пробрался поближе к Дрине и стал позади нее; от ее белокурого, свежего, обольстительного затылка в пушке пахло молочной кукурузой и лесными лимонами. И рядом — неизбежный, неизменный и неотъемлемый дядя Несторионестор. Мои родители стояли, конечно, в первом ряду, по ту сторону огромного ложа. На наших глазах свершалась (или завершалась?) всемирная история, не меньше, — кто бы мог объяснить это нашим? Разве что Сократ. А пока Вово Барон делал нам смотр: пронизывая каждого глазами, которые еще поблескивали, хотя жизнь угасала.

Я почти догадался, что он хотел сказать, когда наморщил лоб; муха коснулась его блестящего чела, но тут же улетела. Нечто краткое, жесткое, несмотря на кашель, и непреклонное: «Если я умру... Заявляю!.. Похороните меня согласно моей воле, вам она известна...» — вот так, окончательно и бесповоротно. Он засмеялся сквозь зубы, которых не было. На лице его появилось нечто похожее на детскую гримасу. Мы все смотрели на него из дальнего далека, и то через очки. Итак, он смирился, снизошел, так сказать, соизволил признать ситуацию, завершающую его пребывание в этом мире, но, и признав, более всего, кажется, хотел не упустить возможности уязвить Вово Олегарию и нас.

Так поняли ли его? Дядя Несторионестор не понял, он стоял без движения и только вздергивал подбородком, когда воротник тер ему шею. «Это самое кладбище, боже милостивый, там ведь...» — сказал он, то есть хотел сказать. Вово Барона передернуло. «Совокупляйтесь!» — зарычал он, ме-

ча глазами молнии; это немыслимое приказание было проглочено всеми, даже дамами. Дядя Несторионестор прокаркал: «Крр... Кр...» Он не возражал, нет, просто он поперхнулся и уставился куда-то в пространство. Вово Барон откипел и теперь остывал у нас на глазах. Он уже улыбался: он умрет, другие останутся жить; но он всегда он: ни одна обида не должна остаться неотраженной, ни одно оскорбление — неотмщенным. Кашель между тем уже не выходил из него, а, булькая, уходил в него, глубже, глубже и делался похож на хрюканье. И это вот хрюканье можно было, пожалуй, считать началом конца, прощанием.

Для этого-то прощания он и приберег шляпу, которая красовалась на его голове. Тронуть поля шляпы пальцами перед мужчинами, а потом широким жестом снять ее перед дамами, и так — перед каждым и перед каждой. Очень, очень издевательски. Зачем ему это понадобилось? В кого он метил, за какую обиду мстил? — подумал я, то есть не подумал, а просто мне припомнилось кое-что.

Я не мог забыть, по какому поводу, как мне рассказывали, Вово Барон раз и навсегда разорвал свои отношения с Вово Олегарией, после чего они и разошлись по своим половинам, навсегда оставшись соседями. Бывало, из-за чепухи, из-за совершеннейшего вздора они и раньше не желали видеть друг друга, — разговаривали с портретами, так, как уже было описано, стоя каждый против своего портрета, но обращаясь к портрету другого крест-накрест, по косой. Но однажды, когда Вово Барон, в очередной раз, послал за супругой с приказом, как всегда, немедленно явиться к портретам, Вово Олегария заставила себя ожидать несколько минут, но и эти минуты ранили, казалось, непробиваемую гордость Вово Барона. Почему же, спрашивается, Вово Олегария не могла прийти немедленно? Это что, насмешка или презрение? Да ничего подобного, просто Вово Олегария в это самое время удовлетворяла неотложную потребность организма.

Великодушия Вово Барон не признавал, на мировую в споре не шел, в любом случае стоял на своем. А потому о прощении, о возможности загладить вину не могло быть и речи, он замкнулся в себе. И стена разделила дом на две половины. Вово Барон остался верен себе даже сейчас. Ведь, прощаясь с нами, он не прощался, а отделивался от всех нас и, отделяваясь, унижал. Да и мы сносили все это, надо признаться, только потому, что он должен был вот-вот, на наших глазах, отдать богу душу. Смерть все-все

примирила, это мне ясно стало тогда. Вот и моя очередь подошла, вот и меня Вово Барон приветствовал прикосновением к шляпе, в ответ я поклонился, взглянул на него как на уходящее прошлое. Однако не только поведение Вово Барона, но и он сам, его персона, меня к смирению не располагали.

Ах, смирение, я так всегда жаждал его, но так и не обрел. Всегда что-то мешало, что-то внутри меня, что-то неосоздаемое, подобно дыханию. Какая-то неведомая, неуловимая сила рассеивает наше смирение, уносит его куда-то. Вово Барон тихо застонал, оскалился, боль или тоска мучили его. Хотел было застонать снова, но сдержался. Смириться, смириться, — очнуться от чар слепого демона жизни. Явившись в дверях, Крысоблох тоже сподобился увидеть два пальца у шляпы: Вово Барон завершал ритуал прощания, — прощания по одному, ему ведомому образцу, — долгое и утомительное, как текст, автор которого сам не знает, что хочет сказать.

Теперь он сидел как неподвижная гора, и это было страшно. Я схватил за руку Дрину. Потрясенные, мы все старались ничего не видеть и ничего не слышать; смерть, сама смерть, а не момент перехода в небытие потрясает, потрясает тем, что она ни на что не похожа. Я сжал руку Дрины, на что она не обратила внимания. «Я... Я... Я...» — повторял Вово Барон и ни слова больше. Казалось, под кроватью у него сидит нечистая сила. От чего, от какого хлама прошлого не мог он освободиться? Но он не мог, никак не мог и терпел поражение окончательное и бесповоротное. Как тут быть? Чем помочь ему? Но разве может крокодил раскрокодиться... Если не вполне крокодил, есть надежда... И вдруг он улыбнулся, лицо его разгладилось. Это было чудо, да, сеньор, да, взгляд вверх в небо, — ясный, сверхъясный, истинный, сверхистинный, справедливый, сияющий взгляд. Взгляд наконец-то спокойный, сосредоточенный. Это было непонятно, необъяснимо, постижимо. Но это было. И это был великий миг. Лицо его краснело, багровело, кровь прилила к голове, — он испустил дух.

«Он сказал все, что мог», — прошептал мне дядя Кутила, не предложив сигареты, и на этот раз действительно оказался прав: Вово Барона среди нас уже не было — закройте себе это. Он угас, как говорят поэты о звездах, — пустые слова, однако, он именно угас, от чего на земле, нашей доброй земле, стало одним обманом меньше. Правда,

пока Плутон еще не взял его в свои объятия. Не так-то просто взять в объятия Вово Барона. Он был крепкий орешек. Первый после рождения вздох его неизбежно стал первым шагом к смерти. И он умер, обутый в ботинки. И стал прахом.

Тут все пришло в движение, все зашевелились, зашлепали, зашептались, кто-то начал молиться, кто-то зажег свечу. И в каждом, клянусь, чувствовалось удовлетворение, пусть маленькое, пусть безотчетное, от свершившейся смерти, — кто бы из нас в этом признался? Кто? И вот, пристыженные, мы плакали. Шляпа Вово Барона валялась на полу, не заметив, я наступил на нее. Вово Барон... наш добрый... о, наш великий человек!

И вдруг мы с Дриной оказались в саду, я увидел небо цвета глаз Дрины, вдохнул воздух, пахнувший духами Дрины, заметил цветы, цветущие ради Дрины; по всей видимости, мы незаметно улизнули из дома, сбежали от зрелища смерти. Может, она пошла за мной, а может, я пошел за ней, влекомый желанием быть с ней, дышать свежим воздухом, ароматом цветов, видеть этих бабочек? Теперь мне было мало ее легкой ручки, я хотел, ну, хотя бы ее волнения, чуть-чуть лукавства. Но она не пошла на это. И завязавшаяся между нами борьба никак не отразилась в нашем диалоге:

«... ..» — Она подняла вверх подбородок, передернула плечами и покачала головкой.

«... ..» — Я положил руки на ее противившуюся мне талию, с силой повернул к себе, поцеловал сомкнутые губы. Если бы, если бы она не отворачивалась, не сжималась так... «Пио, пио, пио», — где-то рядом с нами, ото всей полноты своего птичьего сердца, пел какой-то птенец.

«... ..» — надувши губки, она отказывалась взглянуть мне в глаза; лицо ее густо покраснело, ресницы и брови сдвинулись. «Хлоп-хлоп» — птенец забил крыльями. Серьезный, словно перед причастием, я хотел только одного — не солгать в эту минуту.

Мы так и не взглянули друг на друга. Дрина не приняла мою любовь, она уклонилась, просто-напросто ушла. И я даже был доволен: ее поведение так мало обещало. Надо подождать, может, еще рано, может, еще не пришел ее час любви? Я бы мог ждать сколько угодно, лишь бы он пришел, наступил, но наступило утро следующего дня, о чем возвестили колокола собора Марии до Кармо и Святого сердца (Святое сердце. Вариант: Святая Энграсия).

Городок не томил ожиданием. Но и утро это было — Дриной. Я и Дрина были везде, мы с ней были весь мир — вот таким он и должен быть, а иначе, иначе пусть кончается поскорей.

И тут-то, под светлый утренний благовест, появился Крысоблох, он же Бугубу, неся из сада в дом вымытый ночной горшок, последний. Горшок Вово Барона. Я вгляделся: великолепная, удивительная вещь. Крысоблох оставился, нахмурился, потом расхмурился, у него был такой вид, будто где-то у него чесалось и он не мог дотянуться; или он хотел спрятать от моих глаз досточтимый сосуд, который нес? Ну, это у него не пройдет, и этому возмнившему себя бог знает чем рабу, этому земляному червю я приказал показать его. Но он даже ухом не повел, хотя поморщился. Это уже было чересчур! Он пользовался своей немотой и слишком много позволял себе. Но, доложу я вам, горшок, который он чуть ли не ткнул мне прямо в нос, в самом деле потряс меня!

Огромный, голубой снаружи, бледно-голубой, расписанный цветами, чайными розами и красными тюльпанами — как парижский фарфор, а по краю — золотая кайма. Внутри же, на дне, — веночек из роз. И в самом центре веночка нарисован — о господи! — глаз! Человеческий глаз, голубой, испуганный, словно попавший в ловушку... Крысоблох-Бугубу, наверное, думал, что я из столбняка не выйду. Глаз, человеческий глаз, брошенный на дно горшка, казался живым и незащищенным, как узник.

И Вово Барон все эти годы отправлял свою нужду в эту вещицу! Вещицу европейского происхождения, плод извращенного вкуса, смысл которой веселить тех, кто склонен веселиться подобным образом. Да, посмеяться было над чем, прямо с хохоту умереть! Горшок вертелся перед моими глазами, красуясь сделанной на нем росписью, и иронически глядел на меня своим глазом. И я оттолкнул горшок.

Но Крысоблох был, как всегда, начеку и удержал его, а его физиономия красноречиво злорадствовала, торжествуя надо мной победу. Знакомые мне шаги, совсем некстати в эту минуту, дали понять, что кто-то, так же, как и мы с Дриной, предпочел отвлечься от семейного горя и вкусить отрадного безлюдья сада. Это был дядя Несторнесторно. Крысоблох отправился дальше, прижимая к груди свою драгоценную ношу. Шваркнуть бы ею о край мойки — и дело с концом, разбить вдребезги этот чудовищный, ци-

клопу впору ночной горшок. Но послушное орудие других, Крысоблох ревниво прикрывал его собой, без сомнения, выполняя данное ему ранее распоряжение. Вово Барон, скормивший болезни все, даже свое превосходство, что он теперь мог, Вово Барон, против тех, кто еще жил, кого он раньше терпел с трудом или даже ненавидел, всемогущий, недостижимый Вово Барон, человек, которому всегда было трижды плевать на все и на вся. Дядя Несторионестор шел быстро, торопясь, видимо, поскорее уйти, шел, пошатываясь из стороны в сторону, и, надо полагать, видел нашу сцену втроем, — я, Крысоблох и ночной горшок. На черном костюме его большой черный галстук совершенно терялся. Он сжимал свою трость, как бы черпая в ней силы. Да, кстати, он был в шляпе. Я, кажется, начинал понимать Вово Барона, Вово Барона, совершенно не похожего на других, как, впрочем, были непохожи на него и эти другие. Он умер, а до этого жил и когда-то родился. А что это значило для него, что за всем этим скрывалось — так и осталось никому неизвестным.

Дядя Несторионестор смотрел на Крысоблоха.

Дрина издали смотрела на нас.

Вдруг я заметил, как быстро старятся стены от сырости, мха, от тоски. Вот эта стена, которая не отделяла нас от невидимого цветника Вово Олгарии, где, чудилось мне, пели теперь иные птицы, птицы Дрины. Чем дольше я слушал, тем больше забывал о самом себе. И на душе делалось легче, легче, точно я уменьшался в весе, становился меньше, совсем ничтожным. Ничтожным, как микроб, как вирус, который проникает в нас, в пыль под ногами, в хлеб, в кровавый шарик, сперму, в бесконечное будущее, заключенное в семени, в мстительную землю, в воду; ничтожным, как атом; ничтожным, как бывает ничтожным и бог! И никогда мне не понять, что такое бесконечность. Пусть, и не надо, лучше вернуться в нежное утраченное убежище, убежище для всех и вся: в любовь. Я улыбнулся, мир в эту минуту был мне родным, мир был я.

Между прочим, мне пришел на память один случай, такой характерный и яркий, что скорее сошел бы за анекдот, хотя все это произошло в действительности и не забылось. В нашем семействе не любят о нем вспоминать, зато в городе говорили о нем как об отменной шутке и говорят до сих пор.

Однажды, много лет спустя после раздела с Вово Олгарией, Вово Барон, не имевший случая видеть свою жену

эти годы, стоял с кем-то у окна и наблюдал, как какая-то модно одетая, в кринолине, казакине, с высокой прической, стройная, очень изящная дама переходит площадь. Осмотрев ее с головы до ног, он не преминул отметить благородство осанки и грацию незнакомки. Тот, кто стоял рядом, с изумлением заметил: «Но, барон... это же ваша собственная супруга...» Тот, не моргнув глазом и не переменившись в лице, чистосердечно признал:

«Да, хорошо сохранилась баронесса...»

Так ли безразлична была Вово Олега́рия Вово Барону и не значило ли это, что он всю жизнь боролся с непокидавшим его чувством? Под пеплом всегда можно найти тлеющий уголек, а то и печеную картошку. Жизнь — это ведь проба, испытание. Мне стало жаль Вово Олега́рию и Вово Барона, их любовь, как видно, не угасла совсем, но она тонула в засасывающей их повседневной трясине жизни. Однако Вово Олега́рия, за что мы все ей благодарны, обладала удивительным даром стареть не теряя очарования. «Может, по-своему Вово Барон и любил ее до конца дней своих?» — думал я, теряясь в догадках. Жизнь не идет ровно, у нее свои причуды, она то движется вперед, то отступает, то кружится на месте и кружит нас. Жизнь как капля, что не устает долбить камень. Тут я ни с того ни с сего пошел и плюнул во все плевательницы, стоявшие в зале. И только проделав эту изнурительную процедуру, я оценил во всем величии миссию Крысоблоха-Бугубу, нашего странного Крысоблоха-Бугубу.

Кто-то засопел. Это был дядя Несторионестор, он шел отправить телеграмму в Сан-Пауло, тете Денизари, в подтверждение более раннего уведомления, и к своему неудовольствию нашел здесь меня.

— Не могу ли я быть чем-нибудь полезен? — спросил я.

Я целовал камень, как святыню. Вот именно камень, но ведь то был отец моей Дрины! Это непоправимое обстоятельство золотило пилюлю и даже трогало меня.

— Нет, — ответил он категорически, даже не повернувшись в мою сторону. Он презирал не меня, в этот момент он презирал весь род человеческий и все зло, присущее ему, и, задржав еще выше подбородок, он как бы отодвинул меня куда-то вниз. На себя же он решительно не желал посмотреть со стороны. Его пальто, воротничок, веки, брови напоминали плотно пригнанные пластины давно исчезнувших рыцарских доспехов. Он не менялся ни внешне, ни

внутренне, ни печенкой, ни мозгом. Будь он деревом, у него были бы колючки даже на корнях. Он и был им, впрочем. А в общем-то, он пытался, хоть и неудачно, быть памятником самому себе.

Я сделал вид, что уйду, но решил незаметно для него следовать за ним. Увидев, что я вполне почтительно предлагаю свои услуги ее отцу, Дрина бросила на меня благодарный заговорщицкий взгляд. Однако чего бы я ни сделал, чтобы получить в награду ее? Но в ту минуту и сам дядя Несторионестор возбуждал во мне симпатию, близкую, может быть, состраданию: он явно был опечален. Думаю, в обычной обстановке он совсем не такой или не совсем такой. Но сейчас в этой сложной жизненной ситуации он был как на юру виден со всех сторон. Пресловутая фраза над входом на кладбище Кимбондо, каждая ее буква жгла ему глаза, обращала его в ничто, сводила на нет его родовое превосходство, пачкала наше и без того спорное происхождение: «Вернись во прах, несчастный, в глину, из которой бог тебя создал!» — просто крушение всего и безжалостное. «Ну, хватит наводить тень на плетень, иди к своим, старый пройдоха...» — можно ведь и так перевести эту окаянную надпись над входом.

Оскорбленный и погруженный в себя дядя Несторионестор бродил по бесконечным коридорам и залам дома. Принимая соболезнования и учтивые поклоны, он вроде бы не видел и не слышал ничего, он думал, он искал слова или средства... «Вернись во прах...» — несчастный, вот что ему предстояло сокрушить, вот с чем он в отчаянии, уйдя в себя, сражался. Помешать гнусному решению Вово Барона! Это его долг, это самое главное, это дело чести.

Звонили колокола, звонили не переставая.

«Никто не хочет слушать папу... Они его не понимают...» — проговорила очень сдержанно Дрина.

Что я знал, что думал? Ее слова входили мне в душу; ее голос был мне приятен и мил. Дрина села, — никто не смог бы так неподражаемо сесть, — в большое кресло Вово Барона. Свои маленькие ножки она поставила на скамеечку совсем близко от моих. «Вы...» — Она как будто ожидала, что я отгадаю, о чем ей хочется сказать. «Разве нельзя что-нибудь сделать?» — задумчиво спросила она. На этот раз такая чуткость, такая готовность принять любое предложение, пусть нелепое, пусть рискованное. Свечи в подсвечниках погасли, зажглись электрические бронзовые бра. Что я думаю, что знаю? Дрина стояла спиной к окну,

к площади, — «Должен же быть какой-то выход!..» — сказала она еле слышно. О, это звучало благоразумно, даже чересчур.

От черных траурных драпировок по стенам весь дом казался черным. Ту часть, что была открыта для прощания, сейчас заполняли самые уважаемые люди города. Они расхаживали по зале и в саду всю ночь напролет. Народец попроще, мелкая сошка, прокоротал ночь около дома на площади, кто на скамейках, а кто как. Умер богатый человек, похороны обещали быть пышными и, похоже, со скандальчиком. А родственники, свойственники, близкие-близкие, близкие-далекие и совсем десятая вода на киселе все прибывали и прибывали. О семейном горе сообщили даже самым далеким Дендрадесам Под-Перейрам, родным Дрины, отправили телеграммы в самые глухие уголки сертана.

Дрина проводила меня почти до дверей моей комнаты. «Должен же быть выход!» — и неповторимо встряхнула густыми золотыми волосами. Дядя Несторнесторио, нахлобучив шляпу и схватив трость, заперся в кабинете Вово Барона. Не исключено, что, воодушевившись событиями, он готовил речь. И кто знает, может, речь у могилы, вопль его протестующей души, повернет события в иную сторону; и, чем черт не шутит, может, она явится более убедительной, чем чепуха, на веки вечные запечатленная над входом на кладбище Кимбондо. «Никто его не понимает...»

И в самом деле. Дядиному напору противостояли легко читаемые издали по лицам безразличие и усталость, характерные для всей нашей семьи и каждого ее представителя в отдельности, дух непробиваемого равнодушия ко всему. «Последняя воля покойного — закон...» — и баста, дальше эти самые представители (или: хулители, порицатели, осуждатели, — все им подходит) не желали ничего. Даже обсуждать. И он, не в силах опровергнуть эту вековую инерцию, соглашался. То, что он мог бы сказать по этому делу, было настолько против этого дела, что вообще не могло быть принято в соображение. Однако того, что Вово Барон мог быть не в своем уме, дядя не допускал. Его мысли метались из стороны в сторону, как маятник стеновых часов. Он должен переубедить всех, иначе... иначе ничего не оставалось. Не слишком ли много он брал на себя? «Вернись во прах...» — виделось ему везде, виделось на стенах, на картинах, на цветном хрустале, на овальных мраморных столиках. Его человеческая сущность восставала против этого, защищалась всем своим тщеславием, всей

своей цельностью, готовая обмануть себя, лишь бы обмануть смерть, обступившую его со всех сторон. Клянусь вам. Он всегда был в стороне от семейных раздоров, всегда был непохожим на всех, и он не унижится до стадного конформизма толпы. «Последняя воля покойного — закон...» — пустяки, чепуха, вздор, чушь собачья.

Светало, петухи драли горло на всю окрестность. На земле давно нет ветхозаветного праха. Но дядя Несторио-нестор, погруженный в свои мысли, видно, и не подозревал об этом. «Вернись во прах...» — грызло его. Грозно выпрямившись во весь рост, он шел навстречу, нет, наперерез, нет, наперекор утру, словно затем и вышел из кабинета, чтобы немедленно сразиться с Ганнибалом, или Ксерксом, или, кто знает, с человеческим разочарованием. Встревоженная Дрина шла за ним. Неужели он собирался покинуть этот дом? Но, слава богу, на пороге стоял Крысоблох, — выставлялся хвастливо, — уверенный в себе, как истина в последней инстанции или топором сработанный афоризм.

Он тоже был в черном с ног до головы. Полному трауру противоречили теннисные туфли, к тому же они, кажется, спадали с его ног. Преданный, верный слуга; но уж очень расшибался в лепешку, словно все мы вместе с ним ломали одну комедию, и он, со своей стороны, тоже старался не подкачать. Все-то он видел, все примечал, наш Крысоблох, косоглазый помощник дьявола.

Могу ли поверить своим глазам, — Дрина беседует с Крысоблохом. От восторга у него кожа на лбу пошла складками: барышня разговаривает с ним, о, это хороший знак, что-то очень лестное, приятное, как бисквит или чаевые. Дрина с ним разговаривает. Крысоблох слушает и, отвернувшись в сторону, раздувает ноздри и прикрывает глаза, стараясь из почтения не дышать на нее. Да, она удостаивает его разговором. Крысоблох улыбается? И скребет в голове; плесень, что ли, у него там завелась? А Дрина все еще с ним говорит. Теперь Крысоблох взялся рукой за щеколду. И никто не положит этому конец, как будто так и должно быть, чтобы этот урод на своих уродливых ногах — сама безобразная часть его тела — стоял и разговаривал с Дриной.

У закрытого, давно умолкшего пианино Дрина начала со мной секретный разговор. «Повиноваться воле старого, выжившего из ума маньяка? Бог, да храни его на небесах и прости мне...» — ее глаза, глядя прямо в мои, проникали в меня.

Дрина и без того надо мной властвовала, она могла как пленять, так и освобождать от плена. А почему бы не распорядиться открыть теперь вторую половину дома, половину Вово Олегарии? Наглухо запертую со дня ее смерти, но памятную мне во всех подробностях, вызывающих — чуть начну вспоминать — отраду и тоску. «С кем вы? На чьей стороне?!»

Попробуйте выбрать. Кому как взглянется. Вово Олегария или Вово Барон? Ее и его правда как тогда, так и теперь, одна с другой не в ладу. «С вами, Дрина...» — «С папой?»

С папой, с папой. Интересно, что Вово Олегария после раздела с Вово Бароном поспешила сменить мебель, поставить весь дом на современную ногу. Оставаясь при этом барышней из старинного романа, беспечной, легкомысленной, весьма, впрочем, неглупой, — пальца в рот не клади. Важная дама, она знать не желала о том, как меняется мир, отлично умея ужиться с сегодняшним днем и жить в нем прошлым. Сам же Вово Барон, эгоистичный и чрезмерно требовательный, не в состоянии был влиять на нее; самый цвет ясного сада ее души ускользал от него, не давался ему в руки. «С вашим отцом, Дрина...»

Ну вот, после всех бед и печалей наступил праздник и на моей улице. Дрина улыбалась мне. И будет улыбаться всегда. Незакатное солнце. Солнце везде. Великое утро.

Сам дядя Несторионестор, видимо отведя душу в кабинете, теперь облегченно потирал руки, — шляпа на трости, трость между колен, — и казался уже не таким подавленным. Нет, он не позволит, чтобы все то, чего требовал наш фамильный герб, — и о чем мы помнили, несмотря на все наши раздоры, — высокая честь, незапятнанное достоинство, неустрашимая отвага, свойственные нашему имени, — рухнули во прах со своих снежных вершин, споткнувшись о какую-то ничтожную фразу. Этого не позволит он, Несторионестор, самый истинный, самый чистый по крови, самый перспективный потомок Вово Барона, весь — воплощение его великих и мрачных идей. Он, Несторионестор, гораздо более достойный, чем мой честный отец, чем добродушный дядя Пелопидас, чем косноязычный дядя Нее; более, чем стройная тетя Карла, чем толстая тетя Кло, чем всегда беременная тетя Лу или красавица тетя Те. И уж конечно, более, в тысячу раз более, чем, например, я, Леонсио Несторзиньо Акидабан Перейра Серапионс Дендрадес; к тому же, честное слово, — если заглянуть

мне в душу, — старик стариком. «Будем все время рядом с папой!» — «Да, да, да, Дрина!»

Наступил час похорон, и день приветствовал их всем своим блеском. Желанный гость, сеньор епископ во всем своем великолепии читал над усопшим молитвы в старинной зале. И надгробное чтение, странно сказать, оживляло эту половину дома, оживляло ее окна, так кстати оказавшиеся темными, этот траур понарошку, который сам над собою посмеивался. Звонили, словно плакали, колокола. Я рядом с Дриной, мы — вместе. На площади, не щадя себя, рвал душу оркестр. Дядя Несторионестор сам лично нес гроб, держась за ручку. Да, я и Дрина, мы были наконец вместе и чувствовали одинаково. Когда умирает один, тление пробегает по всей родовой цепочке, у всей родни подгибаются ноги. А потому надо идти рука об руку. Семейная солидарность — единственное спасение. Идти только под руку. Семейная солидарность должна быть налицо. «Вы хороший, вы наш друг...» Дрина вознаграждала меня за все. Дядя Несторионестор нес гроб, мне же, ошачливленному его благосклонностью, достались атрибуты самого дяди: я нес его шляпу, словно шлем иных времен, и его трость, и мне было приятно держать ее в руке. Выйдя на улицу, мы растерялись. Огромная толпа, поток человечества, оказывается, ожидал нас, а дождавшись, повернулся спиной и медленно начал двигаться от дома, шаркая пятками. «Как вы думаете? Он согласится?» — добивалась от меня Дрина, корректная, благоухающая, чистая. Ей так шел черный цвет, черный шелк. «Конечно же, конечно!» — лгал я, а может быть, и не лгал. Я готов был подтвердить все, что ей угодно. Прямая улица тянулась, спускаясь по склону, и никак не могла кончиться. Не уступая друг другу, состязались в невыразимой скорби колокола и оркестр. Дядя Несторнесторио терпел поражение, сбывались самые худшие его опасения. Он уже не нес гроб, отобрал у меня свои атрибуты. И я снова стал ничтожеством.

«Вы мой друг. Вы хороший!» — шепотом, о Дрина, солнышко, ласточка моя. Похоронная процессия поворачивала в сторону луга, то замедляя шаг, то останавливаясь. Был день. Тоскливо жгло солнце. Розарио, Тринидад, Сан-Антонио провожали нас колокольным звоном. Мы плелись еле-еле, так долго, что мне чудилось, будто Дрина — моя, а мне самому до слез жалко Вово Барона. И вокруг — музыка. Это Вово Олегария прощалась с нами, а мы уходили все дальше и дальше от нее, от ее могилы. Бесконечным

торжественным кортежем двигались мы навстречу своему позору — так думал дядя Несторионестор. Бесконечной дендрадовщиной, перейровщиной, серапиоэнсадовщиной.

Вот и кладбище Кимбондо. Ворота в старой стене. Над ними надпись. Мы подняли глаза, заколебались. Потом вошли все, все, кто за гробом, толпа и служащие похоронной конторы. Мой отец и моя мать рядышком, другие дяди и другие тети парами, друг за другом. И само собой, как равный среди равных, этот бездельник Крысоблох, хитроумный Крысоблох, он-то уж знал, к чему идет дело. Что это с ним, он погружался в прострацию? Нет, не похоже. Дядя Несторионестор остановился. Он пропускал мимо себя тех, кто шел сзади, одного за другим. Я видел его голову, его орлиный нос. Дядя Несторионестор дрожал от гнева и был страшен. Вот так бы и изваять его в камне. Он метал искры, как Юпитер. Он был сильнее всех и выше всех.

«Мы останемся с ним!» — приказала мне Дрина, и в голосе ее зазвенел особый, под-перейровский тон. Мы остановились. Был полдень. Мы стояли под деревом, тень и солнце омывали нас. Там, на лугу, паслись коровы, ослы, быки, лошади. Вокруг — никого, так, один-два любопытных. Мы были одни в двух-трех шагах от входа. «Вернись во прах...» — шептал дядя Несторионестор, словно пробуя на зуб каждое слово, не обращая внимания на Дрипу, опирающуюся на его руку. Она как будто ждала кого-то или чего-то: удачного хода, выдумки, счастливого озарения? Ждала уверенно, спокойно.

Сколько же можно?

Ну и ну, сломя голову, в черном костюме, в желтом жилете, в белых туфлях, под мышкой — супница или миска? — в руке кисть, — кто? Конечно, он, Крысоблох-Бугубу, ноги колесом, несется, не чуя земли, — кто же еще? На голове у него, не может быть, — ночной горшок? Простите, шляпа, шляпа Вово Барона, — надвинул ее черт-те как. Он возник, будто кто-то его придумал, — такого вот Крысоблоха, — и толкнул, и он тоже толчками идет, идет, ближе, ближе, проходит, проходит. Дрина улыбнулась, а мне стало нехорошо. Под мышкой у него был тот самый ночной горшок! Ночной горшок, огромный, бледно-голубой, в прелестных цветочках... и — там, в его фарфоровом чреве, на дне, распахнувши ресницы, все понимая, — глаз! Горшок, полный крови, — да, да, до краев полный превосходной алой краски...

Дойдя до ворот, Крысоблох взялся за дело: он начал уничтожать то, что было написано над воротами — эту поворную надпись. Жирными мазками, не жалея прекрасной, добротной краски, густо-густо. Краска цвета крови выплескивалась из горшка, брызгала, капала вокруг — и кончилась, но и с надписью было покончено. Надпись исчезла, она была стерта с лица земли! И он почувствовал себя великаном. Поднял вверх руки, расправил плечи, выпятил грудь колесом, торжествуя свою победу. Он свершил. Ему хотелось сказать что-нибудь, до смерти хотелось, он лопался от этого желания. И он сказал! Целую фразу, как пьяный, не владеющий языком, выжал из себя, швырнул как камень: «Я... Я... Я...» — пролаял он. Итак, он уже не был ничтожеством, а был совершенством: он говорил, он был равен хозяину, он сам был персо́на, и огромный ночной горшок Вово Барона еще оставался при нем.

Дядя Несторионестор с достоинством одобрил содеянное. Потом снял со своей руки руку Дрины. Что он собирался делать? Твердым широким шагом он направился к воротам, неся шляпу и трость, шагая с облегчением роже-ницы, счастливо разрешившейся от бремени.

Дрина, добрая фея, подала мне руку. Мы были спасены. Она на меня взглянула, и нам обоим стало вдруг страшно. Что я понимал, что знал? Что знал, что понимал? Я вам скажу: нам оставалось любить друг друга. Любовь, любовь и любовь: смирение. Быть смиренным. Особенно здесь, в этом месте, куда мы еще вернемся. А впереди шагал, выпрямившись во весь рост, наш негибачейший дядя Несторионестор, входил в ворота Кимбондо, удалялся между воображаемых могил, исчезал из виду.

Братья Дагобэ

Горе. Бдение над усопшим. В гробу — Дамастор Дагобэ, старший из четырех братьев, разбойников, каких еще свет не видывал. Дом их маленьким не назовешь, но в нем едва вмещались те, кто пришел провести последнюю ночь с покойным. В эту ночь лучше быть рядом с мертвым, на всякий случай, из страха перед троими, они-то еще живы.

Дрянные люди братья Дагобэ, совсем никудышные. Ни жен у них, ни детей, и все они были под пятой у покойника. Он — корень зла, зверь, главарь, он повел по дурной дорожке младших, «мальчишек» — так он их называл.

Сейчас он, конечно, мертвец и не опасен. Лежит себе при неверном свете свечей, убранный цветами. Рожа зверская, нижняя челюсть как у хищной рыбы — пираньи; нос кривой, и все, что от него осталось, — это длинный перечень совершенных им зверств. Но рядом с троими одетыми в траур сородичами лучше к нему проявлять почтение.

Время от времени собравшимся подносили кофе или кашасу, угощали жареной кукурузой — все, как положено. Пришедшие, разбившись на группы, негромко переговаривались, кто в темноте, кто при слабом свете коптилок и фонарей. На дворе — непроглядная ночь, дождь только что утих. Изредка кто-нибудь повышал голос, но тут же снова переходил на шепот, вспомнив, где он находится. Одним

словом, все шло согласно обычаю. И все-таки всем было не по себе.

А дело-то в том, что отправил Дамастора в страну мертвецов некто Лиюжорже, тихий, скромный, неприметный такой паренек. Дагобэ по какой-то неизвестной причине пригрозил, что отрубит ему уши, и, повстречав его, пошел на парня с ножом. А Лиюжорже, успевший раздобыть гаррушу, взял да и пальнул в него, прямо в грудь, чуть выше сердца. Из Дамастора и дух вон.

После этого невероятного происшествия все удивлялись одному: отчего братья Дагобэ не бросились мстить убийце, а занялись похоронами. И вправду странно.

Тем более, что несчастный Лиюжорже оставался в поселке, сидел дома и ждал самого что ни на есть худшего, не решаясь бежать.

Как это объяснить? Братья Дагобэ отдавали последнюю дань усопшему спокойно, без явной радости, но с каким-то скрытым удовлетворением. Младший, Деривал, встречал приходявших радушно, приговаривал: «Простите, если что не так...» Дорисан, который теперь был старшим, держался важно, как достойный преемник Дамастора. Грузный, осанистый, он чем-то походил на льва, а чем-то напоминал осла: у него была та же выступающая вперед челюсть и такие же, как у Дамастора, ядовитые глазки, он благочестиво закатывал их и повторял: «Царствие ему небесное!» Средний брат, Дисмундо, красавец мужчина, смотрел на простертое тело сентиментально и набожно: «Милый братец...»

Все знали, что покойный был мелочно скуп — так же скуп, как и жесток, если не больше — и оставил в банке кругленькую сумму.

Впрочем, насчет братьев Дагобэ никто не заблуждался. Их показное смирение никого не могло обмануть. К чему торопиться? Всему свое время. Кровь за кровь. Одну-то ночь, отдавая последний долг покойнику, можно повременить, прикинуться безобидными. После похорон они займутся Лиюжорже, не уйти ему от возмездия.

Вот о чем шептались по углам взбудораженные местные жители, перекидывались намеками, не давая языку особой воли. Братья Дагобэ, они на первый взгляд горячие, а на самом-то деле еще и коварные, умеют ждать удобного случая. Что хотят, то и делают, за ними неоплаченный долг не останется: сразу видно, все успели обдумать. Поэтому и гости не скрывали плутовато-довольного выражения, предвкушая кровавую развязку. И, улучив момент, соби-

рались где-нибудь у окна, шушукались. Выпивали. Братья Дагобэ держались вместе, не оставляя друг друга — чего они опасались? Временами к ним подходил кто-нибудь, кто посмелее, о чем-то шепотом переговаривался.

Подходили, уходили, ночь близилась к концу, а Лиюжорже, тот, кто, защищаясь, отправил Дамастора в лучший мир, не сходил с языка. Все уже знали все: Лиюжорже сидит дома, один, может, спятил? Ведь он не сбежал — правда, это бесполезно: где бы он ни укрылся, братья Дагобэ его тут же найдут. Так что бежать бессмысленно, сопротивляться тоже. Худо ему небось теперь, поди, от страха помирает. Ни силы, ни храбрости, ни оружия — ничего у него нет. На предстоящих выборах как пить дать не досчитаются его голоса. Но вдруг...

Нет, вы только подумайте. Кто-то, кто был у него, пришел к родственникам покойного, чтобы сообщить... Мол, Лиюжорже говорит, что у него и в мыслях не было отправлять на тот свет своего соотечественника, крещенного в истинной вере, и он спустил курок лишь для того, чтобы спастись самому! Он Дамастора убил, но уважает его. И готов явиться сюда без оружия в доказательство своей невиновности и отваги.

Ну и ну! Неслыханно! Не иначе, как Лиюжорже рехнулся, его ведь ухлопают! Что же, если он такой храбрый, пусть явится, пусть! Но об этом даже подумать страшно! Говорят, в присутствии убийцы из ран убитого снова начинает течь кровь! Ну, и дела... А в поселке и полиции нет...

Все глаза были прикованы к братьям Дагобэ. А те — хоть бы что. Дисмундо говорил: «Не беспокойтесь...» А Деривал: «Не стесняйтесь...» — сплошное радушие, дескать, какую честь вы дому оказали... Вот огромный Дорисан, тот был суров. Он молчал. И от этого выглядел еще страшней. Для храбрости все то и дело прикладывались к кашасе. Снова пошел дождь. Ночь над покойником всегда тянется бесконечно.

Но что это? Вдруг все умолкли. Кто-то пришел. Уж не хотят ли помирить братьев с Лиюжорже? Нет, Лиюжорже предлагает помочь нести гроб... Мы не ослышались? Безумец — сам лезет в логово к разъяренным зверям! Что он затеял?

Никто своим ушам не верил, но тут взял слово сам Дорисан. Выражение лица угрожающее, зрачки ледяные, но голос спокоен. «Пусть приходит, — изрек он, — когда закроют гроб». Да. Такого еще не случалось.

Что-то будет. Все напряженно ждали. На душе у всех тяжесть и неясный страх. Близится предрассветный час. А вот и день занимается. От покойника уже пахнет, черт побери!

Гроб закрыли без слез и причитаний. В глазах братьев Дагобэ ненависть — верно, думают о Лиюжорже. Опять — шушуканье: «сейчас... сейчас он придет...» — и еще что-то, что не удастся расслышать.

И он пришел. У всех прямо глаза на лоб вылезли. Высоченный парень этот Лиюжорже, а держится просто, без показной храбрости, без вызова. Видно, уже примирился с тем, что придется расстаться с жизнью. Вошел и прямо к братьям: «Да поможет вам бог», — говорит. И даже голос не дрогнул. А ведь они — Дорисан, Дисмундо, Дериван — дьяволы в образе человеческом. И, кажется, они ему даже ответили: «...Гм... аа...» — или что-то еще в том же роде.

Пора братья за гроб — по трое с каждой стороны. Лиюжорже показали его место — первым с левого бока. Вокруг — братья. Настал конец бесконечному бдению — гроб вынесли из дома. За гробом тянулись провожающие. На улице грязь. Впереди — кто посмелей, осторожные — саади. Смотрят под ноги. Гроб покачивается в такт шагам. Идут Дагобэ, а среди них — Лиюжорже. Ну и похороны. Процессия движется вперед.

Движется неторопливо, шаг за шагом. Тут уж все, и кто шушукался, и кто молчал, все всё понимающе и сгорают от любопытства. Песенка Лиюжорже спета. Теперь ему деться некуда. Храбреца из него не вышло, сдался на милость разбойникам. Гроб-то, кажется, тяжелый. Братья Дагобэ вооружены. Они на все способны, у них все решено. Это и дураку понятно. А дождь льет. Лица, одежда — все мокрое. Лиюжорже-то, верно, совсем струхнул, шагает покорно, как раб. Молчит. Он, видно, уж ничего не понимает, идет как заведенный.

Теперь, ясное дело — гроб в могилу, а в него — в упор. Охнуть не успеет. Дождь как будто кончается. В церковь заходить незачем, священника в поселке не оказалось.

Процессия идет дальше.

Вот и кладбище. У входа надпись: «Все опочинут здесь». Люди толпятся в грязи, у края ямы, большинство держится чуть позади, чтобы проще было исчезнуть. Почтительное молчание. Никто не прощается с покойным. Жил-был когда-то Дамастор Дагобэ... Опустили его в яму, на крепких веревках. Стали бросать землю, лопату за лопатой. Она па-

дала с глухим шумом, от которого становилось не по себе. Ну, а теперь что?

Лиюжорже ждет, весь сжавшись. Кроме семи вершков земли, что под носом, ничего не видит. В глазах — тоска. Вокруг — братья-разбойники. Молчание становилось мучительным. Дисмундо и Деривал ждали распоряжений старшего, Дорисана. Наконец тот повернулся, дернул плечом: он только сейчас заметил несчастного Лиюжорже.

Метнул на него взгляд. Схватился за пояс... Нет. Это только так показалось. И тут Дорисан сказал — все своими ушами слышали: «Парень, иди домой. Наш брат был сам сатана...»

Тихо он это сказал, еле слышно. Потом обернулся к провожавшим, поблагодарил. Двое других последовали его примеру. Благодарили торопливо, даже улыбались. Стряхнули грязь с башмаков, стерли дождевые брызги с лица. Дорисан, уже уходя, добавил: «Мы уезжаем, в городе будем теперь жить...» Похороны были окончены. И дождь пошел снова.

Спектакль

В вечер спектакля творилось что-то невероятное. Никто так и не понял, в чем же все-таки было дело. Вот и сейчас, сколько лет минуло, а мы все вспоминаем — причем, неожиданность происшедшего поразила нас даже больше, чем беспорядок, а главное — шум-то какой поднялся! Потом учителя-монахи говорили, что надо раз и навсегда запретить представления в нашей закрытой монастырской гимназии. Ничего не смог объяснить даже сам доктор Пердиган — он вел репетиции — преподаватель отечественной географии и истории, после этого происшествия он вернулся в свой родной городишко, и если он еще жив, то, верно, очень стар. Где-то теперь черный дьяволенок Алфеу-горбун? Наш Астрамиро нынче летчик, а Жоакинкас — бухгалтер, иногда мы с ними встречаемся, сидим, вспоминаем. Для спектакля выбрали драму «Сыновья доктора Фамозо», в пяти действиях. Кто же повинен в ее провале? Мы, кому поручили ее сыграть? Может, да, а может, и нет. Трудно сказать. С той минуты, когда, на переменке, после обеда, наш заведующий сеу Секейра-Сурубин¹, важный и таинственный, вызвал нас и сообщил эту великолепную новость,

¹ С у р у б и н — рыба семейства сомообразных.

наша восторженная дружба стала еще крепче. Было нас одиннадцать мальчиков, то есть двенадцать.

Мы были потрясены. Отец настоятель торжественно отпустил нам грехи. Затем, в присутствии доктора Пердигана, мы прочитали «Отче наш» и еще трижды «Богородицу», дабы очистить наши души. После этого доктор Пердиган, с пьесой в руках, торжественно посвятил нас в ее содержание. Потом каждому из нас было предложено прочитать вслух по отрывку, придавая голосу по возможности красоту и выразительность; с грехом пополам мы что-то промямлили. Один За Колпак не растерялся и здорово рассмешил всех своим чтением — впрочем, он был известный озорник. Когда доктор Пердиган наконец отпустил нас, мы вспомнили, что два самых сильных и смелых мальчика из нашей компании — Атауалпа, которому предстояло изображать самого доктора Фамозо, и Дарси, предназначенный на роль Сына Капитана, недавно поссорились. Но они сами тут же помирились, мы даже не успели попросить их об этом. Для верности они еще обменялись марками: Атауалпа дал Дарси трансваальскую марку, а тот ему — не то тасманийскую, не то китайскую. Затем они окинули нас командирским взором и отдали приказание: «Другим ничего о пьесе не рассказывать!» Мы согласились и поклонились. Понадобилось еще некоторое время, чтобы наша безграничная радость уместилась наконец в наших головах. За исключением, разумеется, головы За Колпака.

За Колпак потешал нас, вроде клоуна. Ему было плевать, кто с кем дружит, а кто с кем в ссоре — все перемены напролет он представлял ковбойские фильмы: носился, прыгал, скакал галопом, стрелял, устраивал нападение на дилижанс, угрожал воображаемым оружием и сам же поднимал руки и, наконец, изображал, как целуются влюбленные, играя и за него, и за нее, и за всех бандитов, и за шерифа. Мы, конечно, смеялись над ним. Дуралей. И все-таки как актеру ему отдали предпочтение передо мной. Отец заведующий и доктор Пердиган решили, что я слишком застенчив, скован и не гоюсь для сцены. Спасибо, тут как раз вовремя зашел отец настоятель и заявил, что такой старательный ученик, как я, к тому же хороший декламатор с четкой дикцией, вполне может исполнять обязанности суфлера. Я улыбнулся, потому что остальные сразу стали оказывать мне всяческие знаки дружеского внимания: Жоакинкас, игравший роль Сына Священника, дал мне две новые пачки из-под сигарет, а я ему — монетку в пять-

сот милрейсов и кусок булки, оказавшийся у меня в кармане. А Дарси и Атауалпа, набравшись храбрости, заявили, что Ээ Колпак не справится со своей ролью. Но отец заведующий отчитал нас за зазнайство и объяснил, что Ээ Колпак будет играть полицейского, это очень простая роль, почти без слов. Напрасно Араужиньо, Второй Полицейский, скорчил при этом кислую гримасу — решение было окончательным. Но Ээ Колпак внушал нам серьезные опасения: сумеет ли он сохранить тайну?

Мы сомневались в этом. А вдруг остальные ученики пристанут к нему и вынудят рассказать содержание пьесы? Особенно беспокоили нас двое великовозрастных гимназистов, живших в интернате и не взятых в актеры по причине их неисправимого поведения! Это были Танзан и Жестяная Рука, центральный нападающий нашей футбольной команды. И тут кого-то из нас осенило. Мы должны как можно скорее выдумать другую фантастическую историю, ее-то мы и будем рассказывать всем вместо настоящей. А за Ээ Колпаком будем неотступно следить, чтобы не проболтался.

Опасения наши были беспочвенны. Ээ Колпак никому ничего не рассказывал. Он не придавал значения содержанию драмы, интересовался лишь немногочисленными забавными эпизодами, и тут же в довольно-таки искаженном виде вставлял их в свои кинопредставления, которые он разыгрывал по-прежнему на всех переменах с поразительно неутомимой энергией. Танзан и Жестяная Рука делали вид, что им плевать на наш театр. А фантастическая история, придуманная нами, продолжала дополняться и расцветаться эффектными эпизодами, которые каждый из нас предлагал вставить в нее: «перестрелкой», «дуэлью в поезде», маской «собачья морда» и, главное, «взрывом». Гимназистам история нравилась, и они заставляли нас повторять ее без конца. Даже горбатый негритенок Алфеу, сын кухарки, ковылял со всей доступной ему поспешностью, чтобы послушать нашу историю, и сидел с нами, пока его не замечал и не выгонял Сурубин. Мы сами полюбили «нашу историю» даже больше, чем «настоящую», которая была в пьесе. Но профессиональная гордость суфлера заставила меня вызубрить книжную историю назубок. Меня огорчало только, что вечером «в тот день» я буду скрыт от глаз публики дурацкой будкой, которой на репетициях пока еще не было.

«Играть в театре — это значит учиться жить с истинным достоинством, отбросив все мелочное и несерьезное», —

поучал нас доктор Пердиган, сверкая черной бородой. Ата-уалпа Силач и Дарси Красавчик даже отказались от своих глупых прозвищ. Дамы шили нам костюмы — фракы для доктора Фамозо и его Друга, сутану для Сына Священника, мундир для Сына Капитана. Мы решили называть друг друга только именами из драмы: Мескита был «Сын-поэт», Руй — «Друг», Жил — «Хранитель тайны», Нуно — «Комиссар полиции». Если возникали споры, доктор Пердиган улаживал их: Набока будет не «слуга», а «камердинер», Атрамиро — не «Сын-преступник», а «Кающийся», я — «Маэстро-суфлер».

«Достоинство и благородство прежде всего, — изрекал он далее, — и помните: «Жизнь коротка, искусство вечно» — так говорили еще древние греки!» Мы страшно боялись, как бы взрослые не отняли у нас нашу золотую мечту. Мы поклялись идеально вести себя до самого праздника, бросили курить в укромных местах, не разговаривали в классе, не свистели, исправно учили уроки. Не имевшие ролей все еще не теряли надежды получить их. Жоакинкас ежедневно исповедовался, вел себя безупречно, как настоящий святой отец. Каждый день после обеда мы отправлялись на репетицию — нас даже освободили от вечерних занятий, проходивших под суровым наблюдением самого Сурубина. Остальные безумно завидовали такой привилегии.

«Мужайтесь! Не падайте духом! Будем тверды и усердны. *Ad astra per aspera!*¹ Внимайте моим советам...» — учил нас доктор Пердиган. Мы вздыхали о недостижимом совершенстве, строгая игра на сцене давалась нам мучительно. Всем, кроме Зэ Колпака. Этот паршивец маршировал, брал под козырек — и при этом не знал ни словечка из своей роли. А день спектакля был уже близок, меньше двух недель оставалось! Надо заменить этого остолопа! Но доктор Пердиган рассуждал иначе: «Господа гимназисты! Я не оставляю намерения усердно трудиться, дабы достойно подготовить вас!»

Зэ Колпак, чувствуя поддержку, не унывал. Ему, конечно, хотелось свести с нами счеты. Но не теперь, потом. Теперь нас объединяло трудное общее дело, все остальное мы откладывали до каникул — даже футбол почти совсем забросили.

Вдруг мы стали замечать, что другие гимназисты относятся к нам как-то странно — посмеиваются, декламируют

¹ К звездам сквозь трудности! (лат.)

непонятные фразы. Намекают, что им известно истинное содержание драмы, а мы, мол, обманщики. Видимо, в ход пошла еще одна версия, ничего общего не имевшая с нашей. Кто сочинил ее? Конечно, Гамбоа, болтун и выдумщик, он хвастал, будто знает «настоящую историю»! Экий наглец! Мы поклялись как следует отлупить его после праздника. А пока что надо было бороться с его пьесой, которая ставила нас в глупое положение. И мы без конца повторяли «нашу историю», стараясь, чтобы она звучала как можно правдоподобнее. У каждой версии были свои поклонники, многие принимали то ту, то другую сторону. Видимо, Танзан и Жестяная Рука возглавляли группу Гамбоа.

«Вручим себя воле Всевышнего...» — изрекал Жоакин-кас. «Эта индианка — моя», — рычал Дарси или Атауалпа. И тут же: «О злодей, о разбойник, ты омрачил мои дни...» Сурубин говорил, будто репетиции — в ущерб занятиям и что мы вряд ли хорошо выдержим экзамены. А вдруг и вправду провалимся? Жестяная Рука назначал повторные таймы, потому что мы плохо тренировались. Одни неприятности! И надо образумить Зе Колпака, запретить ему разыгрывать кинофильмы! А некоторые сцены из настоящей драмы были известны уже всем! Значит, среди нас есть предатель? Нет. Тогда кто же он? Выяснилось — Алфеу Горбун. Он передвигался с трудом, но умел неслышно подкрадываться по коридорам и лестницам и подслушивал наши репетиции! С ним, однако, нельзя посчитаться даже после спектакля — негритенок таскал для нас булки, шоколад, сладости и другие вкусные вещи из учительской кухни. Значит, надо купить его молчание! Осталось всего три дня. Доктор Пердиган, отчаявшись вдолбить в Зе Колпака роль, велел ему играть молча. У меня разболелся зуб, вдруг флюс делается? Или это от волнения? Еще два дня. Танзан и Жестяная Рука угрожают нам? Ничего, потерпим еще день. Наступил канун праздника — день генеральной репетиции.

«Выше голову! Надо выстоять...» — Доктор Пердиган шагал из угла в угол. Репетиция шла триумфально, с блеском, все знали свои роли отлично, к моему неудовольствию. Выходит, им суфлер не нужен? И тут на нас обрушился гром Юпитера. На пятом акте присутствовал отец настоятель. Сидел недовольный, мрачный. Потом без обиняков заявил: все идет правильно, но слишком гладко, не хватает жизненной правды, естественности... Одним словом, разнес

нас; от огорчения мы даже поглупели. Переделывать что-либо было уже поздно. Доктор Пердиган побледнел до самой бороды: «Господа гимназисты... Ad angustia per angustia...¹ — простонал он. — Пойдемте спать...»

На следующий день, в воскресенье — в тот день! — мы опять репетировали, боже, мы репетировали снова и снова, но — беспокойно, урывками, потому что с утра долго служили мессу, потом пили кофе с бисквитами, потом помогали готовить сцену — будку суфлера выкрасили зеленой краской; потом появились дамы и барышни, принесли нам костюмы — новенькие, аккуратно сложенные... Ходили слухи, будто Танзан и Жестяная Рука бегают по гимназии, собирают сообщников, приводят их в боевую готовность: начали прибывать приглашенные родители, а Танзан и Жестяная Рука решили нас освистать! Доктор Пердиган внезапно занемог — приступ печени и почечная колика — вдруг спектакль отменяют? А в зале уже раздают программы, и Алфеу пришел в новом матросском костюмчике и даже на костылях — мать ради праздника заставила... А внезапно выздоровевший доктор Пердиган явился во всем блеске своей бороды, потом был ранний обед — лимонад с содовой, курица, пирожки, десерт из двух блюд; я почти ничего не ел — не мог, и вдруг... Вдруг он входит, Сурубин, довольный такой, и говорит (я все время боялся, что в последнюю минуту что-нибудь случится, у меня ведь целый день ухо чесалось, будто блоха в нем сидит...)... Стало совсем тихо. Сурубин явился за Атауалпой. В дверях стоял его дядя, он сказал, что отец Атауалпы, депутат, при смерти. Атауалпа должен ехать к нему в Рио-де-Жанейро, поезд отходит через два часа. А театр, а спектакль? Сурубин уже уводит Атауалпу — надо переодеться, собраться. Но спектакль нужно показать обязательно, он же благотворительный. И... только один человек может заменить Атауалпу, знает наизусть все роли, в том числе и роль доктора Фамозо. Этот человек — я! А суфлер как же? Можно не беспокоиться — это возьмет на себя доктор Пердиган. Ну и дела!

Мне радостно — и страшно. Фрак! Зрители! А из-за угла кто это делает мне знаки украдкой? Алфеу: «Хочешь глотнуть?..» — он стащил бутылку джина из учительской кладовой, для храбрости... Я отказался. А остальные? А Эз Колпак? Алфеу что-то прошипел. Впрочем, мне до других

¹ К трудности через трудность (лат.).

дела не было, меня уже одевали, фрак чуть-чуть широковат, ничего, сойдет. Мальчикам не понравилось, что дамы подкрасили нам губы и щеки, подвели глаза — такое не подобает мужчинам! А время идет, в огромном зале нет больше мест — море голов, шумно — люди входят, усаживаются, гул голосов, яркий свет... Доктор Пердиган тоже во фраке. «Мужайтесь!» — произносит он неуверенно. Странное у меня было чувство. Все было не так, как мы ожидали. Будто нас толкают, тащат куда-то, а куда — неизвестно... Меня вытолкнули вперед. И я услышал, увидел — свет, смех, что-то невероятное. Потом — тишина.

Я стою неподвижно, во фраке, на краю сцены, передо мной — люди. Чего от меня хотят, чего ждут? Сзади меня кто-то подтолкнул, время ли теперь шутить? И — ох! Вдруг я увидел в переполненном зале всех, всех: вот они, Танзан, Жестяная Рука, Гамбоа, Сурубин, Алфеу, отец настоятель... И тут я вспомнил нечто ужасное — боже мой, как же раньше никто об этом не подумал? Ведь мы стоим здесь, выстроившись на сцене, потому что перед началом спектакля Атауалпа должен был прочитать стихи в честь Богоматери и Родины. Но я-то этих стихов не знаю! Их знал один Атауалпа, а он теперь далеко, едет с дядей в поезде, его отец при смерти. А я здесь. Я стою неподвижный, бесильный, потерянный, обливаясь то холодным, то жарким потом. Что делать? Я онемел от ужаса.

Время остановилось. Передо мной смеялись тысячи лиц. Оттуда, где сидели учителя, мне делали знаки — знаки-приказы и знаки-вопросы, мне объясняли то, что я уже знал. Но я ничего не могу! Я покачал головой и вывернул карманы, чтобы они поняли, что стихов у меня нет. Они продолжали настаивать. «Дайте занавес», — раздался голос заведующего. Доктор Пердиган в своей дурацкой будке орал что-то громким шепотом. Я снова перестал все это видеть. И я заговорил, вернее, закричал, весь дрожа:

«Да здравствует Богоматери! Да здравствует Родина!»

Буря аплодисментов. «Занавес!» — снова кричит из-за кулис заведующий. Теперь на сцене должны остаться только доктор Фамозо и его четверо сыновей, надо начинать первое действие драмы. «Занавес!» Но занавес не опускался, наверное, там что-то испортилось, в тот вечер он так и не опустился. Произшло замешательство. Никто не уходил со сцены, и все мы снова сделали шаг вперед, будто перенга солдат, вид у нас был, вероятно, глупый. Что тут поднялось! Зал засвистал, зашикал...

Стоял невообразимый шум, буря среди моря голов. Гимназисты ржали, мяукали, ревели, свистели, топали. А мы стояли на сцене. Стояли, как шеренга солдат, бледная и красная от ужаса. «Внимание! Тихо!» — но и учителям не удавалось навести порядок. Доктор Пердиган чуть было не вылез из своей будки, но силы его оставили, и он плюхнулся на прежнее место. А мы все стоим, а они беснуются, и вдруг — тишина. И снова свист. А мы стоим. «Зэ Колпак!» — закричали наши мучители, перекрывая шум. «Зэ Колпак!» — кричали они, пользуясь мгновениями затишья. «Зэ Колпак!» Вот оно что.

Зэ Колпак выскочил вперед, потом отпрыгнул в сторону. Но это было не бессмысленное кривлянье, не озорство, нет — Зэ Колпак начал играть!

Шума как не бывало.

Зэ Колпак вел свою роль удивительно четко, уверенно, ладно и складно, знал ее назубок. Это была очень важная роль, но мы не понимали, какая. Нам было не до смеха. Очень уж здорово у него получалось. И вдруг нас словно бы озарило — он представляет историю, выдуманную Гамбоа! Раздались аплодисменты.

Какой позор! Меня бросило в жар от стыда и обиды. Других, наверное, тоже. Это надо пресечь! Мы переглянулись и начали представлять свою, сочиненную нами историю. Зэ Колпак тоже. Неожиданно все это вышло. Прямо упоение какое-то, наитие. Мы вдохновенно импровизировали. И снова — аплодисменты.

Вначале у нас получалось довольно бессмысленно — не понять, что к чему, сплошные загадки. Доктор Пердиган выходил из себя, хрипел нам свои нудные реплики, но мы редко их повторяли. Мы весело перебрасывались серьезно-лукавыми фразами — дух захватывало. Я сам не знал, что сейчас скажу, а говорил — и хорошо выходило, не выпадало из общего тона.

После толковали, будто получилась у нас прекрасная современная драма, проникновенная, захватывающая, никому не известная, необычная, никем не написанная, неповторимая, созданная и сыгранная один-единственный раз. Я видел — зрители сидели словно замороженные, стояла абсолютная тишина. И все мы будто стали другими, переродились. Доктор Пердиган, похоже, окаменел от ужаса в своей будке.

Сурубин и Алфеу кричали: «Бис!» Даже отец настоятель улыбался блаженной улыбкой рождественского Деда

Мороза. И все мы — главные и второстепенные актеры, и простые статисты — перевоплотились на сцене, играли с поразительной естественностью, охваченные единым порывом, нет, не играли — жили полнокровной жизнью. И лучше всех — кто бы вы думали? Конечно же, Зэ Колпак! Он просто блистал, он был душой представления. Успех пришел неизвестно откуда, неизвестно как. Но он пришел, потом мне кто-то в этом поклялся!

Но — вдруг — мне стало страшно! Я как бы очнулся, начал выходить из состояния транса. Ведь то, что мы играем, не имеет ни конца, ни начала! А кончить-то как-то надо? Но как? Я с усилием стряхивал с себя колдовской угар. Но я не мог снова обрести полную власть над собой, вырваться из волшебного круга. Нам снова и снова хлопали. И я понял — каждый из нас перестал быть собой, мы жили теперь не своей, а выдуманной, созданной нами же жизнью! А может быть, это и есть настоящая жизнь? Было хорошо, было даже слишком хорошо, мы словно летели, подхваченные словами — теми, что слышали, и теми, что говорили. Но как же все это закончить?

И я почувствовал, что есть только один выход, один способ прервать, разорвать, разомкнуть колдовское кольцо, наваждение, движение по кругу, не имеющее конца. Не переставая играть, я вышел вперед, к самому краю. Я глянул — и дрогнул. Я зашатался, я сделал вид, что споткнулся. И я сорвался, упал, полетел вниз.

Настал конец света.

По крайней мере, в тот вечер.

На другой день я, целый, невредимый и торжествующий, встретился на переменке с Гамбоа. Он подошел, сказал: «Ну, как? Моя-то история и есть самая настоящая!» Мы набросились друг на друга, и началась драка.

Три погонщика и бык, которого они выдумали

Сидели они как-то вечером у загона, отдыхали. Жерево, Ньюэ и Желазо, трое смельчаков погонщиков. Двое сидели на корточках друг против друга, а третий, Ньюэ, поодаль, в зарослях колючих кустарников. Наслаждались они ветерком, слегка шелестевшим в листве, и покоем.

Тут кто-то из них нарушил молчание: «Бык...» — предвечерний час располагал к воспоминаниям, выдумкам; неожиданно сказанное слово становилось осязаемым, зримым. «Бродячий...» — сказал второй погонщик о каком-то существовавшем или несуществовавшем быке. «Большущий», — подхватил первый. «Семь лет бродил...» — продолжал второй: каждый говорил свое, а тут из зарослей послышалось:

«Какой?» — Ньюэ желал знать подробности.

«Бурый», — заявил Желазо. «... с отливом», — уточнил Жерево. Пospорили о масти и вот в чем сошлись: был он иззелено-серый, в темных разводах, «миртовый», по выражению Желазо, «совиный», как говорил Жерево, пернамбуканец¹. Мужчины расхохотались, потом вновь стало слышно, как бегают ящерицы.

¹ Пернамбуканец — житель штата Пернамбуко на северо-востоке Бразилии.

«А дальше?» — им было забавно выдумывать, лениво отдаться неторопливому течению мысли. От слова к слову рождался облик быка: мохнатый, глаза горят, рога загнуты книзу, голос грозный: ревет — страх берет, а уж огромен — на пастбище не помещается.

Бык, можно сказать, возник перед ними, как живой, и Ньюэ захотелось уйти отсюда, вместе с выдуманным быком в нем проснулся страх перед чем-то, что может и вправду случиться: он-то знал, что Желазю путается с женой Жерево, и нехорошее предчувствие его томило.

Потом, в делах, в заботах, среди других погонщиков они забывали о глупой выдумке. А вот управившись со скотом, к вечеру, в часы, когда начинается похвальба геройством, Жерево и Желазю принимались рассказывать о быке, необыкновенном, никому не ведомом — только они трое его и видели, вступали с ним в борьбу, мерялись силами.

Если кто-то и слышал о чем-то подобном, то уж никто никогда не видал такого, вранье это, пустые бредни, смех один — шума особенного не выходило. Но Ньюэ видел, знал, его не обманешь; он тревожился, сам он тоже не прочь был опять жениться, а теперь засомневался, вон у женатых-то что случается, прямо беда.

При нем в споры не пускались, раз только намекнул кто-то, что это, дескать, наваждение, привидение, рогатый призрак — в это можно поверить, в безлюдных сертанах ветер и не такое навеет. Ньюэ лишь плечами пожимал, ну, ему лучше знать. Он и насчет богача Кейроша сомневался, хозяина Щегловой фазенды, что в Верхнем Урукубá.

Все же троих друзей выдумка эта все больше и больше связывала. Старались они и скот пасти, и отдыхать вместе, отдельно от других, и в засуху, и в период дождей. У Жерево была своя хижина, его жена готовила пеки с рисом, простая была, приветливая, не очень, правда, красивая, волосы красным платком повязывала; от нее они диковинные новости узнавали: за морем страшная война идет, скоро туда на пароходах наших парней повезут... И во всем этом Ньюэ сомневался, недоверчивый он был, ничего никогда на веру не принимал. Мало ли что люди болтают.

«Эй, бык, выходи! — насмехалась она над их сокровенной тайной, дразнила: — Дурной у вас бык». Желазю спорил, отрекался от вздорных слухов, остальные двое переглядывались, хмурились, не одобряли его. Потом Жере-

во и Желазлио пускались в воспоминания о детстве, о матерях и родных местах — Ньюэ не слова их слушал, а мысли. В глубине-то у нас чего только нет, и лишь не ведая, что у кого на душе, можем мы друг с другом в мире и согласии жить.

Жену Жерево доконала лихорадка, трое друзей шли с кладбища тоскливым дождливым вечером, все в грязи, уставшие, не до выпивки им было, не до надежд. Только о быке могли они думать, только о нем вспоминать. И не о самом быке, а вот — как сидели они у края пастбища, наслаждались вечерним отдыхом, и вдруг появился бык, из ничего появился, из пустого ничемного разговора счастливых людей. Вот о чем они думали, а не обо всей этой истории, кто старое помянет, тому глаз вон.

Потом и Желазлио помер от почек, раздулся весь и дух испустил. «Копытом он, видать, меня стукнул», — смеялся, вместо предсмертных признаний. Ньюэ и Жерево тоже смеялись, не оставлял их бык, — бедами давал о себе знать. А жизнь помаленьку шла, и плохое перемежалось с хорошим.

Когда на скот мор напал и нигде спасенья от него не было, Жерево заявил о своем решении: уйдет он отсюда в дальние края, где людям за работу платят получше. Ньюэ идти с ним не захотел, не нужны ему другие места, ему память дорога о том дне, когда они, трое, под дождем, в грязи утешали друг друга в общем горе.

Время у нас быстро идет, скоро все бородой обрастает. Фазендейро рехнулся, чуть всех не поубивал — жену, детей, собак, кошек. Да и богачом он, оказывается, не был. В народе говорили — от солнца его чудачества, от солнечного затмения. Было тут у нас затмение — даже иностранцы к нам тогда приезжали, откуда-то из Вокайувы. Теперь одни женщины, одетые в траур, распоряжаются в Щегловой фазенде.

Ньюэ переменился, однако неряхой не стал, содержал себя в порядке. А вот легкость в движениях потерял. Сгорбился. Силы в руках не осталось — одни мозоли от лассо. А старому в пастухах делать нечего. Горько ему было видеть дым от чужих очагов. У всех пристанище есть, где дни последние скоротать. И решил он вернуться в родные места.

Попрощался, побрел в туманную даль. Кто знает, что его ждет, может, и при живых родичах милостыню просить придется. По дороге зашел он как-то к вечеру в незнако-

мую фазенду, а там пастухи-погонщики сидят под деревьями. «Садись с нами!» — приглашают. «Я вам истинную правду поведаю...» — разные истории на разные голоса рассказывают. Чего только в вечерний час у огня не услышишь... Снова тоска его забрала. Но после задремал он, словами их убаюканный. Проснулся, а погонщики говорят об одном необыкновенном быке. Сероватом, в разводах, неукротимом, отчаянном, который из всех передряг, из всех схваток победителем выходил, давным-давно это было, но не меркнет его слава в бескрайних степях. Ньюэ молча слушал. А бык тот родился то ли с золотыми рогами, то ли с хрустальными, ревет — страх берет, а мастью серый в яблоках, словно лошадь. Никто не мог его одолеть, Быка Страшил. Только троим смельчакам погонщикам удалось его в конце концов заарканить...

Уверенно откашлялся старый Ньюэ, вздохнул с облегчением. Радовался он — мир необъятен. Он тут теперь до конца останется, здесь — последняя его остановка, надежный приют среди огромной бесприютной пустыни.

Усадьба, которая пила пиво

Деревья вокруг дома росли большие, раскидистые, темно было, как в лесу, ничего не видно — ни в одной другой усадьбе такого не встретишь. Хозяин-то был иностранец. Матушка рассказывала, появился он в наших краях после испанской войны, запуганный такой, всего боялся, и купил эту заросшую усадьбу. А из дома, из любого окна далеко вокруг видно — вот он и караулил, ни днем, ни ночью не выпускал винтовки из рук. Тогда он еще таким толстяком не был, это он потом разжирел — смотреть противно. Болтали, мол, дрянь всякую ест — улиток, лягушек. О салате и говорить нечего — целыми охапками его уничтожал, в миску накрошит, водой польет, и готово. Обедал и ужинал всегда на виду, на пороге, поставит миску прямо на землю, между толстыми своими ногами, и ест. А вот мясо всегда употреблял хорошее, первосортное, вареную говядину. И еще — на пиво большие деньги тратил, но как он его пьет — никто никогда не видел. Иду я, бывало, мимо, а он просит: «Иривалини, bambino¹, принеси пивка, лошадка хочет...»

¹ Мальчик (ит.).

Я с расспросами не лез, не мое это дело, когда принесу, когда и нет. Он мне деньги давал, благодарил. Но все равно — не любил я его. Он даже имени моего правильно выговорить не мог. А я ни пренебрежения, ни обиды никому не прощаю.

Кроме нас с матушкой, мимо его ворот никто не ходил, а нам так до мостика через ручей ближе было. «Не трогай его, он на войне горя хлебнул», — увещевала меня матушка. А он завел целую свору громадных псов — охранять усадьбу. Одного, самого безобразного, он, видно, не любил, обращался с ним худо, и пес его боялся. От себя он его, однако, не отпускал, а уж кличку ему выдумал — язык сломает: «Муссулино». Меня все это бесило. Почему, скажите на милость, такой человек, жирный, пузатый, уродливый, сопливый, да еще иностранец, и деньги имеет, и положение, и добрую землю нашу купил, а нас, честных христиан, даже и не уважает совсем, и еще пиво дюжинами заказывает, и для кого — для лошади! Лошадей у него было не то три, не то четыре, зря держал, никогда на них верхом не ездил. Он и ходил-то с трудом. Гад! Целыми днями сигары курил, маленькие такие, вонючие, жевал их, сосал — смотреть тошно.

Ух, трепку бы ему хорошую! Соседям не доверял, дом у него вечно был на запоре, думал, одни воры кругом. Правда, матушке моей он уважение оказывал, даже вроде ее любил. Но я ему спуска все равно не давал, меня не купишь. Когда матушка тяжело заболела, он денег предложил на лекарства. Я взял — я не дурак от денег отказываться. Но благодарить не благодарил. Пусть богатый иностранец раскошеливается. Не принесли, правда, пользы его денежки — ушла моя матушка в лучший мир. Он и похороны оплатил. А потом и спрашивает, не согласусь ли я у него работать. Я его понял прекрасно. Он знал, что я человек бесстрашный, никому не уступлю, что в наших краях меня побаиваются. Ему, видно, хотелось и днем, и ночью под моей защитой быть — очень он все чего-то опасался. Он мне и работы не поручал никакой, лишь бы я никуда не отлучался и все время торчал в усадьбе — ну, само собой при оружии. Я только за покупками для него ходил. «Пива, Иривалини. Лошадка хочет...» — просил он совершенно серьезно, но по-нашему выговаривал плохо, будто каша у него во рту. И все имя мое коверкал. Ничего, я ему еще покажу.

Очень уж его осторожность меня удивляла. Дом, боль-

шой, старинный, вечно был на запоре, а сам хозяин даже стряпал во дворе, внутрь почти не ходил, разве что спать или пиво отнести («ха, ха, ха») лошадке. Я про себя грозился: «Погоди, гад, лопнет мое терпение, я за тебя возьмусь, а там — будь что будет!»

Надо бы мне пойти да добрым людям рассказать, что тут за чертовщина происходит, подозрениями своими поделиться, да вот беда — говорить я не мастер. А тем временем и те двое приехали.

Двое придурковатых таких, из столицы. Меня к ним сеу Присилио вызвал, помощник комиссара полиции. «Рейвалино Белармино,— говорит он мне,— перед вами — представители власти, им можно довериться». А те двое отвели меня в сторону и стали выспрашивать. Все досконально хотели о нем узнать, всю подноготную. Я их слушал-слушал, поддакивал, а сам-то ничего путного им не сказал. Рожи мне ихние не понравились, сразу видать — подлецы и обманщики. Ну, заплатили они мне неплохо. А главный, тот, что подперев щеку сидел, добавил: хозяин мой — человек очень опасный, неужели он действительно совершенно один живет? И приказал мне высмотреть, при первом удобном случае, нет ли у него на щиколотке старого рубца от кандалов, как у злодея, из тюрьмы сбежавшего. Ладно, я сказал, посмотрю.

Это он мне-то опасен? Ха-ха. Может, в молодости он и был человеком, не спорю. А сейчас, пузатый, обленившийся, разжиревший, он только и знает, что пиво заказывать — для лошадки. Свинья. Мне-то что, я пива не люблю, а любил бы — сам бы себе и покупал или у него же попросил — попробуй он отказать. Он, по его словам, тоже до пива не охотник. И верно. Он салат трескает с мясом, польет оливковым маслом, жует, пена изо рта — смотреть тошно. В последнее время он тревожный какой-то сделался — может, прознал о приезде тех двоих? Следа от цепей у него на ноге я не усмотрел — честно говоря, и высматривать не пытался. Что я им, паршивым ищейкам, служить, что ли, нанялся? Но мне и самому до чертиков хотелось хоть в щелочку подглядеть — что там у него, в самом деле, в его вечно запертом доме. Псы к тому времени уже привыкли ко мне, признали за своего. Кажется, сеу Джиованни догадался о моем намерении. Однажды, к моему удивлению, он меня позвал — и отомкнул дверь. В доме воздух был тяжелый, затхлый, оказались мы в большой пустой комнате. Он дал мне все осмотреть, все, что я хотел,

ходил со мной и по другим комнатам. И только потом, уже выйдя, я спохватился: там же еще чуланы есть... Дом-то большой, закутки разные, закоулки... За одной из этих дверей вроде бы притаилось что-то живое — или мне это почудилось? Думал он перехитрить меня, вокруг пальца обвести... Не на такого напал!

Потом пошли слухи, будто бы по ночам конский топот слышится — какой-то всадник скачет от самых наших ворот. Кто бы это мог быть? Может, это мой хозяин, чтобы меня запугать? Чтобы я подумал, будто он — оборотень! Одного я только никак не мог в толк взять, что же, у него, значит, в доме еще одна лошадь спрятана?

И снова, во второй раз на неделе, меня сеу Присилио вызвал. Опять те ищейки приехали. Я начала их разговора не слышал, но один из них вроде работал в каком-то «Консульстве». Ну, тут уж я им все, что знал, со всеми подробностями выложил — мстил хозяину. Приезжие пристали к сеу Присилио прямо с ножом к горлу. Они, дескать, в тени останутся, пусть он один идет. И опять мне денег дали.

Я вернулся к хозяину, притворился, будто я тут совсем ни при чем. Является сеу Присилио и спрашивает: что это за история такая, что это за лошадь, которая пиво пьет? Настаивает, чтобы хозяин все ему выложил. Тот был какой-то вялый, усталый, все лениво так головой покачивал, носом своим простуженным шмыгал — пока сигару до конца не выкурил; будто все это его не трогало. Поскреб в затылке, спросил: «Хотите своими глазами видеть, синьоре?» Вышел, принес корзину, полную бутылок с пивом, откупорил их, вылил в ведро — пена через край пошла. Потом велел мне привести коня, красавца светло-гнедой масти. А конь-то — представляете себе — обрадовался, уши прижал, ноздри раздул, к ведру тянется, облизывается... и шумно, с фырканием, выпил все пиво до дна. Привычен был, бестия, видать, часто этим лакомился! Когда это он успел его приучить? А конь-то еще пива просит... Сеу Присилио, пристыженный, извинился и ушел восвояси. Хозяин присвистнул, глянул на меня: «Иривалини, времена меняются к худшему! Держи оружие наготове!» Я кивнул, улыбнулся — хитрый он дядька. И все-таки я его не любил.

И когда те двое снова стали меня выспрашивать, я им рассказал о своих подозрениях — мол, есть, есть там еще что-то в задних комнатах. На этот раз сеу Присилио явил-

ся с солдатом. Сказал, что хочет обыскать весь дом, именем закона! Сеу Джиованио спокойно закурил другую сигару, ничем его не проймешь. Отопнул он двери, вошли сеу Присилио с солдатом, я тоже вошел. Они сразу направились к самому дальнему запертому чулану, а там — виданное ли дело! Там стояло чучело — огромного белого коня! Да какой был красавец конь, чисто-белый, голова квадратная, гривастый, крутобокий — прямо конь святого Георгия! Как же они ухитрились его сделать и незаметно сюда доставить? Сеу Присилио удивлен был, разочарован. На всякий случай он коня ощупал, выстукал — нет ли в нем пустоты какой, тайника. Сеу Джиованио, когда мы с ним вдвоем остались, принялся жевать сигару. «Иривалини, мы с тобой пива не пьем, а жаль...» Я кивнул, и захотелось мне все ему начистоту про приезжих рассказать.

Сеу Присилио и те, двое, видно, успокоились. А я нет. Надо было весь дом обыскать, все комнаты. Но подсказывать я им не собирался, я им не слуга, не ищейка. А сеу Джиованио все рассуждал со мной — нашла на него тоска: «Иривалини, ессо ¹ жизнь brutta ², люди — дьяболи...» О белом коне я не стал его расспрашивать, и так ясно, на войне его любимого коня убили... «Но, Иривалини, мила нам все-таки жизнь...» Он хотел, чтобы я с ним пообедал, но я отказался — вечно у него из носа течет и сигарами от него воняет. Страшное это дело — такому человеку служить и виду не подавать, что тебя тошнит от него. Ну, отправился я прямым ходом к сеу Присилио, заявил, хватит с меня, не желаю больше быть соглядатаем, вести двойную игру! Если те двое еще сунутся, я им все кости перелломаю, пусть убиваются, пока целы, у нас тут — Бразилия, а они — паршивые иностранцы... Я и с холодным, и с огнестрельным оружием здорово управляюсь, сеу Присилио это знал. Но мы не знали, что нас еще ожидает.

Однажды сеу Джиованио позвал меня и настезь распахнул двери дома. В большой комнате на полу лежало мертвое тело, покрытое простыней: «Это Жозепе, брат мой», — сказал он как-то растерянно. Распорядился позвать священника, и чтобы в церкви колокола звонили по усопшему. Никто и понятия не имел, что у него был брат, что он вечно взаперти его держал, от глаз людских прятал. А по-

¹ Вот (ит.).

² Плохая (ит.).

хороны устроил, что надо, с размахом. Показал себя сеу Джиованио.

Но еще до похорон пришел сеу Присилио, думаю, те двое хорошие деньги ему посулили, и велел откинуть простыню, чтобы осмотреть труп. И тут мы увидели что-то ужасное: у покойника не было лица: ни щек, ни носа, ничего — одни сплошные рубцы и белые лицевые кости, так что видно было горло и связки... «Вот что делает война!» — сказал сеу Джиованио и застыл с открытым ртом, словно дурачок.

Теперь я твердо решил уехать, не мог я больше оставаться в этой проклятой усадьбе под темными деревьями. Сеу Джиованио сидел, как всегда, на пороге, он как-то сразу одряхлел, верно, с горя. Но продолжал есть из миски говядину с салатом и шмыгать носом. «Иривалини... жизнь... понимаешь?» — спрашивал он своим певучим голосом. А у самого глаза красные. «Угу», — буркнул я. На прощание я с ним не обнимался — и не потому что он был мне противен, а прослезиться боялся. И тогда — глупей ничего не мог придумать — он взял и открыл бутылку с пенистым пивом. «Выпьем, Иривалини, бамбино». Я согласился. Много мы в тот день выпили пива. Успокоившись немного, он попросил меня взять с собой гнедого коня — выпивоху и безобразного тощего пса Муссулино.

Больше я никогда не видал хозяина. А потом узнал, что он умер, а усадьбу завещал мне. Я велел памятники на могилах поставить, мессы отслужить за упокой и его, и его брата, и моей матушки. А усадьбу велел продать, но раньше срубить деревья и закопать вещи, которые были в запертой комнате.

Я никогда туда не вернулся. Не забыть мне того страшного дня. Вспоминаю, как мы сидим, пиво пьем, и чудится мне, вот сейчас они тут появятся — гнедой со звездой во лбу, или белый конь святого Георгия, или несчастный изуродованный брат. Бред это, никого из них там не было. Я, Рейвалино Белармино, *carisco*¹. Я все оставшиеся бутылки выпил — будто и раньше я один все пиво здесь выпивал. Еще один обман, напоследок.

¹ Я понимаю (ит.).

Мы с молодым пастухом Дай-Дай и старым пастухом Ньясио скакали во весь опор, торопились в Камбаубу, — там ручей, пастбища, летают птицы сай-шэ, шешеу, а с сентября по май — белая мария (я назвал бы ее «сказочная мария»), и целый год поет в тех местах пататива, серенькая полевая фея.

На бескрайних ровных лугах заросли капаррозы представляют феерическое зрелище. Мы скакали, продираясь сквозь пышную высокую зелень, шумно сокрушая ее, вдыхая пряный аромат выступавшего на сломках сока. Над нами — солнечное утреннее небо, льются потоки света, громоздятся облака, лошади мчатся, разбрызгивая жемчуг росы. Мы сытно позавтракали и чувствовали себя прекрасно. Утро захватывало, манило вдаль.

«Ии, шэ, добрый галоп», — хвалился Ньясио, шоколадный кафуз¹ в узкой кожаной куртке, которую словно когтями царапали концы длинных ветвей.

«Ии, ээ, аа! Жить, так жить!» — вторил ему Дай-Дай, подстегивая своего серого. Оба они из этих мест. Дай-

¹ Кафуз — метис от брака мулатки и негра или негрятянки и пидейца.

Дай — почти мальчик, по виду — индеец, он — великолепный наездник. Ньясио, высокий, широкоплечий негр — искусный следопыт, смельчак. Весело с ними, лучших провожатых не сыскать.

Лошади бежали легко, будто взлетая на облака, с которых потом приходится падать. Густые заросли расступились, и изумленному взору открылась зеркальная гладь озера, обрамленная пальмами. Кажется, все тут застыло в первозданной неприкосновенности. А утро дышит, словно живое. Вокруг — непролазные заросли, только по самому берегу идет узкая бычья тропа. Все залито ясным прозрачным светом. Вода спит, как женщина. Тут он и появился — выскочил из высокой травы. Весь черный — цвета плотного черно-матового сукна. Ужас! Лошади насторожились. Огромный бык опустил непомерно, неестественно тяжелую голову, загривок — словно гора, рога — два серпа, бока ходуном ходят! Чудовище! Каменная бычья морда дернулась в нашу сторону, сухие ноздри зашевелились, втягивая воздух со свистом, — мы телом, ногами почувствовали, как дрожат наши лошади. Глаза его — мрак и блеск, словно прорези маски. Древний, как мир, бык-душегуб. Он стоял неподвижно, придвинувшись к нам вплотную, заслонив от нас мир. Мы затаили дыхание, оцепенели, словно в параличе. Лошади от страха храпят, как человек во сне. Чудовище опустило рога, развернулось — и бык пошел прочь, вдавливая глубокие следы в болотистую, топкую землю, тяжелый, неповоротливый. И принялся неторопливо, со вкусом пить озерную воду. Безобидная громадина. И снова исчез — скрылся в зарослях.

Лошади сердито зафыркали и взяли вправо, теперь мы продвигались вперед с опаской, озираясь по сторонам, осторожно отводя ветви, нам было неудобно, зябко.

У Ньясио взмокла шея, дрожали скулы. Пастушонок Дай-Дай закрывал лицо рукой — утешался, видать, манишкой с сахаром. Всех нас охватило какое-то неясное беспокойство.

Дай-Дай заколебался, не решаясь первым проехать по краю обрыва. Ньясио выпрямился в седле, ругнулся: «Ишэ, пора и похрабрее быть!» Он почему-то вдруг стал заикаться, впрочем понятно, почему. Солнце казалось менее ярким. Отовсюду смотрели невидимые глаза.

Где-то там — бык, в воображении он еще страшнее, чем наяву — чудовище в квадрате, сверхъестественно черное, каменно-беспощадное. Тайная, лишенная формы и содер-

жания опасность страшнее реальной опасности. Видимое небо совсем не такое ослепительно голубое, как то, которое представляется нам в мечтах.

Теперь мы ехали по холмам — отсюда далеко видны были леса и прятавшаяся в них речка. Мы невольно сделали крюк, порядочно отделились от прямого пути. Даже пейзаж теперь был другим, неприветливым — беспорядочно торчали деревья, обманчивой казалась неподвижность трав, во всем — какая-то настороженность.

Мысль о быке витала над нами, подавляла нас — темная, как будущее, как дурное воспоминание. Дай-Дай то-ненько посвистывал, подражая пению птиц в клетке. Ньясио бросил свои шутки и прибаутки, ехал в тяжелом молчании. Бык блуждал где-то рядом, в любой миг он мог опять появиться.

Трава стала сочнее — недалеко река, от нее то повеет свежестью, то донесется плеск. Быки, почуяв запах воды, начинают реветь, особенно когда дует западный ветер.

Сбил он нас с толку, запугал, запутал, незримо преследует нас, не оставляет в покое.

Бык?

Старый Ньясио дивится, оттопырив толстую, как у всех негров племени Йоруба, губу: «Это же был смирный маруа, трусливый, грош ему цена! Увидал людей перед самым своим носом, перепугался — и удирать, дурак! Совсем дурак!» — проговорил он с трудом, давась от смеха.

Он нам ничего плохого не сделал, никакой порчи на нас не навел, хоть и черный. Мирное чудовище. Откуда же тогда этот страх? Уж очень темен этот наш земной мир, хоть солнце и старается убедить нас в обратном. Наша усталость становилась все ощутимее, а наши тени — короче. И мы прибавили шагу.

Старый кафуз Ньясио был женат. Родился он где-то в Верде-Гранде. Имел детей, племянников, внуков. Пастушок Дай-Дай тоже из его рода.

«Дядя Ньясио, ты больше не слыхал о том человеке, который убил моего отца?» — спросил он дрогнувшим голосом.

Старик подтянул подпругу у своего гнедого: «Нет, пока что. Думаю, его тоже прикончили, безнаказанным никто не останется. Камни вопиют...»

Пролетают стаи попугаев, турпанов.

Ньясио закашлялся, остановился. «Не гожусь я больше для дела, вот что. Силы не те...» — ворчит он, тоска приходит, обнявшись со старостью.

Пастух Дай-Дай покачивает головой.

Мы все-таки добрались до ранчо — приют, крыша над головой, отдых. Хорошо улечься в гамак у огонька, поболтать о том о сем, выпить. Блаженно позевывать. Так-то.

Прибрежье

Река в этом месте широкая, бурная, и никто не отваживался переправляться через нее. Люди в Маррикейро жили, повернувшись к реке спиной, и не было им дела до другого берега, который терялся вдали в туманной дымке. Радости их и заботы, дела и знакомства — все здесь; ездили в город, в поселок, друг другу в гости, куда поближе. Отец, Жоан да Арейя, многих знал в округе, оседлает, бывало, мула, и до свидания. Сын, Лиолиандро, чувствовал себя лучше, свободнее во время частых отлучек отца. Сам он не любил уезжать, работал с утра до ночи. И только он, один он подолгу смотрел в сторону противоположного берега — будто тайну какую-то хотел разгадать.

У него были сестры, кто-то должен о них позаботиться. «Помру я от этих забот», — говорил отец, размахивая перед Лиолиандро горящим концом самокрутки. И действительно умер. Мать, невзрачная, замученная, сказала тогда сыну, тыча пальцем ему прямо в лицо: «Теперь ты хозяин!» — таким тоном, будто хотела выместить на нем все жизненные обиды.

Задумался Лиолиандро: можно землю продать, уехать... Он смотрел на бескрайнюю ширь реки, на невидимый дальний берег. Но в ушах у него звучали слова отца: «Больше

нигде такого отборного риса не соберешь...» И он смирился с горькой неизбежностью.

Сестры выросли — миловидные, бойкие, у старших уже и женихи на примете. Но не был близок с ними Лиолиандро, и не потому, чтобы не любил их, а не умел он любовь свою высказать. Он все уходил на реку, плавал, далеко-далеко заплывал, даже ночью, в предрассветном тумане.

— И куда тебя черти носят! — бранилась мать, вечно копошившаяся, словно большой муравей. Лиолиандро в глубине души понимал ее. И дал себе слово: сам не женится, пока всех сестер не устроит. «Это — твой долг», — сухо сказала мать. Радоваться было нечему, да что поделаешь?

В один прекрасный день волнами прибило к берегу пустую лодку. Издалека, видать, приплыла, вся была дырявая. Лиолиандро лодку спрятал и принялся потихоньку чинить ее в свободные минутки. И название дал ей «Алвара». С ней связывал он свои затаенные от всех мечты.

А мечтал он пересечь реку, на другой мир взглянуть. Слышал он, на том берегу тоже поселки есть: Азенс, Деза-толейро, Обменная фазенда. Он уже и весла сделал.

Никто реку в этих местах пересечь не осмеливался, несудоходная она здесь, быстрая, хоть и широкая, порогами перегорожена, вода среди них, как в котле, кипит. Только за несколько легуа отсюда, у выхода на шоссе Пассо-до-Контрато, есть на реке переправа. Но все равно никто никогда не приходил с другого берега. «Там уже не Минас-Жерайс», — говорил отец, когда еще был жив.

Две старшие сестры выходили замуж, был праздник, но Лиолиандро не умел танцевать. Приехавшая с гостями озорная девчонка плясала, смеялась, поглядывая на него, вроде бы похожая на других и непохожая... Но Лиолиандро ушел, сидел один на берегу — река в темноте казалась особенно полноводной, опасной и затаившейся, как ягуариха.

Алвара, так звали девчонку, подошла, поздоровалась, спросила: «А у тебя и лодочка есть, ты нас покатаешь?»

Он не ответил ей. Он смотрел в сторону того берега, где горел сильный, странный свет, люди говорили — электрический. Завидовали. Лиолиандро смотрел и думал, что рано ему еще семьей обзаводиться.

Тем временем цапли вывели птенцов в гнездах высоко на деревьях. И захотелось Лиолиандро спустить свою лодочку на воду, попробовать ее на веслах. День он выбрал

воскресный, когда от работы оторваться не грех. Может, он вообще ни на что не годен, как про него старик отец говорил, Жоан да Арейа. На родном берегу его не очень-то жаловали.

А вот на том, другом, верно, найдет он себе девушку — она ждет его не дождется, и любовь ее будет сладка, как пчелиный мед... На реке все виднее — все людские заблуждения, все ошибки, она — как судьба. На самой середине островок, поросший травой, за ним — еще один, большой, обрывистый, лесистый.

Потом и Лика, младшая сестренка, невестой стала. И Алвара — не забыл ее Лиолиандро — опять приехала, на целый месяц, помочь готовиться к свадьбе. Она напевала, ее руки мелькали в прозрачном воздухе. И не оставляло Лиолиандро неясное беспокойство.

Тогда-то он и совершил свой подвиг. Ну, и переполох поднялся! Все думали — утонул... Он исчез за островами, за перекатами, среди кипящих вод. На другой только день вернулся, усталый, выбившийся из сил.

— Ну, что там? — спрашивали его. А ничего. Поселки, правда, подальше от берега стоят, у воды никто не живет из страха перед болезнью, болотной лихорадкой. Что ж, он, значит, за лихорадкой туда таскался? — Да нет. Но стал он еще задумчивей; все вспоминал — месяц, звезды по всему небу рассыпаны, а внизу — нескончаемые луга... И прибрежный песок блестит, словно молотое стекло.

А сердце все покоя не находило. Лиолиандро по-прежнему искал одиночества. Что-то мучало его.

Алвара во время праздника несколько раз вопрошающе поднимала на него большие, влажные, ласковые глаза, но Лиолиандро стоял в стороне. И она тоже отошла в сторону. «Я не танцую!» — отказывала всем, кто ее приглашал.

Да ему-то что. Не может он ей понравиться. Это она ради другого кого-нибудь, многие на нее заглядываются на веселом празднике. Не принес ему счастья переезд через реку, лучше бы ему совсем пропасть, никогда сюда не возвращаться.

Наутро он и не посмотрел, что руки у него все в ссадинах; что река вздулась, стала грозной, неузнаваемой. Он не слушал, что ему говорили, не слышал проклятий доведенной до отчаяния матери. Он уже вошел в реку, не пугает его несущийся как стрела поток, он снова поплывет, прощайте, он уплывает навсегда.

Перед ним острова, за ними — гремящие перекааты, а там — конец пути, песчаное побережье, тихая пристань. Там его ждет любовь. Вперед, только не дрогнуть, нужно собрать все силы. «Река эта не по мне», — говорил отец, Жоан да Арейя. Лиолиандро тряхнул волосами, рассмеялся, сплюнул.

И вдруг он обернулся — кто-то звал его по имени. Среди ревущих волн, уже подхватывающих его, он обернулся — мать и Алвара бежали к нему и звали его.

Мать рыдала, забыв о недавних проклятиях. Рядом с ней Алвара, избранница его сердца, то бледнела, то вспыхивала. «Что ты задумал?!» — руки матери гладили его тело.

Девушка смотрела ему прямо в глаза — «там все точно такое же, как здесь...». Лиолиандро слушал и не слышал, боясь поверить.

«Я оттуда, я там родилась», — без смущения и без страха сказала она. И он понял ее, любимую, понял до конца: «Я тоже с другого берега...»

Королевий Брод

Как умру, схороните меня на равнине,
на земле моей милой;
пусть она мне будет могилой:
я устал от войны постылой...

Рослый незнакомец въехал в поселок — издалека, судя по виду, из самой что ни есть глуши, с северо-востока, — захромавшего рыжего коня он вел под уздцы, тяжело ступая по песку. Все в незнакомце — огромные усищи, бурая одежда, грубые башмаки из кожи тапира, широкополая шляпа — выглядело смешным и диким. Он облегченно вздохнул и глуповато осклабился, увидев домишки, улочку — достойный результат человеческой изобретательности. Ему было явно не по себе, словно он чего-то стеснялся — все сразу это заметили; видно, на душе у него неспокойно.

Едва вступив в поселок, необычный странник постучался в первую же дверь. Попросил за плату еду и ночлег, о себе ничего не сказал, кроме того, что зовут его — Жеремоаво. Попал он в дом к Доменье, хозяйке местного пансиона. А незнакомец вдруг зашатался, осел, ноги у него подкосились, согнулись в коленках, как у саранчи, в глазах — тревога.

Ему оказали помощь, он на ногах не держался — видать, скрутила его обычная болезнь путников, колика. В таком случае он не скоро отсюда выберется. А попал он в маленький прибрежный поселок, населения душ пятьсот, не больше, кучка домиков, за ними — дворы, речная пристань. Поселок Коровий Брод на реке Урукуйа.

Жеремоаво, значит. В своем невеселом нескончаемом странствии он слишком поздно набрел на это пристанище; ноги у него нестерпимо болели, в голове гудело, мысли тошнотворно путались. Все же он надеялся надолго здесь не задерживаться.

Он навсегда оставил предавшую его семью, фазенду Дан, что на Шапада-де-Трас, ушел навсегда после безобразной оскорбительной ссоры. Жена и дети, если только их можно так назвать, вступили против него в гнусный сговор, они ненавидели его, желали ему смерти. Он ушел от них, несчастный и разъяренный. Он оставил им все — пусть подавятся, неблагодарные твари. Только самое ценное взял он с собой — оружие, завернув его в газеты и положив в мешок. Против него — весь мир, никому он не нужен. К черту. Пусть и он будет всем чужой. Сколько зла вокруг, сколько подлости...

Кто-то окликает его по имени. Это Домения принесла ему кружку с лечебным отваром. Хорошо тут, уютно, тихо. И он забылся тяжелым сном.

Он проболел несколько дней, бредил, выкрикивал бесвязные ругательства, все его жалели — видать, желтая лихорадка к нему прицепилась. За ним ухаживали из сострадания, из милосердия, — это приносит душевный покой и разнообразит скучную жизнь. Нищим незнакомец не был — при нем нашли пачку денег и дорогой револьвер. Видимо, человек он честный, состоятельный, достойный всяческого уважения. Раз сеу Ванваэс сказал, значит, так оно и есть. И незнакомца не оставляли вниманием.

Ему стало лучше, он спросил про коня. Вдыхал, ему было неловко за причиненное беспокойство. Домения подносила свечу, всматривалась в его красные, воспаленные глаза, приближая свое лицо к лицу незнакомца.

Жизнь в поселке текла однообразная, пресная, как говядина, которую едят каждый день. И вдруг, неизвестно откуда, неизвестно от кого проник слух — Жеремоаво — опасный бандит! Грабитель и убийца!

Коровий Брод обмер, похолодел, растерялся. Тут надо героем быть, чтоб не струсить. Теперь-то он больной, бес-

помощный, но кто знает? Выздоровеет, войдет в силу и покажет себя. Все — сеу Ванваэс, сеу Абрил, сеу Кордейро, сеу Сипука волновались — что предпринять в столь необычном положении? И порешили: угождать ему еще больше.

Жеремоаво выздоровел, но страшно исхудал и был еще слаб; впрочем, нет худа без добра: болезнь научила его жить, ничего не желая, ни в ком не обманываясь. С отъездом он не торопился, еще пару месяцев пробудет он здесь. Домения его всячески обхаживала: «Счастлив человек, только когда он беззаботен», — приговаривала старая карга.

Сеу Ванваэс как-то, взяв его под руку, повел осматривать Коровий Брод: впереди, насколько глаз хватает, речная ширь, незащищенный поселок к берегу жметя, позади — бескрайний сертан. Сеу Асторжио пригласил Жеремоаво пожить у него. Бандит поблагодарил, тронут был оказанным уважением. Вот как к нему тут относятся. Пусть бы его жена с детьми на это посмотрели, не посмели бы тогда небось его охаивать.

А в поселке тем временем продолжали выдумывать про него всякую всячину. Мол, кровожадный разбойник мучается угрызениями совести, потому он такой неразговорчивый, мрачный, ходит часами один по поселку, аршинными шагами его мерит. А не уезжает он потому, что ждет свою банду, чтобы устроить здесь погром. Его можно вполне за достойного человека принять, он даже симпатию вызывает. Но берегитесь! В любой миг этот безумец способен пустить в ход оружие.

Жеремоаво и вправду часто бродил по поселку, по речным излучинам, от которых веяло дыханием безлюдных просторов. Но недоставало у него духу уйти, снова стать странником, застрял он в Коровьем Броде, — то ли выжидал благоприятной перемены в судьбе, то ли вошел во вкус мирной жизни — но нарушил он порядок своего беспорядочного существования. Однако совсем от своей прежней жизни отказываться не думал. Настанет время — и он уйдет; теперь он перестал вспоминать о жене и детях, даже не проклинал их больше — к чему давать волю горьким мыслям. «У нас тут благодать», — говорила ему Домения, когда они подходили к церкви.

Жеремоаво усмирил свой дух, огляделся. Крест, церковное пение, животворящая речная вода ласково омывает землю. А не переправиться ли ему через реку? Не сбро-

сить ли оцепенение, не возобновить ли прежнюю жизнь бродяги?

Но он все не уходил, а жители продолжали его опасаться и угождали ему все больше. Молча удивлялись — до чего же он на них непохож. Впрочем, кое-кто уже привыкал посматривать на него как на забавного старика. Он бродил неторопливо, вразвалку, будто тапир. Дети побаивались его, но все-таки передразнивали за спиной.

Придумал-таки Коровий Брод, как от него избавиться.

Соблазнили его поехать сетями рыбу ловить — потом, мол, устроим праздник, выпьем. Пригласили Жеремоаво со всем почтением, так что он ничего не заподозрил. И он поехал. На реке, залитой солнцем, было хорошо, как в раю. Сначала Жеремоаво держался солидно. Но потом его удалось напоить, и, мертвецки пьяного, его оставили на другом берегу и положили в тени, под деревом. Рыжего коня потихоньку тоже туда доставили.

К вечеру Жеремоаво проснулся, на душе мутно. Видит — лошадь его, взнузданная, оседланная, к дереву привязанная стоит, и мешок его, и газеты — все тут, да еще и бутылка пива. Все понял Жеремоаво, задумался, погладил бороду. Нет ему другого пути. Ветер в лицо, бурьян стелется, мчится всадник, летит вперед, коня под собой не чуя. Бессемейный скиталец — но эта горечь глубоко в душе тлеет, будто уголья угасающего костра. Но теперь ему нестерпимо жаль расставаться с Коровьим Бродом, рекой, с тихим поселком и его мирными жителями.

А на другом берегу мирные жители, вооружившись до самых зубов, трое суток сидели, окопавшись — караулили. Коли вернется — будет уже не странным гостем, а ненавистным врагом, самим дьяволом, и ждет его верная смерть. Но он не вернулся. И добрые люди в конце концов разошлись по домам. Шутили. Посмеивались. И друг над другом, и над всеобщим страхом перед ужасным Жеремоаво, и над простодушной Доменией. Вспоминали его с удовольствием — и не без тайной печали.

Нет на свете горше моей доли,
жизнь моя засохла на корню,
у любви своей живу в неволе.

*(Из «Песен сертана»
Жоана Барандана)*

Третий берег реки

Отец наш был человек положительный, дельный, добропорядочный, с юности, а то и с самого детства отличавшийся примерным поведением, — так, по крайней мере, отзывались о нем многие уважаемые люди, с которыми мне впоследствии довелось говорить. Насколько сам я помню, он не был ни веселей, ни печальней всех остальных наших знакомых. Но он был человек очень тихий. Всем в доме заправляла матушка, вечно бранившая сестренку, брата и меня. Но вот однажды отцу вздумалось заказать себе лодку.

Взялся он за это всерьез. Лодку он заказал особенную, из древесины виньатико, маленькую, с одной скамеечкой, только для гребца. Сделали лодку на совесть. Все было точно пригнано, крепко сбито, чтоб на воде продержалась не меньше трех десятков лет. Матушка отнеслась к его затее неодобрительно. Неужели он решил заняться рыбной ловлей или охотой, ведь это его никогда раньше не увлекало. Отец отмалчивался, никого не посвящал в свои замыслы. Дом наш тогда стоял почти у самой реки, меньше чем в четверти легуа от берега, а река у нас полноводная, глубокая и очень спокойная. А уж широка — другого берега не видать. И никогда не забуду я того дня, когда лодка наконец была готова.

Без видимой радости или печали отец надел шляпу

и попрощался со всеми нами. Он не сказал больше ни слова, не взял ни вещей, ни припасов, не оставил никаких распоряжений. Матушка, как все заметили, готова была взорваться, но сдержалась и лишь смертельно побледнела, прикусила губу и процедила сквозь зубы: «Уходи! Можешь не возвращаться!» Отец не ответил. Он только ласково посмотрел на меня и поманил пальцем. Я боялся матушки, но все же подошел к нему, скрепя сердце. Меня мучило любопытство, и я спросил: «Отец, ты меня тоже возьмешь в свою лодку?» Но он еще раз взглянул на меня, благословил и велел идти домой. Я послушался, но у леса остановился и оглянулся — отец сел в лодку, отвязал ее, взялся за весла. И лодка двинулась в путь. Ее тень, длинная и черная, была похожа на крокодила.

Домой отец не вернулся. Он остался на реке и жил там, не выходя из лодки. Его странный поступок всех ошарашил. Это было что-то неслыханное. В доме собрались родственники, соседи, знакомые, обсуждали случившееся, давали советы.

Матушке было неловко перед людьми, но она вела себя благоразумно. Все склонны были предполагать, что поведение отца объяснялось безумием, но никто не решался сказать об этом вслух. Правда, некоторые считали, что он заболел какой-нибудь страшной болезнью — проказой, к примеру, и нашел способ, уйдя от семьи, все-таки быть рядом. Иногда вести о нем приносили перевозчики или прибрежные жители, а то и люди с далекого противоположного берега. Они рассказывали, что он никогда не ступает на землю, ни днем, ни ночью, а все плавает и плавает в своей лодке вверх и вниз по реке, в полном одиночестве. И тогда матушке и другим нашим родственникам пришла в голову догадка, что если у него и были с собой съестные припасы, то они давно кончились, и он либо пристанет к берегу и уйдет навсегда (это было бы даже лучше), либо раскается и вернется домой.

Однако их надежды были напрасны. Каждый день потихоньку я носил ему еду — я надумал это в первую же ночь, когда наши жгли костры, молились и призывали отца вернуться. Утром следующего дня я стащил немного патоки, кукурузную лепешку, связку бананов. Целый час я мучительно высматривал его и наконец увидал: отец сидел в лодке посреди спокойной глади реки, далеко-далеко от берега. Он заметил меня, но лодку в мою сторону не повернул и не помахал мне. Я показал ему припасы, потом

спрятал их в овраге, завалив камнем, чтобы не растащили звери, не намочили дождь и роса. И стал доставлять ему еду ежедневно. Прошло какое-то время, и я с удивлением понял: матушка знает, но делает вид, будто не догадывается, а сама оставляет вроде бы случайно остатки еды, чтобы облегчить мою задачу. Умная у нас была матушка.

Она выписала своего брата, нашего дядю, чтобы он помогал ей вести дела, управлять фазендой. Для нас, детей, она нашла учителя. Еще матушка уговорила священника явиться в полном облачении на берег реки, чтобы с помощью проповеди сломить мрачное упрямство отца и заставить его вернуться, исполнять свой долг. В другой раз на берег по ее просьбе прибыли двое полицейских — припугнуть беглеца. Но и это не помогло. Отец, еле различимый, проплывал вдаль, и никому не удавалось поймать его или хотя бы поговорить с ним. Ускользнул он даже от газетчиков, которые хотели сфотографировать его и погнались за ним на моторной лодке: он исчез из виду, ушел к тому берегу, а там на целые легуа — камыш и непроходимый лес, он-то эти места как свои пять пальцев знал.

Нам ничего другого не оставалось, как примириться и свыкнуться со случившимся. Но, по правде говоря, мы так с этим и не примирились. Я по себе сужу. Ведь, хочу я этого или не хочу, я постоянно думаю об отце: мысли мои всегда с ним. Вот только не могу понять, как он такую жизнь выносит. Днем и ночью, под солнцем, под дождем, в жару, в холод — у него ведь ничего с собой нет, кроме старой шляпы, а идут недели, идут месяцы, годы, уходит жизнь. И ни разу не высадился он на берег, ни разу не ступил ногой на землю. Возможно, чтобы поспать немного, он привязывал свою лодку в тихой островной бухточке, но никогда не разводил костров, не зажигал огня. Он почти ничего не ел из того, что я оставлял ему под деревом гамелейро или в камнях у обрыва, он брал ничтожно малую часть. Как же он не болел? Откуда брал силы? А ему ведь нужны были крепкие руки, чтобы грести, особенно против течения, бороться с мощным паводком, обходить плывущие по реке трупы животных и вырванные с корнем деревья, грозящие перевернуть утлую лодку. За все эти годы он ни с кем даже словом не перемолвился. И мы тоже никогда не говорили о нем. Только думали. Нет, забыть нашего отца было невозможно, и если мне вдруг начинало казаться, что я его забыл, то мысли о нем тут же с новой силой завладевали мною.

Вышла замуж сестра, праздника по этому случаю мать не устраивала. Но когда мы ели что-нибудь особенно вкусное или лежали в постели — особенно в дождливые и холодные ночи, — мы всегда вспоминали отца. Ему-то выдолбленной тыжкой, или просто горстями, приходилось вычерпывать воду из лодки. Потом знакомые начали замечать, что я все больше и больше становлюсь похожим на отца. Но я-то знал, что он теперь оброс бородой, косматый, тощий и загорелый до черноты, ногти у него — словно когти, и смахивает он на дикого зверя в своих отрепьях, хоть время от времени мы и подбрасывали ему кое-что из одежды.

Не хочет нас знать. Не любит... Но я-то его уважаю и люблю. Когда меня изредка хвалили за какой-нибудь хороший поступок, я всегда говорил: «Мне отец так велел...» Это была неправда, но есть ложь, которая правдивее любой правды. И потом, если он совсем нас забыл, если он и знать нас не хочет, то кто мешает ему уплыть отсюда далеко-далеко вверх или вниз по реке, куда и слухи о нас не доходят? Он здесь по своей воле. У сестры родился сын, и она настояла, чтобы беглецу показали внука. И вот в один прекрасный день все мы вышли на обрыв, сестра в белом свадебном платье держала на руках ребенка, ее муж закрывал их от солнца зонтиком. Мы звали, ждали. Отец так и не появился. Сестра рыдала, и все мы плакали, обнявшись.

Сестра с мужем переехали жить в другое место. Брат подумал-подумал и тоже подался в город. Времена менялись со свойственной им медлительной быстротечностью. Матушка в конце концов перебралась к дочери, она была уже совсем старая. Я не помышлял о женитьбе. Всю тяжесть жизни я ввалил на одного себя. Я чувствовал, что связан с отцом, нужен ему в его одиноких скитаниях по реке — он-то, возможно, об этом и не догадывался. Когда я вырос и захотел узнать правду, я стал пристрастно расспрашивать всех об отце; тут кто-то мне и намекнул: вроде бы он о своих намерениях говорил плотнику, делавшему для него лодку. Но плотник к тому времени уже умер, и неизвестно было, поделился ли он с кем-нибудь этой тайной. У нас тут ходят всякие нелепые слухи. Когда в период дождей река вздувается от первых паводков и кажется, что начался потоп и пришел конец света, толкуют, будто отцу было указание свыше, как Ною, но он, дескать, поторопился с лодкой. Ну, и все остальное в том

же роде. Не мне его судить. У меня самого уже первые седые волосы появились.

Скучный я человек, и разговоры у меня скучные. В чем, в чем все-таки моя вина? Да и виноват ли я, что отец ушел от нас в реку, в вечную бесконечную реку-реку? Вот и я вступил в преддверие старости, ведь жизнь наша — всего лишь остановка на этом свете. Меня мучают недуги: одышка, усталость, боль в суставах. А он-то как? Ему-то уж совсем плохо. Старик ведь он, ослабел, верно, не сегодня-завтра рука уронит весло, и лодка перевернется, или понесет ее, без руля и ветрил, вниз по реке, кинет на пороги, на перекаты, в смертельное кипенье бешеных вод. Сердце мое сжимается. Пока он там, нет мне покоя. В чем моя вина, не знаю, но в глубине души — неумная боль. И наконец я решил.

Нельзя больше ждать. Может быть, я безумец? Нет. В нашей семье нет безумцев, мы даже слово это никогда не произносим вслух вот уже многие, многие годы. Безумцев нет. Или все безумцы. И я пошел к берегу. Взял платок и стал размахивать им — мои сигналы издали было видно. Я ждал, горя желанием исполнить то, что задумал. И он появился — я четко различал вдали его силуэт. Он сидел на корме. И уже мог меня расслышать. Я несколько раз позвал его. Потом громко и ясно прокричал все, что хотел: «Отец, ты уже стар, ты свое выполнил... Возвращайся... Возвращайся, пора, я обещаю тебе, что займу твое место в лодке!..» Так я кричал, а сердце мое билось в такт моим словам.

Он слушал меня. Потом встал, опустил весло в воду и повел лодку к берегу. Он согласился. А я... я задрожал, ведь он ответил мне приветственным жестом — впервые за столько лет! И тут я понял, что не смогу... От ужаса у меня зашевелились волосы, и я бросился бежать, я бежал прочь, не разбирая дороги... Мне почудилось, будто пришел он ко мне не из этого мира.

Теперь я молю, молю, молю его о прощении. Я продрог на ветру и заболел. Отца моего больше никто не видел. Какой же я мужчина после такого позора? Никчемный я человек, и удел мой — молчание. Да теперь уж немного мне осталось, пора кончать счеты с жизнью. И есть у меня одно только желание: пусть в мой смертный час положат меня в лодку и спустят на воду, в бесконечную вечную реку, текущую средь нескончаемых берегов! И поплыву я вниз по реке, вдаль — по реке, и исчезну в реке, в реке.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Тертерян. Сертан, широкий, как мир</i>	<i>3</i>
--	----------

РАССКАЗЫ

<i>Семерка Червей. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>21</i>
<i>Отрывки из биографии Лалино Салантиела, или Возвращение блудного мужа. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>71</i>
<i>Поединок. Перевод И. Чежеговой</i>	<i>110</i>
<i>Святой Марк. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>137</i>
<i>Заговоренный. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>161</i>
<i>Разговор быков. Перевод Л. Архиповой</i>	<i>184</i>
<i>Час и черед Аугусто Матраги. Перевод А. Косс</i>	<i>214</i>
<i>Прохожие шляпы. Перевод Л. Архиповой</i>	<i>255</i>
<i>Братья Дагобэ. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>293</i>
<i>Спектакль. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>298</i>
<i>Три погонщика и бык, которого они выдумали. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>307</i>
<i>Лошадь, которая пила пиво. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>311</i>
<i>Миг. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>317</i>
<i>Прибрежье. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>321</i>
<i>Коровий Брод. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>325</i>
<i>Третий берег реки. Перевод Е. Голубевой</i>	<i>329</i>

Гимараэс Роза

Рассказы. Пер. с португ./Сост. Н. Поляк;
Предисл. И. Тертерян; Худож. А. Яковлев.— М.:
Худож. лит., 1980.— 334 с.

Гимараэс Роза (1908—1967) — крупнейший прозаик Бразилии.

В своих рассказах писатель рисует жизнь бразильского большого сертана (самого засушливого района страны) — совершенно особого, неповторимого мира, овеянного проникновенной магической поэзией. Герои автора — бедняки, пастухи-скотоводы и гротескно спесивые аристократы.

На русском языке публикуется впервые.

Г 70304-242
028(01)-80—191-80 4703000000

И (Латин)

Гимараэс Роза

РАССКАЗЫ

Редактор

Л. Бреверн

Художественный редактор

И. Сальникова

Технический редактор

Л. Витушкина

Корректор

А. Влазнева

ИБ № 1796

Сдано в набор 16.11.79. Подписано в печать 31.07.80. Формат 84×108¹/₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 17,84 усл. печ. л. 18,668 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз. Заказ 9-344. Цена 2 р. 20 к. Издательство «Художественная литература», Москва, 107078, Ново-Басманная, 19. Книжная фабрика «Жовтень» РПО «Поліграфкнига» Госкомиздата УССР. 252053, Киев-53, ул. Артема, 25.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В 1979 г. в переводе с португальского языка
вышли книги:**

Ж. де Аленкар. «Ирасема». «Убиражара»
Сборник «Современная португальская повесть»

В 1980 г. выйдет в свет:

Л. де Камознс. «Лирика»

Отрыжен из бисографу
Маммо Салатилу
ни возвращен блуд
ного муря Солдиков
Семерка червей
Ах и черед
Ахуесто, Мамрам
Ирохоусе илани
Робовий брод
Априврежес

Аотмаѣ, которая
нила нѣво
берер реки

Претний
Спектакль
Братъ Я Давоѣ

Разнобор выков
Заловоренный

Дирн поротнишка
которого и вык
они выдумали

Святой Марк